



**ВЛАДИМИР КАНТОР**

---

**Смерть  
пенсионера**

повесть · роман · рассказ



Москва  
2010

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4  
К19

**Кантор В. К.**

К19 **Смерть пенсионера.** Повесть. Роман. Рассказ. — М.: Летний сад, 2010. — 512 с.  
ISBN 978-5-98856-104-0

В этом сборнике публикуются три произведения Владимира Кантора, известного писателя и философа. Каждое из них было отмечено премиями и серьезным читательским интересом. Проза Владимира Кантора — это высокая трагедия, о которой практически забыла современная литература. Трагедия сопровождает людей развитого сознания, людей рефлектирующих, увязывающих свое бытие с бытием человечества. Именно о таком мироощущении сказал Пушкин: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». В повести «Два дома» рассказывается о становлении подростка, рефлектирующего по поводу окружающей его жизни, что приводит его к тяжелой болезни и внутреннему взрослению. В романе «Крокодил» повествуется о потерявшем способность противостояния Злу «русском Гамлете». И, наконец, рассказ «Смерть пенсионера» — это рассказ о ненужности в обществе людей, способных «мыслить и страдать».

Владимир Кантор — лауреат шестой Артиады народов России (2001 г.) в номинации «Литература, лига мастеров, гильдия профессионалов» — повесть «Два дома». За роман «Крокодил» он получил премию Генриха Бёлля (1992, Германия), а также был номинирован на премию Букера (2003, Москва). Рассказ «Смерть пенсионера» был номинирован на литературную премию имени Юрия Казакова — 2008, а затем на премию И.А. Бунина (вошел в шорт-лист, 2009).

ISBN 978-5-98856-104-0

© Кантор В.К., 2010  
© Летний сад, 2010

## Московский текст: традиция русской философской прозы\*

**И**мя Владимира Кантора, включенного во Франции в число 25 крупнейших мыслителей мира, давно знакомо философам и литературоведам в России и за ее пределами. Он член редколлегии журнала «Вопросы философии», ординарный профессор философского факультета Государственного университета — Высшая школа экономики. Но еще в начале восьмидесятых этот ученый заявил о себе и как литератор, выпустив затем около 20 книг, куда вошли рассказы, повести, романы и даже радиопьеса. Его художественное творчество не прошло незамеченным. Он — лауреат премии Генриха Бёлля (1992, Германия) за роман «Крокодил» (переведенный, кстати, на несколько европейских языков). Владимир Кантор трижды номинировался на Букеровскую премию, он лауреат шестой Артиады народов России (2001) за книгу «Два дома и окрестности», парижский журнал “Le nouvel observateur (hors serie)” в 2005 г. назвал его «законным продолжателем творчества Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева». Его последняя книга прозы

\* Интервью опубликовано в газете «Тверская 13» 11 июля 2009 г. под другим названием.

«Соседи» (2008), выполненная в духе гоголевских «Арабесок», впервые воссоздает нам творческую личность автора в единстве его писательского и научного ликов.

***С писателем и философом беседует известный критик и литературовед Алла Большакова:***

— Владимир Карлович, ваша первая книга (автобиографической) прозы «Два дома» вышла в 1985 году. С тех пор вы написали и выпустили много нового, интересного. Что же побудило вас, известного ученого, взяться за перо и начать писать художественную прозу?

— Когда-то мне говорили прямо противоположное: «Зачем тебе наука, когда ты пишешь прозу»? На самом деле прозу я пишу на протяжении почти всей жизни. Каков был изначальный импульс, не помню: знаю только, что если не пишу, — буквально заболеваю, физически. Осознанно пишу лет с четырнадцати, когда стал давать читать свои тексты знакомым. Но в журналы не носил, да и читавшие знакомые и родственники отговаривали от раннего печатания, чтоб я не сломался. В итоге первая публикация прозы случилась, когда мне исполнилось сорок лет, в 1985 г. И был я уже автором десятка научных статей, двух монографий и т.п.

Но с середины 70-х по журналам стал ходить. Особо после написания повести «Два дома». Она вполне семейная, там два родовых гнезда — оба из приехавших в Москву. Мамин дед, державший извоз в области,

бежал в Москву от раскулачивания. И жила мамина семья в Лихоборах, в домике двухэтажном, из шести комнат, но барачном по сути, ибо в каждой комнате по семье. Люди это были все из разных российских глубин — от работяг до блатных. Второе гнездо — профессорское. Дед был профессором геологии в Ла-Платском университете в Аргентине. Но хотел в Россию: в страну осуществившегося счастья. И с помощью Ферсмана и Вернадского получил кафедру в Тимирязевской академии и квартиру в профессорском доме. Вот между двумя этими мирами, двумя домами и разрывается в моей автобиографической повести герой: мальчик, родившийся в Москве, москвич по духу и сути.

Вот эту повесть и рассказы я и начал носить по московским журналам, но совершенно безрезультатно. Приостановка текстов была, как правило, на верхнем этаже. Помню, как позвал меня *Сергей Баруздин*: очень нервничал, ходил по кабинету и говорил: «Да, вы талантливый человек. Но вы мрачный писатель. Я грустный писатель, а вы мрачный. Вроде Достоевского. А Достоевский нам не нужен». Но это еще был разговор! Чаще рукописи просто возвращали, невнятно бормоча, что журнал хочет чего-нибудь из жизни пограничников. А тема отношений интеллигенции и простого народа не нужна.

Теперь, по прошествии лет, причина мне еще более ясна: непонятно начальникам было, *какого я цвета*. А не был я ни белым, ни красным, ни левым, ни правым. Вообще считал, что политизация — не удел прозаика. Да и философичность прозы смущала (а

философия — мой второй дом). Вообще полагаю, что писатель — особенно в России, с ее столь мощной литературно-философской традицией (от Гоголя, Л. Толстого, Достоевского вплоть до А. Белого и Булгакова) — без философии не очень настоящий.

После тридцати я начал писать философские книги, опубликовал около пятнадцати научных монографий, которые были переведены на другие языки, да и в наших магазинах разбегались моментально. Скажем, моя книга «Русская классика, или Бытие России» (больше 700 страниц) разошлась ровно за неделю, а потом долго еще шли рецензии и интервью. А книга «Русский европеец» (2001) стала библиографической редкостью.

**— Когда я читала ваш роман «Крокодил» с явным фантастическим сюжетом, то поражалась узнаваемости московской местности, где с вашими героями происходят необыкновенные события. Узнаваем даже этот домик на Войковской, возле Покровско-Стрешневских прудов. Что значит для вас Москва? Из каких составляющих, на ваш взгляд, складывается ее образ в прозе Владимира Кантора?**

— Ответ на этот вопрос начну с анекдотического эпизода. «Крокодил» бродил по разным московским редакциям: где-то мне говорили, что не видели таких советских людей, где-то, что время не пришло. Но занятнее всего был ответ одного *весьма прогрессивного критика*, который как бы отвечал за прозу в некоем московском журнале. Он мне сказал: «Но ведь ваш текст

построен на фантасмагории». Начитанность губила меня: «А “Нос” Гоголя, а вот только что вышло “Собачье сердце” Булгакова?..» (Как видите, возвращаюсь к «пагубной» апелляции к классике). Естественно, в ответ на свое простодушие я получил возмущенный возглас: «Ну, вы себя сравнили!» Я робко пробормотал, что сравниваю не уровень таланта, а жанр. Во всяком случае, абсолютно московский текст вышел в питерском журнале «Нева», а потом поехал по всему свету. Но ни одно серьезное московское издательство так за него и не взялось. Поразительно, насколько у нас любят изображенное зарубежье, ближнее и дальнее, — а московский текст как бы отодвинут. Впрочем, психологически понятно. Свое не видно. Только если тебе его показали чужими глазами, после признания на Западе.

Москву специально я не изучал. Изучают приезжие, а я коренной москвич. Просто всегда описываю тот московский локус, в котором жил или жили мои друзья и любимые женщины, где работал. А жил я почти сорок лет около Тимирязевского парка (бывшего Петровского), где на построенном в честь приезда Екатерины Второй пруду когда-то Нечаев убил студента Иванова. И пруд сохранился, и грот сохранился, в котором это произошло. В романе «Крепость» это поминается. Мой знакомый польский славист даже ездил со мной и фотографировал места действия «Двух домов» и «Крепости». Теперь мой локус — ВДНХ и Сокольники. Моя проза — это всё Москва: от Лихоборской окраины до Смоленского универмага.

Да, моя Москва и реалистична, и фантазмагорична. Но фантазмагоричность столицы нашей — тема особая, до Булгакова она звучала у Гиляровского, у блистательного Александра Чаянова (как писали критики, создателя «московской гофманиады»), у Михаила Осоргина, у предшественника Булгакова Якова Голосовкера и т.д. Надо сказать, известный философ и искусствовед *Борис Гройс*, живущий в Германии, которому моя проза чужда, тем не менее как-то обронил, что я вернул на ее страницы забытую уже московскую интеллигентную речь. Это не значит, что в моей прозе нет персонажей маргинального мира со своим языком. Но главное — общий тон. Мне всегда казалось, что писать надо так, как говоришь. А в «Крокодиле» (1986) герои даже играют в названия московских улиц, а действие разворачивается то на Пречистенке, то рядом с Войковской, то неподалеку от Тимирязевского парка... Тут и двухэтажные окраинные деревянные домики, и профессорские дома, и четырехэтажные блочные хрущобы...

**— Какие ваши любимые произведения — я имею в виду из «своего, собственного»? Темы, герои? Почему именно на них останавливается ваш выбор?**

— Каких своих детей люблю больше? Да всех. Все они с трудной судьбой. Но все же три или четыре текста назову. Это, конечно, «Два дома» — начало моей саги. Это многоплановый, барочный роман «Крепость». Это фантазмагория «Крокодил», до сих пор переводящаяся на разные языки. После «Двух

домов» мне пришла голову сумасшедшая мысль, навеянная Бальзаком и Фолкнером, особенно Фолкнером. А почему маленькое московское пространство, мой Тимирязевский район, не может стать точкой отсчета — вроде фолкнеровской Йокнапатофы, — местом, где происходят трагедии, драмы, случаются фантазмагории? Там сталкиваются разные социальные слои, город и деревня, и т.д. Вот комедий, правда, не видел — хотя, конечно, они были. Отсюда и мотив переходящих из текста в текст героев: где-то они на второстепенных ролях, где-то главные, некоторые погибают, появляются новые, но атмосфера, но сохранившиеся герои как бы заново вводят их в тот мир, в котором я существую. Это и есть моя реальность.

Мне очень нравится восклицание Бальзака посреди дружеской пирушки: «Ладно! Пора вернуться к действительности!.. Что мне делать дальше с Растиньяком?». Напомню, что Растиньяк — герой Бальзака, проходящий почти через все романы его «Человеческой комедии»? У меня так проходит практически по всем моим текстам герой «Двух домов» Борис Кузьмин — персонаж автобиографический в значительной мере. Но и все остальные персонажи имеют своих прототипов. Помню, после выхода «Крокодила» мои друзья, попавшие на страницы романа, не зная как к этому отнестись, говорили: «Описал все, как есть. Все очень похоже». Я отвечал: «Да, особенно крокодил. Ну просто вылитый! Так и выпивал с нами, и по-русски говорил...». Друзья смеялись, но два человека перестали со

мною здороваться — оба из начальства, у которых была презумпция: о начальстве ничего, кроме хорошего.

**— Мешает ли движению вашей философской мысли литературное письмо? То есть насколько уживаются в одном человеке Кантор-философ и Кантор-художник? Как реагируют на ваше художественное творчество коллеги по научной деятельности?**

— Смешно сказать, но сначала я слышал упреки, что, несмотря на строгую научность, стиль моих философских работ слишком вольный, живой и понятный — разговорный, так сказать. Но так ведь писал и Владимир Соловьев, к примеру. Теперь это, кстати, уже считается заслугой, ставится молодым в пример. Ну а в художественных текстах я часто позволяю своим героям писать философские тексты — точнее, дарю своим героям свои философские тексты, темы рассуждений. Здесь хороший пример — Достоевский, герои которого, скажем, Раскольников или Иван Карамазов, — авторы теоретических трактатов. Собственно, последняя большая книга «Соседи: Арабески» как раз и должна была показать это единство — писателя и мыслителя. Это у нас со времен Ленина (который резко разделил Льва Толстого — художника и мыслителя, художник — великий, мыслитель — архискверный). Но писатели так не делятся: те идеи, которые высказаны в теоретических текстах, можно увидеть и в художественных. Гоголь, понимая непривычку отечественного читателя к этой идее, обозначил свое единство в «Арабесках», соединив под

обложкой одной книги свои повести и статьи. Но с тех пор обыденное сознание по-прежнему делит напополам мыслителя и художника, хотя вся философия началась с диалогов Платона — абсолютно художественной формы — с главным героем Сократом и выписанными ярко его собеседниками. Коллеги? Поначалу смотрели настороженно, теперь скорее гордятся. Все же имя зазвучало, а это ведь и престиж для институции, где работаешь. Но любопытно, что когда я пишу научные статьи, то не могу писать прозу. И наоборот. Хотя знаю, что все надуманное в философском регистре скажется в прозе.

**— В пояснении к книге «Соседи: Арабески» (2008) вы представляете это издание как своего рода «книгу жизни», контуры которой обозначились еще в начале 1980-х. Действительно, новая книга объединила в трех разделах — «Книжный мальчик», «Предчувствия» и «Столкновения» — автобиографические повести и философские эссе, бытовые рассказы, притчи и литературные статьи, написанные за последние десятилетия. Все они, повествуя о впечатлениях авторского детства, юности и зрелости, представляют сознание современного библиофила и романтика, для которого явления окружающей действительности органично переплетаются с образами книжных миров, с философскими феноменами и культурными концептами, обретающими статус живой материи. Что для вас, как для автора, особенно в ней ценно, дорого? Как восприняли эту книгу читатели?**

— Замысел и вправду очень давний. Уж больно мучили меня вопросы: кто я — ученый или писатель? В 1982 году мне в первый раз пришло в голову составить книгу из своих статей и рассказов — как некое единое целое. Поскольку меня тогда категорически не печатали, составление этой книги было ничем иным, как литературной игрой для родственников и друзей автора.

Основное заглавие книги «Соседи» появилось сразу. Оно не только было названием включенной повести, но и несло важную многосмысленность: мы соседи с соседями по квартире, этажу, дому. Но мы соседи и с жителями других стран, цивилизаций. Мы соседи в истории, а также и в пространстве (даже с инопланетянами, если они есть). Философ Мераб Мамардашвили в одной из своих лекций произнес: «Надо так жить, чтоб твоими соседями были Платон или Кант, а не квартирные соседи». Мне было лет двадцать шесть, и мысль на меня произвела впечатление. Но потом стало понятно, что все же соседи по квартире — тоже соседи, и вообще живем мы и выживаем благодаря самым разным нашим соседям в разных социальных и культурных срезах. Во мне самом соседствовали писатель и философ. Поэтому оказались вместе в этой книге проза и культурфилософия.

Долго искал я ее жанровое определение, пока не понял, что оно уже есть: подарок классика — «Арабески» Гоголя. Когда Гоголь назвал свою книгу «Арабески», это было своего рода литературное хулиганство той эпохи. Как в анекдоте: «Скажи пароль». — «Па-

роль». — «Проходи». Вообще, Гоголь любил парадоксальные жанровые обозначения. Ведь совсем не всякому, даже большому писателю, могло придти в голову назвать рассказ о скупке мертвых душ — поэмой. Впрочем, Пушкин назвал «Онегина» романом в стихах. В жанры в ту эпоху любили играть, любили их переосмысливать. Вынеся в заглавие книги обозначение жанра, Гоголь вполне как романтик играл с читателем. Сегодня жанровый смысл этого заглавия в сознании широкого читателя забыт. Слово «арабески» является европейским названием сложного восточного средневекового орнамента, созвучного представлениям исламских богословов о «вечно продолжающейся ткани Вселенной». Именно в этом контексте стоит оценить замысел Гоголя, которому и я пытался следовать.

А дорого мне в моей книге, каким бы странным это ни казалось, — ее цельность, возникающая именно потому, что она столь разнопланова. Но ведь и человек не определяется одной чертой. Те свойства книги, что вы перечислили, относятся почти к любому развитому человеку. Но проблема была — сложить тексты так, как складывают пазл, чтобы не было заметно стыков.

А реакция на эту книгу была весьма положительная: около десятка рецензий в отечественных и зарубежных газетах и журналах. Да и почти за год разошелся практически весь тираж.

— **В прошлом году вышел ваш удивительный — по силе сочувствия маленькому человеку наших дней —**



**рассказ «Смерть пенсионера», сразу получивший отклики в прессе. Действительно, тема затронута важнейшая — это рассказ о бесправности человека в наши дни, причем человека пожилого возраста, потерявшего социальный статус. Герой, в прошлом известный ученый, теряет работу и вынужден существовать на крошечную пенсию. Но он теряет и любимую, и все это постепенно сводит его с ума. Был ли реальный прототип у этого героя? Какие факты нашей социальной действительности вас потрясли настолько, что появился вот такой щемящий сердце текст?**

— Вы знаете, этот небольшой в общем-то рассказ (хотя многие называют его маленькой повестью) я писал больше двух лет. Мне потом говорили: как, мол, вы — успешный профессор, член редколлегий разных журналов, ездящий с лекциями в Европу, автор более двух десятков книг, — могли вообразить эту трагедию покинутого всеми человека? Но ведь это так просто. Стоит только любому из нас представить, что ушли все внешние успехи, кончились приглашения и пр. Есть же русская пословица: «от сумы да от тюрьмы не зарекайся». И вот стоило мне вообразить себя вчерашним профессором, вчерашним автором книг: человеком, близкие люди которого либо умерли, либо уехали далеко, а пенсии едва хватает на квартплату. Да любой из нас может это вообразить, стоит только отпустить предохранительные механизмы. Человек обычно этого боится, это травма. Но писатель не может уйти от самой главной проблемы человеческого

бытия: он пишет, а в результате оказывается стопроцентное попадание.

После выхода рассказа я получил около двухсот писем — такого никогда не переживал, а сколько звонков было! «Про меня написал!» — это главный рефрен. Но писали и молодые люди, что задумались о жизни. Много писем от западных славистов с самыми лестными словами. В канадском славистском журнале, ставя моего героя в один ряд с героями Достоевского, Чехова и Платонова, писали: «Принципиальное неверие в окончательную смерть, фактически, есть главная доминанта всей русской литературы, начиная со «Сказания о Борисе и Глебе» и кончая последними публикациями в наших литературных журналах. Это, например, рассказ Владимира Кантора “Смерть пенсионера”». С другой стороны, говорили и о том, что это современная «Смерть Ивана Ильича». Разница, однако, не только в таланте и не в философской позиции. У Л. Толстого Иван Ильич умирает в уходе, обеспеченный, в кругу семьи — это рассказ о бессмысленно прожитой жизни. А здесь жизнь была осмысленна, ведь умирает ученый, да еще хороший ученый. Но показан механизм, как общество выкидывает отработавших свое людей — как отходы, как мусор. И человек начинает в старости чувствовать себя мусором, отходами, т.е. готовым почти к самоуничтожению. И лишь любовь любимой женщины держит его, и эта любовь встречает героя на небесах. Героиню зовут Даша. Как написал мне знаменитый литературовед *Михаил Без-*

*родный:* «Володя, Вы попали в традицию. Как у Державина. Ведь Даша — это душа». Душа и держит героя, пока нищета и одиночество не расправляются с ним. Рассказ, вместе с письмами читателей, был перепечатан нью-йоркским журналом. Ведь старость — тема, больная для всех стран. Но у нас она усугублена чудовищным отношением к старикам со стороны государства и общества.

— **Каковы ваши творческие планы? Что уже написано, но еще ждет публикации?**

— Сейчас готовится к печати рассказ «Няня», но где его собираются печатать, говорить не буду. Наверно, из суеверия. Хотя знаю, что быть суеверным не очень хорошо. Но меня так мало и редко печатают, что все же сглазить не хотелось бы. Мощный издательский успех был лишь однажды, когда в 1991 г. мой роман-сказка «Победитель крыс» разошелся тиражом 225 тыс. экз. Но тогда работали структуры книгопродаж. Впрочем, расцениваю это как случайность, ибо всегда понимал, что моя проза, как любил повторять Ницше, не для всякого, а лишь для того, кто способен преодолевать мифы и видеть действительность, как она есть. Даже обращаясь к мифу в «Крокодиле», я хотел сквозь него видеть нашу реальность. Она совсем не благодущна — порой сурова, порой грустна и даже трагична. Но не надо бояться это видеть. Ведь только тогда возможно нормально и честно жить в этой жизни.

# Два дома

**повесть**

**Моим родителям  
с любовью и признательностью**

**Обеим бабкам я вышла внучка...**

**М.И. Цветаева**

**Что ты значишь, скучный шепот?  
Укоризна, или ропот  
Мной утраченного дня?**

**Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ищу...**

**А.С. Пушкин**



## Глава I

### Размышления

**Я** ходил по половицам на кухне, то поперек длинных крашенных досок, аккуратно переступая с одной на другую, то вдоль, стараясь не оступиться и не сойти. Я и сейчас, спустя много лет, помню эту свою маяту: мимо трех кухонных столов с всяческими шкафчиками над ними (в квартире жило три семьи), мимо газовой плиты, на которой стояли чайник с обмотанной изоляционной лентой ручкой, погнутая консервная банка с обгорелыми спичками внутри и чугунная сковорода. Лампочка без абажура, висевшая высоко под потолком, горела тускло. Впрочем, в коридоре, куда я старался не заходить и вдоль которого располагались комнаты соседей, было темней, да и из входных дверей тянуло по ногам холодом, особенно зимой. Вечером меня на улицу не пускали (из-за темноты и мороза), но и выходя на кухню из жарко натопленной комнаты, я обязательно надевал на себя свитер и валенки, — так требовала бабушка Настя. Меня отправ-

ляла к бабушке на зимние каникулы мама, и бабушка кутала меня, приговаривая: «Я Ане дала слово тебя соблюдать», как будто без этих «слов» она бы вовсе не обращала на меня внимания. Я прислонил лоб к темному кухонному окну. В окно было видно прикрепленную болтами к бревенчатой стене дома длинную и, как я знал, зеленую жестяную коробку, запертую на замок: в ней хранился огромный красный газовый баллон, — на весь дом.

«Отчего я всегда не живу у бабушки Насти? — думал я. — Отчего я здесь не родился и здесь не мой дом? Здесь так все просто, *простые люди*, хорошо и спокойно. Безо всяких там *ихних проблем*». Я даже про себя выговаривал последние слова, как бы отстраняя их от себя, раздельно и полупрезрительно, подражая бабушке Насте. «Ихние проблемы» относились к родительскому дому, точнее, — к отцу, его друзьям и к бабушке Лиде, отцовской матери. Я не любил ту свою трехкомнатную квартиру, казавшуюся мне по контрасту просторной, огромной и почти спартански пустой: три продавленных тахты, два стола, шкаф да полки с книгами во всех комнатах. Но насчет проблем я отчасти фальшивил: они очень даже занимали меня. Я не любил их за другое, хотя от обиды казалось, что вообще не люблю: просто я не допускался на вечерние разговоры, и, только напряженно вслушиваясь, улавливал временами отдельные выкрики и слова: «генетика». «кибернетика», «европейская безопасность», «атлантический пакт», «Робсон», «Фаст», «Сталин»,

«Берия», «культ личности», «спор поколений», — для пятидесяти пятого года, как я теперь понимаю, темы довольно типичные в определенных кругах.

Но здесь, у бабушки Насти, был другой «круг», здесь зато было покойно, без полуночных «историко-культурных» разговоров (без отцовских друзей, одного усатого и одноглазого, с черной повязкой через все лицо, и другого, бородатенького, черноволосенького, с нервным тиком, с головой, посыпанной перхотью), без вечных, непрекращающихся родительских ссор, когда уже глубокой ночью я просыпался и слышал, как мама выговаривала отцу: «Так всю жизнь болты и проболтаете! Если хуже чего не случится. Они тебя, дурака, заговаривают, алкоголики несчастные, а ты и рад хвост распускать. Сами они, небось, на приличной работе оба, хотя и бездетные! А у тебя уже сыну десять лет, а ты все студент, все у мамочкиной юбки держисься!» После этих слов мама начинала плакать, а отец выходил, хлопая дверью. Мама плакала, обнимала меня и шептала: «Ты не думай. У тебя отец очень хороший. Я понимаю, что он хочет учиться, что ему надо, он умный, но я не хочу, не хочу больше от *неё* зависеть! Да и он тоже хорош! Все разговоры разговаривает! Так все на свете проговорить можно, и учебу в том числе!» (*Она* — это была бабушка Лида). «Проклятые вопросы» и этот нерв, неустановленность отношений, ощущавшиеся прорывы в бесконечность (остановить их было невозможно), — все это я тогда, конечно, сформулировать не мог, но и

думать об этом без обиды, без подступавших к горлу слез тоже ещё не умел.

Я подошел было к двери в нашу комнату (достаточно отчетливо было слышно, как бабушка Настя ставит там сковороду на печку), однако не вошел, чтобы не отвлечься мыслями. Но не удалось. В голове закружилось какое-то колесико, пусть на время, однако в другую сторону. Я почему-то вспомнил невольно, что мы ходили сегодня с бабушкой Настей вместе в магазин, купили шестикопеечных «микояновских» котлет, ливерную колбасу, соленое масло. Четвертинки мы, правда, не купили, и дед Антон наверняка обиделся, потому что, прежде чем я вышел из комнаты, он улегся на кровать спиной к нам и «уснул», положив голову на одну подушку, а сверху укрывшись другой. Но раз бабушка Настя не купила, так, значит, и надо, хотя мне нравилось смотреть, как дедушка *вытывает*. Предварительно бабушка чистила селедку, посыпала ее луком, заливала подсолнечным маслом и уксусом. Потом дедушка в своем углу селедницы разводил еще и ложку горчицы. Затем макал черный хлеб в получившуюся уксусно-горчичную смесь, выпивал рюмку, закусывая селедкой и пропитавшимся в этой смеси куском хлеба. И лицо его приобретало плотоядно-благодарное выражение. Все это настолько аппетитно выглядело, что я тоже размешивал горчицу в своем углу селедницы и тоже макал туда хлеб. Я как-то рассказал о том, как это вкусно, Танечке Саловой. Её деревянный двухэтажный домик с палисадником и коммунальными квартирами,

удивительно и сердечно напоминая мне дом бабушки Насти, стоял рядом с нашим пятиэтажным домом, где я жил с родителями. Но она сказала, что ей больше нравятся апельсины, которыми угощал ее Алешка с четвертого этажа.

Алешка был мой приятель, очень, как мне тогда казалось, красивый и стройный. Я же всегда был толст, неуклюж и ширококостен. Когда я гляделся в зеркало один, то выглядел неплохо, но когда рядом вставал Алешка, я мигом понимал, что он и изящнее, и благороднее, и *аристократичнее*. Правда, мне в детстве всегда хотелось казаться проще, чем я был, — «в умственном отношении» и «в отношении *благостояния*». Стыднее чувства, чем вдруг показать свое превосходство, я не знал. Но вот о внешности своей неблагородной очень переживал, и *в этом не хотел походить* на бабушкинастиных соседей и танечкиного брата. А в умственном хотел. Хотел не выделяться. И втайне я надеялся, что моя простота будет близка Танечке, а она предпочла Алешку, «предпочла его апельсины», — трагически думал я. — «Ну что ж, я никогда не подам виду, что сердце мое разбито. И не буду сердиться на *измену*. Она никогда не узнает, как я страдаю. Она предпочла апельсины. Что ж, ей же будет хуже, такого *верного* друга, как могла бы она найти во мне, она не найдет в Алешке. Ничего, когда я буду знаменитым героем, когда моим именем назовут улицы и скверы, школы и фабрики, и бабушка Настя будет мной гордиться, вот тогда, тогда *она* раскается.

А бабушка Настя пойдет к ней и скажет...» И я живо вообразил, как бабушка это скажет: «Не могла вовремя понять, девка, какое сокровище души скрывалось под его “неказистой внешностью”, так теперь я тебе и скажу, по-нашему, по-простому, скажу: сама виновата, и не плачь, что счастье свое упустила». Вообразив это, я преисполнился к себе жалостью и чуть не заревел. Каким героем я буду, я не знал, но чувствовал, что, назло бабушкиным словам, буду держать себя с Танечкой очень даже благородно и прощу ее коварную измену. Что удивительно, я даже ей в любви не объяснился, но полагал, что она сама должна почувствовать мое чувство. Отчего так было? От застенчивости? От сомнения? Сейчас не могу определить.

Тут я услышал, как отворилась плотная («чтобы не напускать холоду») дверь нашей, ближайшей к кухне комнаты, чпокнув, как пробка, вылетевшая из бутылки. Я повернул голову и увидел, что из комнаты, ковыляя и немного переваливаясь с ноги на ногу при ходьбе, в своем засаленном переднике и тапочках с разрезанными задниками на распухших ногах, вышла бабушка Настя. Приложив ладонь к глазам и высматривая меня как при большом свете, она крикнула мне:

— Борюшка! Мамы отсюда не видать? Может, она этой дорогой пошла?..

Я снова прикоснулся лбом и носом к темному стеклу, вглядываясь в постепенно проступавшие под желтым светом уличного фонаря очертания дороги

с мерзлыми выбоинами, рытвинами и следами колес, соседнего дома напротив за таким же, как у нас забором, казалось, что я различаю даже брошенный у забора железный обруч, который днем я катал с соседкой Аллочкой. Но улица, вроде бы хорошо мне известная, потому что каждый день мы ходим по ней с бабушкой Настей на колонку за водой, да и гуляю я обычно именно здесь, на сей раз пуста и тиха. Единственно слышался перестук электрички: бабушка Настя жила совсем рядом с окружной железной дорогой, а на той стороне, где сейчас город, гостиницы ВДНХ, тогда тянулись поля картошки.

— Ну? — прервала мои наблюдения бабушка.

— Не, не видать.

— Ты не озяб здесь? Боюсь, не простыл бы...

— Не, тепло. Я похожу еще, маму подожду.

— Смотри! Как озябнешь, сразу приходи, А я пойду тогда там смотреть... Чтой-то долго Аня сегодня задерживается. Не случилось ли чего?.. — И бабушка скрылась опять в комнату.

Мысли мои снова потекли прежним путем. «Отчего, в самом деле, мама не вышла замуж за дядю Васю Репкина из соседней комнаты? Тогда маме не пришлось бы ездить, чтоб меня забирать и отдавать, и мы бы всегда жили у бабушки Насти. А отцом у меня был бы не «профессорский сынок» (так, по словам бабушки Насти, дядя Вася называл папу), а человек, который «прочно» в жизни устроен, к тому же бывший майор. Правда, отец тоже воевал и кончил войну

капитаном, но в сорок девятом демобилизовался, поступил сначала на философский, два года отучился, потом с потерей года перевелся на исторический, и теперь кончал пятый курс. А бабушка Настя говорила, осуждая, что мог бы и до *полковника* дослужиться, как дядя Коля, уж во всяком случае был бы *самостоятельнее*, а то когда еще начнет *прилично* зарабатывать и семью содержать; так бабушка и маме все время говорила, я это слушал и верил, что бабушка права, а все разговоры отца, что он чувствует *призвание изучать историю* — все это ерунда, все от того, что он не хочет о семье, и обо мне в том числе, заботиться. Вот бабушка говорит, что дядя Вася так любил маму, что долго не мог найти ей замену, и теперь вот, хоть и женился, а все равно «от жены гуляет». Смысл выражения «от жены гуляет» понимал я, разумеется, буквально, что жена дома сидит, дядю Васю ждет, а он по улице гуляет и домой идти не хочет. Но вдруг все это плавное течение мыслей остановило одно соображение: а был бы я именно я, такой, как я сейчас, с такими руками и ногами, головой и сердцем, то есть был бы вообще Я, а не кто другой, если бы мама и вправду вышла за дядю Васю Репкина? Я не успел обдумать этого обстоятельства, как снова приоткрылась с чпоканьем дверь и бабушка Настя, наполовину высунувшись, позвала меня:

— Борюшка! Хватит уже, находился!.. Иди в комнату. Чайку с тянучкой попьем!..

Словно очнувшись, я послушно двинулся в комнату.

## Глава II Разговоры

— Осторожнее, Борюшка, ведро не опрокинь.

Прямо за порогом, как помню, стояло ведро для ночных малых нужд, чтобы не бегать голышом из теплой постели в холодный туалет, построенный в середине квартиры над выгребной ямой. Из комнаты ведра не было видно, его загораживал стоявший у стенки старый платяной шкаф. Обогнув ведро, я прошел боком мимо стола к сундуку, на котором спал и в котором хранились всевозможные *старинные* вещи: пехотный мундир 1914 года и солдатский Георгиевский крест (деда Антона), бабушкино подвенечное платье, саперные лопатки, трофейный карманный фонарик (привезенный в подарок дядей Сашей, маминим братом) и ящик со старыми книгами 10-х, 20-х и 30-х годов (Чарская, «Айвенго», гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ромео и Джульетта» в переводе Щепкиной-Куперник с благородным героем Меркуцио, который нравился мне много больше Ромео, подборка «Нивы», комплект «Вокруг света» с романом, тянувшимся через все номера — «Продавец воздуха» А. Беляева и «Камо грядеши» Сенкевича в красном тисненем переплете). Все эти книги я перечитывал по нескольку раз. Но моей настольной книгой здесь были переплетенные в один том номера «Задушевного слова» за два года; бабушке очень нравился этот журнал: в нем был опубликован «Лотерей-

ный билет» Жюль Верна, герои которого, несмотря на все несчастья, *выигрывают* много денег, именно выигрывают, а не зарабатывают; это, по-моему, больше всего нравилось бабушке, да и мне тоже, поэтому «Задушевное слово» всегда лежало на тумбочке, а не в ящике (кстати, бабушка считала все свои книги за прещенными, особенно дореволюционные издания, за их старину, что придавало чтению этих книг неосознаваемую таинственность).

Стянув с себя свитер и валенки (бабушка растопила печку и было жарко), я взгромоздился на сундук, задев шишечку настенных ходиков с кукушкой, висевших надо мной: маятник остановился было, и я воровато-быстро качнул его снова (это были любимые дедушкины часы). Я покосился на деда, но он по-прежнему «спал» с головой между подушками, в носках и брюках с голубыми помочами, спиной к нам. Я вопросительно глянул на бабушку, она покачала головой: дескать, «не просыпался». И сказала:

— Не устраивайся, не устраивайся! Сейчас ужинать будем, только что я маслица достану с колбасой.

И хотя на углу стола на пакете стояла уже сковорода с жареными котлетами в растопленном и еще булькающем маргарине, я не возражал и против колбасы и знал, что съем. Подняв за железное кольцо половицу и перехватив ее другой рукой, бабушка перекинула ее плашмя на соседнюю, затем, когда в полу образовалась темная дыра, бабушка откинула еще одну доску, и открылся *подпол*, земляная дыра, куда вели три сту-

пеньки, опять нечто запретно-таинственное (я тогда был твердо убежден, что подпольщики — это те, что в подполе живут), лаз как будто в черноту небытия. Но поскольку там хранились на земляных аккуратных полках продукты, то подпол скорее напоминал черво, брюхо неведомого животного. Ничего похожего, материально-телесного, там, дома у родителей, я не видал, *там* даже воздух казался более разреженным, а здесь густой, вязкий, сытный. Бабушка достала мас-ла и ливерной колбасы, и мы сели ужинать.

Как раз над столом висела лампа под красным абажуром с кистями, и красноватый отсвет, казалось, подогревал пищу, разложенную по столу. Лица у нас тоже красные и от печки, и от абажура, как будто вся комната — это жарко натопленная печь. Я хотел было затеять бессмысленный и бесконечный наш разговор о том, чтобы бабушка сняла иконку с лампадкой из «красного угла», а она бы, соглашаясь со мной, что скорее всего никакого Бога нет, а Христос был просто добрый человек, вполне реальный, все же лампадку не снимала, напротив, поправляла, приговаривая, все «проблемы» растворяя в житейском: «Знаешь, Борюшка, я-то вроде и знаю, что Бога нет, а все иконка висит — никому не мешает, вот я и думаю, что пускай висит, на всякий случай. Мало ли что. Кто все знать может... А когда вот ты болеешь, то я перед ней и помолюсь за тебя». А я бы в ответ распаялся и возражал. Но бабушка свернула на другую, столь же отработанную нами тему, которую я любил меньше,



потому что здесь я не мог распустить павлиний хвост, а в основном слушал.

— Завтра пойдешь в школу, — говорила бабушка, прихлебывая с блюдца чай и закусывая крошечным кусочком «Коровки» (пока она съедала одну конфету, я успевал «умолотить», по ее словам, три или четыре, но в еде она мне не препятствовала, наоборот, поощряла), — так учись хорошенько. И Марью Ниловну слушайся; я сама была учительницей, знаю, как это трудно, когда ребята тебя не слушаются.

Бабушка преподавала в свое время в селе Архиповка, была «сельской учительницей», а потом, переехав в Москву, лет пятнадцать вела начальные классы в школе неподалеку отсюда. Но и здесь, рядом с окружной дорогой, было почти что село, *околица* городская, окраина города: многие соседи держали гусей, кур, у всех свой садик, свои огороды с картошкой. Я и сейчас еще помню, как меня водили словно на праздник на сбор картошки: дед Антон сперва втыкал лопату с четырех сторон вокруг куста, потом брался за стебель, дергал раз, другой и вытаскивал, наконец, какой-то земляной комок, повисший на стебле, смотрел искоса на мою разочарованную физиономию и сильно встряхивал куст, земля осыпалась, иногда отскакивали и картофелины, но как только ссыпалась с куста земля, сразу как чудесное явление показывались облепленные грязью кругляши, явно не земляные комья, а — картофель! Дед торжествующе смотрел на меня, а бабушка срывала картошки, обти-

рала их тряпкой и бросала в приготовленный мешок, словом, как бабушка Настя сама признавалась, будто из села и не уезжала. Хотя вот не чувствует себя больше деревенской; для меня же это было все равно что деревня, недаром, когда бабушка отправлялась в центр за покупками, она говорила, что едет «в город», или же, что едет «в Москву», поэтому она и говорила обычно, что не знает, как учат «в городе», а вот ей тяжело было, когда ребята озорничали.

— Знаю, Борюшка, тут, наверно, еще большие озорники, в городе-то. Я вот и то скажу, что в деревне я пятые классы так и не решилась вести. Мы их «отбивными котлетами» звали.

На самом деле я не понимал этих слов, но, казалось, что они очевидны и пояснений не надо.

— Тебе, сынок, учиться надо, — говорила бабушка Настя, и это звучало убедительно, потому что говорила она со мной серьезно, как со взрослым и все те доводы приводила, что и взрослому бы привела, — ты мужчина. Вырастешь — будешь инженером, тебе надо будет семью содержать, а вот Анюта зачем пошла в университет, не знаю, — бабушка неодобрительно поджала губы. — Ей бы надо дома сидеть, тебя воспитывать... Зачем ей эта наука?.. Все, видишь, за Гришей тянулась. Как он начал к нам тогда ходить, отец, — она кивнула на спящего деда, — сразу сказал, что добра от этого не будет. А он так с седьмого класса к Анюте и прилип. Она и в университет пошла, чтоб не отстать от Гриши-то, все-таки *из профессорской се-*

*мы* сам-то. А сколько у нее женихов было! Как псы, весь забор изгрызли. Ну и ладно, ну и преподавала бы в школе свою биологию, вот как Вера Михайловна (так, по имени-отчеству звала она свою нелюбимую невестку), а ее еще свекор смутил, уговорил заняться какой-то, прости Господи, «*гинетикой*», а сам-то был химик, что в этом понимал, сам рассуди, Борюшка! А теперь он помер, а Аня до сих пор в лаборантках ходит, и никуда ее больше не берут! Вот и вся наука! Нет, я *им* зла не желаю (*они* — это мой отец и бабушка Лида), но они могли все же куда-нибудь Анюту в школу пристроить. Сама Лидия Андревна «*гинетику*» эту ругает. А Аню тогда остановить не захотела — может, думала, что Гриша ее бросит, если у ней такая неудача с работой случится. Нехорошо это, Борюшка. А ведь влиятельный она человек, *заслуженный*, историю биологических наук преподает. И Гриша ее во всем слушается. Анечку забывает. Мы, Боря, старые люди, в жизнь молодых мешаться не должны.

— Ведьма! — накачанный разговором, выразил я кратко мамино мнение о бабушке Лиде.

— Нет, Борюшка, так говорить нехорошо. И Аня не права, что так говорит. Стариков уважать надо. Сама ведь и Аня старухой будет. Но одно я тебе все же скажу, я правды никогда не скрываю: Серафима, хоть и университета не кончала и всегда поглубже Ани была, все-то сестры эти, как кошки, ссорились, а устроилась получше Ани. Вот у меня за маму твою сердце и болит. Николай хоть и гуляет, а все Симка дома сидит,

с детьми, как Аня к восьми утра на работу не бегают, и дом у них полный, два кота сиамских.

— Ты же говорила, что не любишь дядю Колю, — пытался возразить я, вообще согласный с бабушкиной речью.

— И не люблю. Я это и ему в лицо скажу. Он очень плохо себя ведет, не в пример Грише. Нинке этой, своей любовнице (слово для меня тогда малопонятное, то есть та женщина, которую любят больше?..), дал для Серафимы кофту вязать. А та спинку связала из других ниток. А у Симы шерсть-то была хорошая, рижская. Когда она утром ко мне приехала, я думала, она из сумасшедшего дома: глаза белые, вся ревет.

— Почему? — не понял я.

— Почему? А может, колдовство какое. Колдовство-то теперь в моде.

Я самодовольно улыбнулся. Пришло мое время поучить бабушку уму-разуму.

— Что значит «в моде»? Ты же сама не веришь ни в Бога, ни в колдовство, ты мне сама говорила.

— Я-то, Борюшка, не верю. Сама такого не видала. Но бабы сейчас на все способны. Особенно из-за мужика. Тебе чайку еще налить?

Я кивнул головой и, запихнув в рот очередную «Коровку», сказал столь же самодовольно:

— И тетя Сима в это верит?

— А как же ей не верить. Если Нинка у ней Николая почти что отбила? Но Серафима правильно поступила, квартиру на себя переписала. Теперь, если

хочет, пусть идет на все четыре стороны. Он нам не нужен, а алименты пусть платит! Да и начальство не очень-то на это одобрительно посмотрит, чтобы полковник разводился. Не-ет, он теперь никуда от Серафимы не денется.

Что-то в этой логике меня не устраивало, но что — возражений я найти не мог.

— Да-а, — продолжала бабушка, — а Лидия Андреевна еще лет за пять до смерти Михаила Сергеевича на себя тоже квартиру записала, женщина предусмотрительная, вот Ане и не вырваться уже оттуда. — Наступила недолгая пауза. Бабушка с трудом, всем телом, повернулась к часам. — Который там час-то? Полдевятого? Задерживается твоя мама... Беспокойно мне почему-то, Борюшка.

Я сжался, затаился про себя, меня самого испугало до ледящего ужаса, что уже полдевятого, а мамы все нет, чтоб забрать меня домой: а завтра уже в школу. Чего я боялся? Да мало ли чего: машин, гололеда, злых людей, темноты. Страх был отчасти старческий, внушаемый постоянными бабушкиными рассказами: «Ты и не знаешь, Борюшка, как полно всюду жуликов». Отчасти и другими причинами мой страх объяснялся. Я много болел, все детство почти, и, как уверяла мама, много раз «был на краешке бездны». Или, как философически гораздо позже объяснял мне отец: «Человек поставлен в такие обстоятельства природой в детстве, что каждым миготом отвоевывает у нее свое право на жизнь, привыкает к ней, адаптиру-

ется, доказывает, что он может жить. В это время он на самом переднем крае конечных вопросов бытия. Ведь каждая болезнь для ребенка — это, по сути дела, смертельная схватка с могучим врагом и проблематичным исходом. Не случайно существует масса болезней, которыми только дети и страдают, которые только для них и опасны. Но в борьбе с ними человек вырабатывает иммунитет, защитную реакцию организма. И миновать этого нельзя. Более того, если в детстве не переболел, скажем, корью, то позже переносится она гораздо тяжелее. Так что проблему своего пребывания в этом мире человек должен решать с самого детства и постоянно. Понимаешь, что я хочу сказать? Или нет?» Я не очень понимал, но что-то чувствовал. Во всяком случае постоянный страх за своих близких.

— Надо идти звонить, — сказала бабушка. — Отец! Отец! — попыталась она растолкать деда, но безуспешно. Он не пошевелился даже.

Выходить на улицу в темноту, в гололед, мороз и тащиться за четыреста метров к телефону-автомату у автобусной остановки ему явно не хотелось. Стало быть, лучше продолжать спать. Бабушка покачала головой, но не осуждающе, а как-то так, даже умиленно, дескать, «вот притвора!» И мы решили обождать еще четверть часа, а там самим пойти. Бабушка снова принялась за свои рассуждения, но я от внутреннего беспокойства слушал ее уже еле-еле, вполуха, не находя себе места, то поднимаясь, то снова садясь на табуретку.

— Нет, Борюшка, не хотела я Анюту отдавать в вашу семью. Вот сердце и болит за нее больше, чем за других. Очень холодная у вас *атмосфера* (такие слова звучали в плавной бабушкиной речи неожиданностью, она сама это чувствовала и выделяла их голосом). А моя Анюта из простых. Вот и ты такой болезненный родился и без присмотра. Как-то у вас неуютно в доме, необжито. Стены голые, масляные. Ковры, как у Симы, конечно, вещь дорогая, но, скажу я тебе, и с обоями все как-то теплее...

Стук входной двери, ведущей из сеней в общий коридор, прервал бабушкину речь в самом начале. Я облегченно вздохнул и готов уже был спокойно и расслабленно слушать ее рассуждения, но и бабушка подняла вверх палец.

— Чу! — встрепенулась она, — вот и Аня. Дождались, славу Богу...

### Глава III

## Соседка Анпална и сосед Ратников

Но это оказалась совсем не мама.

Минуту я ожидающе прислушивался, но хлопнула дверь в комнату дяди Васи Репкина, а в нашу никто не вошел, затем снова хлопнула та же дверь — и с кухни послышался удар чего-то тяжелого о железную

решетку газовой плиты: наверняка ставилась на огонь кастрюля или сковородка. От несбывшегося ожидания стало еще тревожнее: «Что же мама не идет? Все приходят, а ее все нет».

И тут к нам постучали — мелко, дробно и часто. Дед сдвинул рукой подушку, под которой прятался от шума, приподнял голову, не поворачиваясь в нашу сторону; лысоватый его затылок с небольшими кудерьками даже покраснел от напряжения — он прислушивался. Но, догадавшись, что за визитер явился, дед снова бухнулся, укрылся подушкой и засопел сонно.

Мы с бабушкой тоже узнали стук. Однако бабушка полагала необходимым, сохраняя достоинство, спросить:

— Кто это там? — одновременно, правда, двигаясь уже к двери.

Не успела она произнести свой ритуально-обязательный вопрос, точнее, едва произнесла первое слово, как дверь, чпокнув, отворилась и порог перешагнула соседка Анна Павловна, жившая в комнате рядом, жена Васи Репкина.

— Это я, Настасья Егоровна, — ответила она, перебивая бабушку.

Анна Павловна, насколько я ее помню, была женщиной бесцеремонной, ужасно раздражала этим бабушку, но высказать ей это свое раздражение та не решалась и только наедине со мной иногда возмущалась, что на вопрос «кто там?» Анпална (так произносила она ее имя-отчество, так и мне по-прежнему

привычнее ее называть) всегда говорит «я», будто ее, «барыню такую», должны по голосу узнавать. Хотя на самом-то деле, конечно, узнавали, просто манера Анпалны была несовместима с представлением бабушки, как себя надо вести с другими людьми. Но я на этот вопрос тоже отвечал «я», и на меня за это она не сердилась. «Родные должны знать друг друга, Борюшка, и по голосам». Соседям я обычно назывался полным своим именем и фамилией. Сама же бабушка Настя всегда отвечала «свои». Не «я», а «свои» — во множественном числе. Дескать, не важна моя личность, а важно, что не чужой человек к вам в дом стучится. Она словно старалась стусеваться, словно не было у нее никакого «я», словно бы нескромностью было с ее стороны само употребление этого местоимения.

Из всех соседей Анпална чаще других заглядывала к бабушке (которая вообще соседского панибратства не терпела), хотя и видела и, наверно, догадывалась, что бабушка ее недолюбливает. «Чувствует, что Анино место заняла, вот и ходит лисой вокруг меня», — на романический лад, несмотря на свою вроде бы житейскую опытность, объясняла бабушка, воспитанная на мелодраматическом «Задушевном слове». Меня Анпална привечала, я не раз и в комнате у нее бывал. Да и вообще соседи ко мне неплохо относились. Кроме разве что Ратникова, соседа со второго этажа. Но он и вообще был угрюмец, да и, как я сегодня понимаю, с несложившейся судьбой: был он вдов, а дочь его лет с пятнадцати стала, как говорили соседи, какая-то «ша-

лавая», а год назад ушла из дому и не вернулась, а потом из милиции сообщили, что нашли ее убитой. Мы его побаивались: он был длинный, тощий, мрачный, но более всего нас пугали его пальцы — они казались вдвое длиннее обычных: дело в том, что ногти свои он, видимо, не стриг, и они твердели у него как кость или коготь и сворачивались в трубочку. Соседка Аллочка даже говорила, что он, наверно, страшный колдун вроде того, из «Страшной мести», читанной нам бабушкой Настей. Но мне почему-то казалось, что он так недоброжелательно относится именно ко мне, ведь я же был «приезжий» для него, а вовсе не «свой».

Глядя на Анпалну, вошедшую к нам в комнату и сразу усевшуюся без приглашения за стол, коренастую, черноволосую, казавшуюся много старше моей мамы, я думал вот о чем: а «свой» ли я вообще в этом доме. «Свой» я был, конечно, для бабушки Насти, тут сомнений никаких. А для деда Антона? Вроде бы и «свой», сын дочери все же, внук, которому он мастерил скворечники — школьные задания по труду. Вытаскивал из своей сараюшки за домом верстак, рубанок, доски, надевал очки на веревочках и работал, совсем не прибегая к моей помощи, будто даже и не ожидая ее от меня. Пожалуй, это было обидно. Рядом с домом — на ширину наших двух окон — он насадил садик, обнес его заборчиком, и росли там и яблони, и вишня, и кусты смородины, и крыжовник, а по забору он посадил акацию, и на этом пятачке он еще умудрился под яблоней врыть столик с двумя скамейками, и летом бабушка Настя

разрешала мне прямо через окно в этот садик лазить, и я проводил часы в этой своего рода беседке с книгой в руках. Дед не возражал, потому что так хотела бабушка Настя, но поглядывал на меня искоса. А я чувствовал, что я, наверно, не такой внук, какого бы ему хотелось, неумелый, несноровистый, болезненный книгочей. «До сих пор отец переживает, — в простоте поясняла мне бабушка, — что Аня не за того замуж вышла. Не хотел он, чтоб она в профессорскую семью шла». И я невольно чувствовал себя почему-то виноватым, что родился не там и не таким, как деду бы хотелось. Я посмотрел на Анпалну, которая вышла замуж «за того», и подумал, что, наверно, Анпална могла бы быть моей мамой, если бы дядя Вася был отцом, а «их» комната была бы тогда и «моей», и дед был бы мной доволен.

По утрам я бы пил чай с дядей Васей Репкиным, потом он и Анпална шли бы на работу, а я к бабушке Насте, и она рассуждала бы о том, что дядя Вася «хорошо получает». «Столько, сколько кое-кому и не снилось», потому что не воображает о себе «невесть что», а работает себе «просто» завгаром большой автобазы. Потом я брал бы у бабушки книгу и возвращался в «свою» комнату читать — у дяди Васи с Анпальной книг в комнате не было, я туда несколько раз заходил и знал это. Зато стоял зеркальный шкаф, на стене «картинка» — чеканка, изображающая парусник в бурном море (дядя Вася в молодости мечтал стать моряком), около шкафа кровать, затем стол и полдюжины стульев с мягкой обивкой, диван около застекленного

серванта с разнообразными рюмками, графинчиками и фарфоровыми беленькими фигурками гуся, гусыни и выводка гусенят. На серванте еще одна картинка, выжженная по дереву и раскрашенная: парень и девушка во всем оранжевом шли, взявшись за руки, через мост, а над ними надпись: «ПУТИ-ДОРОГИ». Вот все, что сейчас помнится. А тогда, вообразив вдруг эту комнату и свою возможную там жизнь, вспомнив, что дядя Вася называет меня не по имени, а только «Анин сын», и то, что именно от Анпалны он «гуляет», а стало быть, и от меня тоже «гулял» бы, то есть ходил бы на прогулки без меня, я совершенно ясно понял, что совсем для них не подхожу, что я уже другим вырос и все мне там чужое. Да и они мне не «свои»! Зато мама — «своя», моя! «Как же я смел, — почти задохнулся я от ужаса и стыда за свое предательство, — даже подумать, что Анпална может заменить мою светлую маму. Да еще когда мама почему-то опаздывает. А вдруг что случилось!..»

А Анпална тем временем говорила:

— Настась Егоровна, чайник ваш закипел.

Это означало, что нечего попусту жечь газ.

— Иду, иду, спасибо, Анпална.

— Да я уж выключила.

— Что вы беспокоились, я бы сама...

— Да ничего, не стоит благодарности. А что, у вас крыс сейчас в подполе нет?

— Вроде нет, — осторожно ответила бабушка, опасаясь какой-нибудь просьбы со стороны Анпалны, выполнить которую ей бы не хотелось.

Я до сих пор никогда не видел крыс, только разговоры о них порой слышал. Приходила в родительскую квартиру милая женщина, спрашивала: «Крысы, мыши есть? Нет? Распишитесь». И давала какую-то бумажку. Отец расписывался, и женщина уходила. Крысы представлялись мне хищными, плотоядными, назойливыми и бесцеремонными. Испытывая раздражение на Анпалну, я вдруг решил, что они чем-то на нее похожи: такие же с вытянутыми вперед физиономиями, с маленькими бегающими глазками, коренастые и увертливо-угодливые, когда им выгодно. Я даже подумал, что упоминанием о крысах Анпална хочет как-то ошеломить бабушку, заинтересовать ее, втянуть в дальнейший разговор. Так оно и было.

— А у нас они сыр погрызли. Ничто их не берет. Я бы и кота завела, да ведь воруны все эти кошки. Говорят, еще змеи на крыс и мышей охотятся...

Бабушку аж передернуло:

— Упаси Бог! Что та гадость, что эта!

— Напрасно вы так, Настась Егоровна. Змеи в специальном зоопарке живут, — проявила свою образованность Анпална. — Вот хоть у Ани спросите, когда она придет. Она ведь у вас биолог, должна знать.

— Ну, может быть, — не стала спорить бабушка, — если ученые их в зоопарке держат, значит, так нужно. Аня, конечно, знает.

В дверь неожиданно снова постучали — резко, отрывисто, как будто стучавший дергался при каждом движении. Так во всяком случае чудилось. Конечно,

это теперь пришел Ратников, сосед со второго этажа. «Что они все сегодня к нам повадились!» — думал я в тоске. А Ратников — как всегда надолго. Своими длинными разговорами он, как мне казалось, отбирал у меня бабушку. Он не общался и даже не здоровался ни с кем из соседей, но изредка, непонятно почему, заходил к бабушке Насте. Соседи его обходили, как обходят, вероятно, заразного больного, если у него какая-нибудь страшная болезнь из доисторических болезней — чума или проказа. И мы, дети, бежали от него с брезгливой боязнью, как будто несчастья его могли передаться на расстоянии. Виной ли тому было влияние рассказов взрослых или внешний его вид? Наверно, всё вместе.

После смерти жены Ратников — об этом все говорили — стал усердно посещать Владыкинскую церковь и, как рассказывала бабушка Настя, *беседовал там с попом*. Грамотей он, как и мой дед, был до той поры слабоватый, а тут принялся заходить к бабушке, как бывшей учительнице, и сначала просить какие-то книжки, потом советоваться, что брать в библиотеке, а потом и сам ей уже предлагал книги, так сказать, *религиозно-атеистического содержания*. А месяца три назад принес бабушке свою «статью», чтобы она послушала и «проверила ошибки», собираясь послать это сочинение «в журнал». Это произвело на бабушку впечатление: она даже зауважала соседа.

Войдя боком, не глядя ни на меня, ни на бабушку, ни тем более на Анпалну, Ратников полез в карман

своего длинного обтрепанного пиджака и достал половинку от разрезанной ровно пополам школьной тетрадки, на обложке которой было что-то написано. Зажавши в ногтях тетрадку и уткнувшись в нее глазами, он пробурчал невнятно:

— Времени не отниму у тебя много, Настя. Послушай, как теперь стало.

Бабушка хотела было что-то сказать, но сробела, подковыляла только к стулу, обмахнула тряпкой с него пыль и подвинула стул Ратникову.

— Садитесь, Яков Георгиевич, сидя-то сподручнее...

Анпална притихла, её коммунальная наглость и настырность вдруг на мгновение, но спрятались. На меня визит Ратникова произвел жуткое впечатление: как раз в момент моих беспокойств явился носитель несчастья. Это было так неожиданно и так скверно, что я тихо-тихо перебрался с табуретки на сундук и замер там. Душа, занятая тревожным ожиданием, не расположена была к восприятию чужих бед, но, как ни странно, напряженность момента резче отпечатаала в моей памяти все происходившее.

Не благодаря, Ратников уселся на стул, положил на стол свои полтетрадки, отлистнул первую страницу и начал читать глухим голосом, отстукивая ногтем окончания предложений:

— Тайна Христианской церкви. Второй вариант. Уважаемая редакция! Четвертого, одиннадцатого месяца, 1954 года я выслал вам статью «Тайна Христианской церкви». Прошу эту статью (от четвертого, один-

надцатого, 1954 года) не опубликовывать, потому что в ней кое-что сказано не так, как надлежало бы сказать. Присылаю вам второй вариант этой статьи, более продуманный, который вы, если пожелаете, можете опубликовать. Второй вариант писал, презирая фальшь...

Он сделал паузу, не поднимая глаз от тетрадки. Бабушка сидела напротив, подперев рукой подбородок, умудряясь при этом кивать головой в знак внимания. Дед стал посапывать потише, очевидно, тоже интересуясь текстом, о котором теперь можно было посудачить во дворике за партией домино. Помолчав, Ратников перевел дух и продолжил чтение:

— Тайна Христианской церкви. Это, Настя, я главе повторяю, — пояснил он. — В основе христианской нравственной концепции лежит заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». В Евангелии написано, что Бог помогает тому, кто живет по этой святой заповеди. И на самом деле, действительно приходит помощь и счастье в жизни тем, кто любит ближних своих, как самого себя, кто человеколюбив и делает добро людям. Помощь и счастье приходит от людей. Ибо люди сознательно или бессознательно высоко ценят любовь к себе, которая наполняет счастьем бытие, и за любовь к себе люди благодарны, а поэтому стремятся делать что-то хорошее, доброе тем, кто их любит, кто им делает добро. Люди помогают тем, кто их любит. Это во-первых. Во-вторых. Когда заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» овладевает массами, то появляется массовое стремление



делать добро не только из-за благодарности, но и для того, чтобы делать добро бескорыстно и для увеличения радости своей души. И в таком случае помощь и счастье приходит к человеку, доброму человеку, любящему людей, всегда, когда люди знают, что человек нуждается в помощи. И в таком случае приходит и к незнакомому для людей человеку. И в таком случае помощь приходит и к недоброму человеку, и недобрый человек становится добрее. И в таком случае люди помогают всем или почти всем.

— Когда люди живут, — продолжал Ратников все так же монотонно, но с тем же напряжением, ударяющим по нервам, — претворяя заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», помощь людям приходит от них же, то есть люди охотно помогают друг другу. Говоря о помощи, мы имеем в виду помощь действенную, крупную и которую оказывают охотно и считают оказание помощи необходимым явлением перед лицом своей совести.

Ратников остановился и поднял голову.

— Очень правильно, Яков Георгиевич, — сказала вдруг бабушка угодливо. Но дальше добавила, как мне показалось, совсем бестактно, потому что страшное лицо Ратникова перекосилось и сделалось жалким. — Всё Зойку с Нюрой забыть не можете. Но вы-то себя не должны упрекать, судьбу не уговоришь.

— Я, Настя, на судьбу не жалею, — сказал он хриплым голосом. — И не только о себе я, я о всех людях. Ты послушай.

И, не переводя дыхания, он снова занудил, а я понял, хотя и удивился, что бабушка эту статью считает таким своеобразным комментарием к судьбе ратниковской жены и дочери. Нюрой звали его жену, а о дочери из взрослых никто не решался ему напоминать. Это удивило меня, поскольку о них он ведь не сказал ни слова, и сам я ничего ведь и не подумал и не заметил. Значит, не вообще рассуждения?.. Если бы вообще, мне было бы легче, лучше. Об ужасном слушать не хотелось.

— ...А приходит ли помощь от Бога, — говорил Ратников, — для всех живущих по заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя»? Для большинства людей это смешной вопрос. И простой вопрос, так как большинство людей считает, что Бога нет, и, следовательно, нет и помощи от него. Я тоже не верю в богов: ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду и ни в каких-то богов, в которые верят те или иные народы, или отдельные группы тех или иных народов. Но я верю в то, что в безбрежных просторах Вселенной и в пространстве нашей планеты Земли и на Земле есть какое-то таинственное существо, невидимое, как электромагнитные волны и могущее проникать в здания домов через закрытые двери, через стены домов также, как проникают электромагнитные волны. Это существо таинственное, по всей вероятности, естественное, соткано из электромагнитных волн или чего-то другого невидимого и через все проникающего. Выражаясь очень неточно, это существо какой-то дух, временами становящийся видимым. Это суще-

ство похоже на атомный гриб. Оно, когда видимое, серое, как дым. Я его видел и ощущал раза два. Оно мне являлось всегда вестником предстоящей смертельной опасности. Один раз душило меня за горло несколько мгновений и затем отвалилось от меня. Дорогой читатель, у вас создается впечатление, что вы читаете записки сумасшедшего...

«Вот именно, — подумал я зло. — Приперся не ко времени, теперь не отвяжется. Что же он не понимает, что люди его не звали и не ждали? Или у нас своих дел нету — только его слушать?!.. Мы маму должны встречать... Что он тут несчастье кликает?» Я посмотрел на часы — без десяти девять. Это было немыслимо. Мама всегда говорила, что я должен ложиться спать в девять, а нам еще полчаса ехать. И тут же, про себя, стал просить, истово, в тон ратниковских рассуждений, просить чуть ли не поскуливая, неизвестно кого: «Кто бы ты ни был, пусть с мамой ничего не случится. Кто бы ты ни был, пусть с мамой ничего не случится. Кто бы ты ни был, пусть с мамой ничего не случится! Пусть лучше со мной, что угодно, но не с мамой, а лучше со мной». Слова Ратникова звучали назойливым, но отчетливым фоном:

— ...В таком случае и Лев Толстой — сумасшедший, так как он об этом существе пишет в одном из своих военных рассказов. И не только Лев Толстой заметил это существо... Бога нет, а *все-таки что-то такое есть*. Эти слова, Настя, я подчеркнул. Потому что в них правда...

— А что это, смотрю я, Аня за Борей всё не приезжает, — прервала Ратникова Анпална, устав слушать «о божественном» и *отпуская разговор* к привычным житейским темам, где полно недомолвок, скрытых колкостей и самопохвальбы. — Тяжело вам, наверно. Все-то дочь на вас переваливает. Сама могла бы сыном заняться. Вот у нас с Васей детей нет, а если б были, я, кажется, расшиблась бы в лепешку, а куда их от себя не отпустила.

— Это уж мы с Аней сами как-нибудь разберемся.

Ратников замолчал, прикрыв свою тетрадочку пальцами с длинными ногтями, а я покосился на соседку, чувствуя, что бабушка не хочет с ней больше разговаривать. Но тоже заметив явное неудовольствие в бабушкиных словах и тоне, Анпална поспешила поправиться:

— Нет, конечно, к своей матери ребенка отвести — святое дело. Но все равно, думаю я, погостить, а не на шею сажать. У меня, разумеется, детей нет, и не мне судить...

— Ане заниматься нужно. У нее работа научная, — перебила её бабушка, желая уколоть.

— Научная!.. Вон дядя Антон безо всякой науки какой садик взбодрил, — почувствовав укол, поспешила отпарировать Анпална. — а с этой науки какая польза? Одна слава, что наука! Да и слышала я, что и с такой-то наукой у Ани нелады... И чего муж ей не поможет — не пойму. Зачем и муж, как не помогать!..

— Не нашего это ума дело. Аня сама знает, что ей нужно, и сама все сделает, — но вопрос был большой. — Да и я на что? Я всегда, если надо, помогу.

— Ну, то вы, Настась Егоровна. На то вы и мать. А они-то там о человеке не думают, все о науке. Небось Гриша — сын профессора, мог бы и за Аню что сделать: и экзамены сдать, и эту, диссертацию, написать. Наверняка это можно, если знать, как надо: раз-два — и готово. А профессорский сын-то уж должен бы знать!..

— Это наверно, — задумалась бабушка. — Конечно, мог бы, но Лидия Андревна, его мать, против...

— Ох, как жалко-то Анечку! — радостно подхватила Анпална. — Больно скверная свекровь ей попалась, разлучная да завистная. Нет хуже, когда мать сына под башмаком держит. Так женщину и со свету сжить можно. А сама от старости только небо коптит. *Плохо, когда старики молодым не уступают...*

При этих словах Ратников вздрогнул и согнулся, словно ему стало больно. Больно и обидно. Говорили же, что Зойке, дочке своей, он ни в чем воли не давал... Вот и стала она от него скрываться и перечить ему во всем...

Меня тоже слова соседки обидели. От бабушки Насти я мог слышать упреки бабушке Лиде, но уж во всяком случае не от Анпалны. Потому что это все же была *моя* бабушка. Конечно, я был «за маму», но никак не за Анпалну, которая «не имела права» *так* говорить про мою строгую, прямоспинную бабушку. Пусть мама с бабушкой ссорились, но это были *наши* ссоры, и нечего «посторонним» *лезть* в них. Я вспомнил, как болезненно реагировала мама, когда кто-либо «из посторонних» узнавал о семейных склоках. А такой для

мамы безусловно и была Анпална. Я вдруг отчетливо осознал это, и снова — ожог стыда и ужаса, что я вообразил себя сыном Анпалны и дяди Васи Репкина, живущим у них: «А что, если из-за таких моих дурных мыслей и впрямь что-нибудь с мамой или папой случится?» Я почти с ненавистью посмотрел на соседку и подумал, что сто раз предпочту выслушивать самые несправедливые выговоры от бабушки Лиды, чем жить с Анпалной и слушать ее разговоры.

— Уж, казалось бы, — продолжала тем не менее Анпална, не обращая внимания на мои мысли, — мог бы Гриша и побольше о жене заботиться, зарабатывать побольше и от работы освободить. Вот мой Вася старается, столько получает, что я на полставки ушла, и он доволен, и у меня время есть домом заняться. Зато мой Вася прибран, накормлен. Вот бы и вашей Анечке так.

Бабушка поджала губы, колеблясь, соглашаться ли с ней, но поскольку она на самом деле жалела маму, а слова Анпалны, несмотря на плохо скрытые уколы, казались ей справедливыми, она все же кивнула головой, соглашаясь вроде бы, но вслух этого не сказала. А я чуть было не выкрикнул, что не в том вовсе дело, что мама сама очень хочет работать, для того она и училась, но тут снова открылась — на сей раз без стука — дверь, из коридора дхнуло холодом, и на пороге встал, чуть покачиваясь, Витька Сизов, по прозвищу Витюнчик, местный восемнадцатилетний хулиган с прыщавым круглым лицом. Он жил в комнате, следующей за комнатой дяди Васи Репкина и Анпалны.

Дверь в его комнату теперь стояла распахнутой, и глухой шум, доносившийся оттуда невнятным гудением во время ратниковского чтения, приобрел отчетливость. Я ясно различал надрывный голос дяди Васи Репкина:

В сугробе том, братцы, лежала она!

Закрылись карие очи!..

Вина мне, налейте скорей мне вина,

Рассказывать больше нет мочи!..

Если наша комната была ближайшая к кухне, то его — к входной двери. Он и сам был «уличник». Уже в который раз он устраивался на работу, но отовсюду за прогулы его выпирали. Витюнчик для меня был, что тогда называлось, *большим парнем* и даже своего рода защитой, потому что меня как соседа первейшего в районе хулигана никто не обижал. Достаточно было ему один раз сказать окружившей меня кодле: «Не лезь к нему, это Настасья Егоровны внук, соседки моей», — и меня оставили в покое. Я помню, что испытывал к нему не только признательность, но что-то даже похожее на дружбу младшего к старшему, когда от старшего ждешь одобрения и признания. Так, увлекшись лепкой из пластилина и наклепив каких-то животных, для подтверждения их похожести я отправился к Витюнчику, который недоуменно ошарашенно смотрел на пластилиновых лошадей и козу и хрипел: «Ну? Похоже даешь... А чо?»

Витюнчик не очень твердо перешагнул порог, пошатнулся, едва не свалил ведро у шкафа, но в комна-

ту далеко не пошел, прислонился к шкафу и обратился к Анпалне:

— Теть Ань, там дядя Вася тебя требует, разоряется мужик. Не могу, говорит, без Ани.

— Иду, иду. Жареной колбаски вам сейчас принесу, — подхватила Анпална, выскочила из-за стола и, не прощаясь, покинула комнату.

А Витюнчик все оставался. Он стоял, покачиваясь, в дверях нашей комнаты с двумя рюмками в руке. И вдруг в пояс поклонился бабушке (Ратникова для него словно вовсе не существовало):

— Баба Насть!.. Дядя Антон с нами не выпьет? А? Повод, эта, у меня законный... Ей-ей!..

Ратников сидел молча, но вдруг встал, спрятал свою тетрабочку в карман и пробормотал, ни на кого не глядя:

— Я тоже пойду, Настя. Быть может, завтра или послезавтра зайду, и тогда дочитаем.

— Спасибо, Яков Георгиевич, — невольно ответила бабушка, ее внимание было сосредоточено на Витюнчике и дедушке, который закричал и зашевелился. Ратников двинулся к двери, но Витюнчик стоял, загоразивая дорогу, улыбаясь ему в лицо и с неизъяснимой наглостью делая при этом вид, что не замечает Якова Георгиевича. И тот, стусевавшись, униженно обошел, почти прокрался с робостью мимо Витюнчика и — быстро-быстро застучал каблуками по коридору, через секунду хлопнув входной дверью.

— Дочку свою прошляпил, ур-род?.. — как-то в воздух, пока Ратников бежал по коридору, но так,

чтобы он мог слышать, промолвил Витюнчик — с улыбочкой и некоторой издевкой в вопросительной интонации голоса.

— Господь с тобой, ты что это говоришь?! — вскинулась бабушка.

— Да это я так, шутю, баба Насть!.. Ну как, разве дядя Антон со мной не посидит? А? Меня дядя Вася к себе в гараж пристроил. Я, точняк, больше прогуливать не буду. И матери обещал. А сегодня первая зарплата... А? Мы, конечно, все путем. Вот еще с дядей Антоном бы, чтоб дальше гладко все пошло.

Дед засопел, выпростал голову из подушек и полез с кровати, ища ногами шлепанцы и вопросительно глядя на бабушку. Но, обычно сговорчивая, бабушка на сей раз отнеслась к этому отрицательно:

— Ему нужно еще Ане пойти позвонить. Нам что ли с Борисом в такую поздноту одним тащиться? Так что ты иди, Витя, иди к себе.

— Ну пусть хоть чокнется со мной, — не уступал тот. — Ладно, а, ну, баба Настя, а? Он только одну — и пойдет. Там и батяня мой, и Анпална, и дядя Вася Репкин. На минутку, а?

Дед молча натянул рубаху, пиджак, и они ушли. Бабушка, вздохнув, сняла фартук, вытащила из шкафа кофту, я принялся надевать валенки.

И тут снова по коридору — каблуки, чпокнув открылась дверь, и в комнату с разлету быстрыми шагами, раскрасневшаяся от холода, вошла мама.

## Глава IV Ссора

Брови ее сузились в ниточку. И я сразу понял, *что* случилось. Поссорились. С отцом или с бабушкой Лидой. И бабушка Настя тоже поняла. Я это сразу увидел по тому, как она засуетилась и забормотала, что пойдет «чайку согреть, а то остыл». Лицо у мамы стало резким, твердым, губы сжались, стулья на своем пути к столу она переставляла, как будто то были берестяные туесочки и ничего не весили. Я замер в страхе. Мама заговорила, но, как всегда в гневе, говорила отрывисто, перескакивая с предмета на предмет (это я даже тогда понимал) и как-то зло. Я думаю, что если бы не раздражение, то многие фразы не были бы произнесены (да в нормальном состоянии духа и не произносились), они были скорее в стиле квартиры коммунальной, а не того милого мне у мамы *ученого* тона.

— Я не хочу чаю, — мама вдруг зловеще так рассмеялась. — Ратников к тебе заходил? В сенях встретила. Опять о Боге читал?.. Все-таки он немного свихнулся *после того*... Божий ратник!.. В старину он бы в странники ушел. Однако как и не свихнуться! Я и от простой жизни с ума, кажется, скоро совсем сойду!

Мама заплакала, а бабушка принялась тихонько поглаживать ее по спине и плечам рукой.

— Не плачь, не надо. Борюшка тут. Может, отца от Сизовых позвать? Гуляет он там.

— Не надо, не смей ходить! — мама вытерла слезы. — Не хочу, чтоб эти пьяницы сюда притащились. Сиди спокойно, мы с Борей сейчас уедем.

— Не гневи сердца, — подлащивалась бабушка, но так, казалось мне, что гнев в маме только разгорался. — Лучше расскажи, облегчи душу, и все пройдет.

— А что рассказывать?! — сорвалась мама, хотя до этого и сдерживалась, это было ясно. — Все то же самое. Со *змеюкою* поругалась! Она часов с пяти еще завела: «Боре надо в школу. Поезжай заberi». — «Я, говорю, знаю». Через час снова: «Боре надо в школу. Поезжай заberi». — «Пожалуйста, не командуйте мной, говорю, я сама знаю, что мне делать». Тут она руки в бока уперла, уставилась своими холодными глазами в меня и молчит. Я не смотрю, одеваюсь. А она стоит и смотрит. Тут ведь никакие нервы не выдержат. Я и сорвалась, даже закричала, кажется: «Что вы на меня смотрите? Я ничем особенно от других женщин не отличаюсь, нигде ничего не подкладываю!» — «Глупая, говорит, ты все же, очень мне надо на тебя смотреть». И стоит не уходит. Но я-то знаю, чего она пришла, жду, что скажет, и дождалась. «Ты, говорит, я слышала, в кино собралась с Гришей». — «А что, говорю, Боря ведь не с вами, а с моей мамой». — «Мальчику надо в девять уже спать, а начало сеанса — в семь». — «Да ведь билеты же, говорю, пропадут. Фильм «Секретная миссия» (это — пояснение бабушке Насте). Ничего страшного, если один раз Боря на полчаса позже ляжет. Что же, Грише одному идти?» — «Гриша, говорит, со мной пойдет, и билеты не

пропадут, и мальчик вовремя дома будет. Могу ли я со своим сыном в кино сходить?» Я и не выдержала, обидно стало, вот я и разревелась. Мама, но что же она себя как ревнивая жена ведет, а я не поймешь кто! Как будто приживалка. Да и Гришу тоже жалко, то он ко мне, то к ней. Что же вы, кричу, мою жизнь заедаете! Это вам еще помянется. Я ведь тоже биолог, тоже с высшим образованием!» А она шипит: «Я что-то такой биологии — генетической — и не слыхала. Что-то тебя, ценного такого работника, с такой редкой профессией, еле на работу лаборанткой взяли». А какой она биолог?! Только и читала, что Мичурина с Лысенко! (Хочу здесь заметить в скобках, что бабушка Лида вовсе *не была ретроградной гонительницей генетики*, выслуживавшейся по начальству; она действительно верила, что генетика — это заблуждение, досадный просчет в ясной дарвиновской картине эволюционного развития). Я взяла и выскочила, — продолжала жаловаться мама. — Гриша за мной: «Анечка, Анечка, пойдем в кино. Не обижайся на маму, у нее тяжелый характер, она пожилой человек». Она-то как раз чересчур молода, это я скоро старухой буду от такой жизни. А в старости и вспомнить нечего будет, кроме ссор и скандалов. Так и проживу всю жизнь, не живя, ничего, кроме обид, не повидав. Для чего и жила?! Пошли в кино. А на картине поругались. Я сюда побежала, а он домой к своей мамочке поехал! Мама, что ж я такая невезучая?! Не вернусь я туда!

Бабушка сидела напротив мамы, осуждающе поджав губы и покачивая головой. Мама говорила бы-

стро, с трудом переводя дыхание между фразами; от раскаленной печки было жарко, а казалось, что жар и духота идут от красного абажура над столом, допуская свет только в середину комнаты. Уже в углах скапливалась темнота, не говоря уж о холодной зимней тьме за окнами. В моей голове закрутились вполне реальные мечты. Как мы живем отныне здесь, я хожу в здешнюю школу, мама на работу, и ничего нам *от них* не надо, пусть себе там живут, а мы и сами проживем, а потом я вырасту, стану знаменитым, помогу маме с работой и, конечно, буду лелеять ее старость, а *они* пусть себе там локти кусают, что не смогли оценить таких замечательных людей, как я и мама. И пусть тогда отец гордится и горюет, что это такой у него замечательный великий сын, но он к этому отношения не имеет, не он меня вырастил. Особенно мучительно, больно и все же самоистязательно-сладко было мне воображать, до слез жалости к себе, возможную реакцию отца. Это уже потом я понял, что чем больше любишь человека, тем больше хочешь, чтоб он только на тебя и дышал, забрать его целиком, и потому срываешься и причиняешь именно ему больше боль, чем человеку постороннему, тем самым доказывая свои права на него. Всего этого я тогда не понимал и даже так не думал, это теперешние мои сентенции, а тогда я чувствовал только обиду за себя, за маму и хотел навсегда остаться у бабушки Насти.

Мама закончила свой рассказ. Что могла ответить бабушка Настя на такой *поток слов*, ею самую, по суще-

ству, спровоцированный? Зачем она вызвала его?.. Быть может, и вправду пыталась помочь выговориться?.. Но был тут отчасти и запрограммированный некий упрек: «дескать, не послушалась в свое время, теперь кого уж винить, терпи теперь». Этот произнесенный упрек я очень тогда почувствовал, хотя и понимал, что бабушка искренне переживала за маму и все такое... Соображение это, однако, промелькнуло и погасло. Я с сундука подлез к матери, головой прижался к ее рукам.

— Мама! Давай *к ним* не поедем. Давай тут остаемся.

Но сам же ясно вдруг понял (мамиными или бабушкиными глазами на минуту вокруг себя взглянув), что негде тут оставаться. Да и незачем. Да и дальше что? И еще мне вдруг ясно стало, что не хочет мама с папой совсем расставаться, вовсе нет. И что между словами и чувствами есть разница.

Да и бабушка встряла.

— Раз уж выбрала, должна мужа слушаться. Сама выбирала, никто тебя, Аня, не приневоливал. Мы с отцом, ты знаешь, против были. Ведь судьбу себе выбирала, не что-нибудь! Следовало бы поосмотрительнее быть. Теперь терпи. Христос терпел и нам велел. А ты, Борюшка, маму не сбивай, ей свою жизнь надо налаживать.

Мама вяло сопротивлялась, без энтузиазма:

— Потатчица ты! Соглашательница. Всем потекаешь, как бы, не дай Бог, не обидеть кого. Скоро ты и *змеюку* мою начнешь выгораживать.

— Если надо будет, то и буду. К старшим людям с уважением относиться следует. Это я всегда говорила. Мы, старшие люди, много пережили. Годы-то какие тяжелые и смутные были.

— Эх тебя занесло, — прервала ее мама. — Не о том же речь.

— А и о том, — заторопилась бабушка. Ей явно не хотелось чувствовать себя виноватой в могущей развернуться ссоре, и она била отбой, насытив свое любопытство. — Вы с Борюшкой попали в *ученую* семью (говорилось это так, как будто я *не там* вовсе и родился). И ты ради Борюшки должна терпеть, чтобы он инженером или даже *профессором* стал. Серафимато вон и похуже терпит. Григорий Михалыч (это отец) куда уважительнее Николая.

— Мне Серафима не пример и не указ, — отвечала мама. — У меня своя голова на плечах.

Однако мы начали собираться домой.

\* \* \*

Помню, что мы ехали двумя автобусами, с пересадкой (не очень удобной: надо было перебежать железнодорожные пути), и я всю дорогу уговаривал маму не расстраиваться, а вернуться нам обоим к бабушке Насте и там жить. Мама плакала и смеялась и обнимала меня. В этом нервном, вздернутом состоянии духа мы вернулись домой, где с «неумолимостью греческого рока» разразился скандал.

Но не сразу.

Мама открыла дверь своим ключом, мы вошли, и дверь без особого шума закрылась. В прихожей никого не было, и горел свет. Нашего прихода никто не заметил, поскольку (я сразу это понял) в комнате налево была плотно прикрыта дверь и оттуда доносились голоса: шел спор. Голоса я узнал: папин, бабушкин и дяди Левин, того отцовского приятеля с нервным тиком и посыпанными перхотью волосами. Говорил дядя Лева:

— Извини, дружище, но когда ты выходил, я случайно сунул нос в твои записки, ты их прямо на столе бросил. Эти все твои рассуждения о вечности, ты прости, конечно, — тоска атеиста, зафиксированная еще Достоевским. Но с его-то времен прошло уже Бог знает сколько времени, а по событиям — так и не измерить! Я бы уточнил поэтому: тоска атеиста, но атеиста-бездельника, не желающего работать. Еще лет пять назад эта восточная, ламаитская даже тоска о вечных проблемах была бы, быть может, оправдана. Но сейчас, когда разворачиваются скованные силы, наступает оттепель, только и работать, осуществлять себя в делах. Мы же все-таки европейцы, а не индусы, не Восток, тысячелетиями не знавший социальной и практической деятельности. Европейцы потому мало думают о бесплодных этих проблемах, вечных лишь по названию, что делом заняты. Вот и нам пора к делу приступать. Ты же умеешь писать, ты — историк, а у меня, брат, появились связи в журналах. Пора уже нашему поколению выходить на сцену. Вначале рецензии, затем статьи, а там, глядишь, и книги.



— Я не могу ничего делать, — прервал его отец, — пока не пойму, чего добиваюсь в жизни.

Мама приложила палец к губам, очевидно, и она прислушивалась. Чтобы я по неуклюжести чего-нибудь не опрокинул и не нашумел, она сама тихо и быстро помогала мне снять пальто, рейтузы, валенки. А я думал, что, оказывается, мама зря осуждала папиных друзей и что дядя Лева, как и мама, хочет, чтобы папа «заялся делом».

— Ты так и не поймешь, пока делом не займешься, — в свою очередь перебил отца дядя Лева. — Это же математический закон. Почему бы тебе, вместо того, чтобы крутиться между семейными склоками, не бросить все это, не переехать ко мне. Должна же у тебя быть ответственность перед самим собой, а не только перед семьей. Так и для твоих будет лучше. А если и нет, то, старик, в конце концов еще Энгельс писал, что семья — это преходящий и отживающий институт. А у вас, я прошу у Лидии Андревны прощения за дерзость, вообще не семья, а какие-то Монтекки с Капулетти.

Прежде, чем отец успел вымолвить хоть слово, вместо него заговорила бабушка Лида, как всегда не допускающим возражений тоном:

— Что ж, я, Гриша, тоже хочу сказать тебе, как твой самый верный друг и старший товарищ, что Лева совершенно прав. Тебе надо уехать от семьи, чтобы приносить пользу обществу своим пером. Мне это будет тяжело, ведь я твоя мать, но так надо. За Бориса можешь не беспокоиться — нянек у него достаточно. И я

еще помогу твоей жене деньгами. Ты должен, наконец, осознать, что человек, имеющий большие способности, ответствен перед обществом за их реализацию.

— А я полагаю... — начал было отец тихим и как бы виноватым голосом, но остановился и приоткрыл дверь. Дело в том, что при словах бабушки Лиды мама с такой силой хлопнула моими валенками, стряхивая с них снег, что папа это услышал и вышел в коридор, улыбаясь встревоженно и облегченно: — Ну, наконец. А я уже начал беспокоиться.

— Неужели? — звонким от раздражения голосом буркнула мама. — Что же тебя твоя мамочка не успокоила?

Отец покраснел, но сдержался. А мама наклонилась ко мне и проговорила быстро:

— Беги скорее в комнату. Ты ведь не будешь огорчать маму, сразу себе постелишь и ляжешь, ладно?

Я побежал, но, заходя в нашу комнату (расположенную как раз напротив кухни), приостановился. Из папиного кабинета, где только что спорили, появилась бабушка Лида. Она прошла, не заметив меня и не сказав маме ни слова, будто не слышала ничего, гордо так, не прошла, а *прошествовала*, высоко подняв голову, в свою комнату. Но дверь оставила приоткрытой.

Тут-то все и началось. Отстранив одной рукой отца, мама прошла следом за мной, по пути с грохотом хлопнув полуотворенной дверью в бабушкину комнату, столь плотно прикрыв ее, что бабушка, как было слышно, не сразу сумела и открыть дверь.

Я уже стоял перед разобранной постелью и стаскивал с себя одежду. Моя постель, как и мамина, были расположены напротив двери, и их разделял только письменный стол. Одежный шкаф стоял в углу, и больше в комнате, если не считать двух стульев, ничего не было. Но комната была много больше бабушкинастиной, и потому казалась совсем пустой и оттого холодной. Я торопился скорее очутиться под одеялом, как вошел отец.

— Аня, ты что? Возьми себя в руки. Перед Лево́й неудобно. Что он о нас подумает, сама посуди...

— Вот как? Забеспокоился!.. Это же только подтверждает его слова... Так что куда уж лучше? И нечего, нечего ему *о нас* думать, пусть лучше *о вас с мамочкой* думает!

Когда мама в ярости и демократическом раздражении объединила отца и бабушку Лиду словом «они», отделяя «нас», то есть ее и меня, я верил ей и не понимал, что все это от большой тоски, что с большей радостью она бы держала на своей стороне отца.

— Аня, не надо так!

— Почему это не надо? Ах, слишком грубо, слишком неделикатно! Ваши барские ушки к этому не привыкли!.. А я и есть мужичка, твоя мать разве тебе этого еще не объяснила? Вот и отправляйся к ней! А ко мне не смей заходить! Имею я в конце концов право на свою комнату или нет? И так живу между небом и землей... По закону имею. И никто не посмеет отобрать! Завтра же подаю на размен, — не могла себя

остановить мама. — И ничего эта старая ведьма мне не сделает!

— Я требую, — почти фальцетом закричал вдруг отец, — чтобы ты не смела так говорить о моей матери и Бориной бабушке!

— Не ори! Выйди и закрой дверь с той стороны, — чужим и спокойно-демонстративным тоном сказала мама. — Мне надо Борю укладывать.

А я пробурчал, но совсем тихо, чтобы отец не слышал:

— Никакая она мне не бабушка, — и исподлобья поглядел на отца из своего угла как раз напротив двери.

Для большей суровости взгляда я быстро перебрался в пижаму и залез под зеленое теплое байковое одеяло, как защитился, сразу и взгляд (это я почувствовал) стал увереннее. Про это одеяло я в стихотворческий — года через три — период сочинял стихи:

Зеленое одеяло байковое  
 Лежит на кровати мозаикой.  
 А я свирепым зверем пуюю  
 Хожу по комнате и думаю.

Дальше не помню. Но ясно одно мне из этих строк, что и в дальнейшем настроения хандры и так называемых *размышлений* посещали меня.

Отец пригладил волосы, гладкие, черные, делавшие его похожим на индейца, обхватил рукой свой

большой породистый нос (уже после я узнал это: знакомые говорили — «какое у твоего отца породистое лицо, нос, губы особенно»), тем самым как бы прикрыв лицо, и, махнув рукой, сказал:

— Ладно.

Но так просто все, разумеется, закончиться не могло.

Мама повернулась резко, с мужицкой ухваткой дернув отца за плечо, встряхнула своими светлыми кудерьками и, протянув руку, указала на эмалевую фотографию бабушки Лиды («под Ермолову», в строгом черном платье до пят, с гордо поднятой головой и идеально прямой спиной), стоявшую на столе:

— И это тоже с собой захвати. Довольно с меня такого мазохизма! Хватит того, что я и так ее живьем каждый день вижу! Хватит, нагляделась!

У отца даже лоб покраснел от внезапной ярости; я испугался, что сейчас что-нибудь произойдет.

— Фотография тут стоит и будет стоять, — тяжело дыша, звенящим голосом, с силой, но *спокойно* произнес он.

— Ну это мы еще посмотрим! — криво усмехнулась мама и шагнула к столу.

— Не смей, я тебе говорю! — крикнул отец.

Но мама продолжала идти, и время потянулось, как всегда в мучительных ситуациях бывает, удивительно медленно. Мне вдруг показалось, и так ясно — я до сих пор очень отчетливо помню это ощущение — что надо кому-то просто остановиться (улыбнуться или нет —

это все равно), и все пройдет, весь этот дурной сон. Но было также до жути ясно, что никто не остановится. Я, может быть, что-то мог сделать, отрезвить их, но какое-то извращенное упрямство удержало меня. Никто не сумел опомниться. Но — зазвенел телефон.

Отец, как бы обрадовавшись помехе, хотя и подозрительно глянув на мать, повернулся и, тяжело ступая, вышел на кухню.

— Да? Да, Алеша, здравствуй. Да. Боря дома. Нет, не спит, но уже в постели. Наверно, может. Борис, — крикнул он. — Тебя Алеша к телефону. Только тапочки надень, а то пол холодный.

Он вернулся в комнату, а я поплелся на кухню, где на тумбочке у стены стоял телефон, валялись справочники, телефонные алфавиты, какие-то оторванные бумажки с телефонными номерами. Я пододвинул к тумбочке табуретку и уселся на нее, поджавши ноги. Из бабушкиной комнаты послышалась отрывистая неясная фраза, произнесенная дядей Лево́й, но ответа не последовало. Я поднес трубку к уху. Казалось бы, я должен был быть благодарен этому звонку, но почему-то — хорошо помню — Алешка заранее раздражал меня, я был настроен против него. Уже хотя бы потому, что звонил он в такую пору. Я так поздно еще никогда не ложился: было уже начало одиннадцатого.

— Я тебе уже третий раз звоню, — таинственно, срываясь на повизгивание, зашептал он.

— Я слушаю тебя, — сухим, «взрослым» голосом ответил я.

Что-то тревожило меня, что-то я предчувствовал, не говоря уж о том, что я прислушивался напряженно к тому, что делается в комнате и хотел поскорее кончить разговор, чтобы туда вернуться. Но ему явно хотелось чем-то поделиться необычным, и он не обратил внимания на мой отваживающий его тон.

— У меня сегодня Танька Салова целых два часа была, а дед был на лекциях, и матери с бабкой тоже не было. И мы с Танькой все это время *целовались*, — шептал он пораженно и срываясь, хотя и старался казаться бесстыдно-молодецким.

Мне *такое* и в голову не приходило делать. А ему пришло. То есть, хоть он и удивлен, что Танька согласилась, он решил говорить с ней об этом. Как? Какими словами? Очевидно, какими-то немислимыми. Я как будто и не чувствовал обиды, но я знал, что всё кончилось и что к Таньке даже в воображении я никогда не подойду с нежными признаниями. И Алешка с его тонкими чертами, прозрачными голубыми глазами и несимпатичной мне нелюбовью к книгам вдруг тоже как-то стал чужим. Хоть мы и не поссорились вовсе. И когда я повесил трубку, мне было грустно, и эта грусть словно поднимала меня над родительскими сvaraми.

Я хотел подняться с табуретки, чтобы двинуться назад в комнату, но остался сидеть: в дверях кухни, лицом ко мне, прямая, с руками, упертыми в бока, загораживая мне вход, стояла бабушка Лида.

## Глава V Бабушка Лида

Сказать по правде, я испугался. Мимо бабушки мне была видна наша комната, точнее, некая часть ее: кушетка, на которой лежала, отвернувшись к стене, мама, и спина стоящего перед ней отца. Я оставался с бабушкой Лидой один на один. И знал, что сейчас начнется выматывающий душу и совесть разговор. Под ее взглядом я словно оцепенел, мне даже диким казалось предположение, что можно подняться и независимо пройти в свою комнату. Бабушка загородила мне выход, а она всегда знала, как и что *надо*, как и что *правильно*, и это ощущение собственной непогрешимости не только не позволяло ей увидеть чужую точку зрения, но как бы вовсе устранило таковую, будто ее и не было. К тому же, что было особенно мучительно, — я предчувствовал, что сейчас пойдет разговор о моем и, главное, мамином *поведении*. А то, что мама вела себя «неправильно», «ругалась на взрослого» (на бабушку Лиду), а сама была младше, — это мне было ясно. И следовательно, по моим детским представлениям, она заслуживала наказания.

Уже когда мне было лет четырнадцать, отец пытался мне объяснять: «Мама с бабушкой ссорятся по вековечному российскому архетипу, ну, образцу, что ли, своего рода. В России никогда свекровь с невесткой дружно не жили. Об этом и русские песни, сказки — то невестка жалуется на свекровь, то свекровь бранит невестку.

Ты же сам это знаешь, читал. Вот и в школе вы “Грозу” проходили. Разумеется, там не только об этом, но есть и об этом. Кабаниха и Катерина — ведь это свекровь и невестка. Это, понимаешь ли, пока неустранимо. Вообрази сам. Мать воспитывает, лелеет своего сына, отдает ему всю себя, и вдруг появляется какая-то чужая ей женщина, и оказывается, что для этой чужой, *пришлицы*, обожаемый сын в свою очередь готов на все. И что же каждой матери чудится? Что лучшие силы ее души ушли попусту, подарены кому-то — *неизвестной, незнакомке*. Вот отсюда и подозрительность, попытка напомнить сыну о его особом пути, о необходимости “быть мужчиной”. А на самом деле за этим скрывается ощущение, что сын по-прежнему еще ребенок и что перед ним необходимо убирать житейские тяготы, чтобы он мог реализовать себя. Хотя возможность такой реализации есть не что иное как иллюзия, ибо только через преодоление действительности укрепляется человек. Понимаешь? Какая бы ни была мать — умная, интеллигентная, высокодуховная — эта зоологическая почти и одновременно святая привязанность к сыну лежит проклятием на ее взаимоотношениях с женой сына. Одно то, что мать уже избрала про себя для сына путь величия (в старину мечтали, что генералом будет, теперь диапазон ценностей расширился — не только генералом, еще и директором завода, знаменитым ученым, великим писателем, художником), а тут сын весь свой действительный или воображаемый талант и способности “приносит в жертву” *постороннему* челове-

ку, — все это удручает и расстраивает мать. Я уверен, что матери, сумевшие стать друзьями сына, оказывают на него больше влияния, нежели друзья, жены, дети, поскольку безусловно верят и сына поддерживают в вере в его высокое предназначение, снимая житейские заботы и создавая вокруг атмосферу высокой духовности. И дети несут свое предназначение как крест, они нервны, самолюбивы: я тебе назову хотя бы имена таких, как Писарев и Блок, самыми близкими друзьями и поверенными которых были их матери. Да ты и сам можешь припомнить кого-нибудь из своих приятелей, “маменькиных сынков” так называемых, из которых их матери делают вундеркиндов. Уровень пониже, но принцип тот же самый. Ты большой, я думаю, ты можешь уже это понять. Бабушка Лида была и остается для меня именно матерью-другом. Отсюда такое ее неприятие твоей мамы, женщины, как ты знаешь, с характером сильным. Другое дело, что между бабушкой и мной вдруг пролегло временной, или даже я бы сказал, историко-культурный водораздел. Бабушка Лида тоже живет запросами духовными, важнее идей, концепций, проблем для нее ничего нет. Но, несмотря на все свои нынешние поправки, она осталась жить во времени до пятидесяти третьего года. То есть она всё понимает, но вместе и не всё, мы просто стали разные люди. И это для нее лишнее подтверждение *зловредного* влияния твоей мамы. Она и сейчас любит принять гостей, беседовать с ними, и моим друзьям с нею интересно, но не близко. Зато мама гостей не любит, она ведь, если не в

гневе, довольно молчалива. И вообще-то, мой друг, Россией частенько правили женщины», — невольно вдруг закончил он.

«Но ведь это всё не объясняет *специфики* наших семейных отношений», — краснея от удовольствия вести столь серьезный и на равных разговор, где мое мнение имеет не только ценность вообще, но и серьезный вес, отвечал я.

«Разумеется, — довольно-таки охотно соглашался отец. — В твоей судьбе, именно в твоей, а не в моей, со мной причудливее, но однозначнее, так вот, в твоей судьбе сплелись две линии, я бы сказал, российской культуры, русской истории, которые и противостоят одна другой, и взаимообогащаются — всё вместе. Я говорю о *взаимоотношении интеллигенции и народа*. Обычно под народом понимают крестьянство. Но в двадцатом веке ситуация изменилась. Понимаешь ли, городской народ — это тоже народ. Об этой проблеме написано полно, но толком она так и не разрешена до сих пор. Главное, житейски не разрешена. А ведь контакт стал реальнее, плотнее. Бабушка Лида считает всех маминых родственников, включая и бабушку Настю и деда Антона, всех скопом, короче, — *мещанами*. Я бы так не сказал. Но там и вправду совсем иной образ жизни, я бы назвал его *телесным*, и характерно, что бабушка Лида его не приемлет.

«Почему?» — требовал я пояснения и уточнения.

«Да потому, что сама она всю свою жизнь жила книгами, газетами, постановлениями, то есть под-

чиняя свою жизнь чему-то нематериальному, духу, иными словами. Она еще кончала гимназию, читает, как ты знаешь, на нескольких языках, а на испанском и французском говорит свободно, в отличие от меня, да и от тебя, которые языков вовсе не знают; она, на мой взгляд, если рассматривать каждого человека как историческое явление, оказалась среди тех юных гимназистов, которые, усвоив азы старой классической культуры, отказались от нее, но при помощи этих «азов» приступили к постройке новой культуры, поражая иностранцев своими знаниями. Ибо иностранцы резонно ожидали встретить в новой России только малограмотных мужиков, а их встречали люди, говорящие на всех европейских языках. Это, наверно, как римляне времен упадка отказывались от язычества, устремляясь к не очень изощренным в диалектических тонкостях первым христианам. Бабушка, если нам с тобой быть честными друг с другом, так и не стала настоящим биологом-исследователем, как твоя мама. Слишком много общественных функций ей пришлось выполнять, вот она и стала в итоге *историком* науки, занятие благородное и не менее значительное, но... в иных ситуациях занятие это ни к чему хорошему не приводило — вот как у бабушки с генетикой вышло. Тут оказалась права твоя мама со своим упрямством эмпирика, практика. Но я чего-то все отвлекаюсь, ты же меня просил о специфике... Впрочем, все это и есть специфика. Если раньше русская интеллиген-

ция призывала учиться у народа, то новая интеллигенция сочла, что она и без того знает, что народ из себя представляет и чего он хочет. А кто под определение не подходил, оказывался мещанством. Бабушка никогда не видела правды другого человека. Что делать, так исторически характер сложился, это надо понять и простить».

«Понять все можно, простить, видимо, тоже, но вот ты ни слова почти не сказал о властности бабушки Лиды, — бурчал я, напыжившись, подражая аналитической стилистике отцовской речи, — о ее вмешательстве во все дела, мама ведь злится и злилась не только от разногласий, а от того, что бабушка даже обед ей не давала по-своему приготовить, и всё знала лучше всех, и всё ей нужно, чтоб исполнялось в ту минуту, как она сказала, и никто ослушаться не мог — вот что. А мне и особенно тяжело, и как *мне* быть, я не знаю. Ведь ты-то всё же *сын одной из* моих бабушек, а я *внук сразу обеих*», — говорил я в принятом мной для большей независимости в разговорах с отцом условно-ироническом тоне.

Здесь отец мрачнел, но затем снова принимался рассуждать: «Ты прав, разумеется. Выносить такое раздвоение никому не бывает легко. В душе образуется своего рода *двумирье*, а это тяжело. Но скажу тебе и другое. Стоять на рубеже двух стихий, понимая и неся в себе правду их обеих, понимая эту правду не умом только, а чем-то высшим, всем своим существом, правду и тела, и духа, — это в дальнейшем,

может быть, как раз и обогатит тебя, именно духовно обогатит, хотя сам ты, может, и понимать не будешь, откуда твоя глубина. *Двумирье — это великое и тайное преимущество немногих избранных.* Можно завидовать цельному духовному порыву Шиллера, его отрешению от житейского, но трезвая глубина Гёте все равно значительнее. Он был и глубже и реальнее Шиллера, ибо нес в себе две стихии: духовную, высококультурную и мещански-бюргерскую, обыденно-житейскую. Мир сложнее, чем мы его представляем в юности, и потому, не вдаваясь даже в метафизические тонкости, с детства знать хотя бы две его ипостаси весьма благотворно. Не усмехайся, не усмехайся! Я не хочу, разумеется, равнять тебя с Гёте, хотя в качестве самого обычного и пошлого родителя я, конечно, мечтаю, чтобы мой сын стал чем-то. Но в принципе мое рассуждение справедливо».

«Ах, так мне еще повезло?!» — восклицал я.

«Ну, разумеется», — смеялся отец.

Что меня в детстве еще поражало — это то, что бабушку слушались люди, вроде бы не обязанные ей подчинением, такая непререкаемая властность и уверенность в своей силе звучали в ее голосе. Поэтому все внешние приметы ее облика (общественница, доктор наук, деятельница и т.п.) я в детстве не воспринимал отчетливо. Я переживал *характер*, так сильно ощущавшийся, что, когда в дурном настроении она молчала, это ее настроение, словно через воздух, влияло на всех нас.

\* \* \*

Поэтому-то я и остался в тот вечер сидеть на табуретке, испуганно уставившись в пол, ожидая, пронесет — не пронесет; в глаза же бабушке Лиде глянуть не было сил. Прямо — казалось дерзостью, да и слезы наворачивались от напряжения; трусливо — как будто недостойно. Дело в том, что отношения мои с бабушкой Лидой всегда были каким-то противостоянием (она — одно, я — совсем другое) и строились по принципу долженствования (я *должен* уважать её, любить и т.д.), европейской формализации, которая в Европе, может, и благотворна, но здесь не работает, превращаясь в казенщину. Россия, думал я спустя годы, рассуждая о своих семейных неурядицах, выработала свой способ преодоления противоречий, *неформальный*, а иного тут и быть не может. Вот как с бабушкой Настей: даже в ссорах сохранялось ощущение единства. Бабушка Лида словно не имела нужды в таком единстве.

И ещё разница существовала, быть может, мелкая, но очень мной тогда почувствованная: запах духов. От бабушки Лиды всегда пахло духами, как будто она не была старой, а от бабушки Насти никогда. «Старые люди» не должны пользоваться духами, это для молодежи, говорила она, и я понимал, что она осуждает тех «старух», которые все же ими пользуются. Но бабушка Лида и не считала себя старой. Я знал, что духи она употребляла одни и те же, их ей всегда дарил отец на Восьмое марта, назывались они «Красная Мос-

ква». Не «Фиалки», не «Ландыш», не «Кармен», а — «Красная Москва». И название это тоже подходило к прямоспинной, стройной и строгой бабушке. Разумеется, она тоже любила меня. Но словно бы не как бабушка, всепрощающе и всепонимающе, а с какой-то античной суровостью, менторски вбивая мне в голову *принципы* поведения; мне все ее слова казались «нотациями», и я старался поскорее пропустить их мимо слуха. Бабушка Лида как будто и не пыталась найти контакт со мной, полагая, что её образ жизни, её биография сами по себе должны быть притягательной силой. Сложность её судьбы, необычность её биографии я понял гораздо позже и когда-нибудь, если получится, расскажу об этом. Позже я понял и то, что, как бы ни ссорилась она с моей мамой и как бы я ни старался в детстве отмахнуться от её *придирок*, находясь в семейных скандалах на противоположной стороне, её неистовое стремление жить прежде всего во имя высших, надличных и сверхличных идеалов передалось не только отцу, но даже маме, а в меня впечаталось невытравляемо. Если это хорошо, то за *такое наследство* я должен благодарить именно её.

Она стояла, пристально и молча глядя на меня, так что я кожей чувствовал ее взгляд, даже хотелось потереть то место, куда были направлены ее глаза. Она ожидала, что я все же не выдержу и погляжу на неё. Но я выдержал.

— Почему ты до сих пор не в постели? — спросила она наконец. Спросила обычным голосом, негромко,



даже тихо, но все равно я отчетливо слышал все её слова, в которых почувствовал упрек, обращенный к матери, и тут же блокировал его.

— Меня *papa* к телефону позвал, — не поднимая глаз, *громко* отвечал я. (Дескать, мама тут ни при чем, да и громкость при таком ответе позволительная. Но родители не услышали.)

И бабушка тему не продолжала, как-то ловко переводя ее на мой «вызывающий» ответ. Так я во всяком случае понял.

— Тебе стыдно? — покачала она головой (краешком глаза я это движение зафиксировал). — Почему ты смотришь в сторону?

Я молчал, потому что не знал, что надо отвечать.

— Ты вошел и с бабушкой даже не поздоровался, — все тем же ровным голосом сказала она.

— Здравствуй, бабушка, — робко вымолвил я.

И поднял глаза. Бабушка по-прежнему стояла, оперев руки в бока, в длинном блестящем платье, ровная, прямая, словно молодая, только морщинистые щеки и мешки под глазами, кожа, обвисшая на горле, как у молодых не бывает. Она как бы с интересом смотрела на меня, дескать, вон, оказывается, ты какой скверный, надо бы тебя повнимательнее изучить. Я совсем сжался, глянул снова мимо, через коридор, но из комнаты помощь не приходила. Там отец, вплотную подойдя к кушетке и слегка принагнувшись, что-то глухо говорил маме, которая лежала, отвернувшись к стене и зажав уши.

— Ты уже взрослый, Борис, — сказала бабушка, а я даже испугался этой просквозившей неожиданно в её голосе дружескости. — Ты многое должен понимать. Я хотела бы с тобой поговорить как с разумным человеком. Я уверена, что мой внук — *разумный* человек. И я надеюсь, что ты уже можешь самостоятельно, без *посторонних* внушений и с должной критичностью подойти ко многим вопросам. Я хотела бы обсудить с тобой поведение твоей матери.

— Не собираюсь, — затравленно буркнул я.

— Ты можешь не собираться, но это надо сделать. Ты должен выбрать определенную позицию в жизни. Ты ведь человек, а не бессловесное, неразумное животное. Определить, на чьей стороне ты находишься, — это так важно в жизни, это дает силу действовать! — обычно надменная, она выглядела сейчас даже несколько неуверенно, напором слов, преодолевая свои колебания. — Ты ведь не возражаешь против этого?

— Нет, — отвечал я, совершенно сбитый с толку.

— Ну так давай рассуждать, — бабушка стояла все так же спокойно и величаво, но в глубине где-то, казалось мне, была взволнована. Все-таки тема эта задевала ее лично. — Как ты полагаешь, правильно ли поступает твоя мама, когда грубит мне? Подожди, не спеши с ответом. Я уж не говорю о том, что я — человек заслуженный да и по возрасту старше твоей мамы, не так ли? Люди ведь могут объясниться, если между ними возникают недоразумения, человеческим языком, не прибегая к грубостям. А у твоей мамы на

языке ничего, кроме грубостей, по отношению ко мне нет. Она считает, что со мной только так и можно разговаривать: грубить мне, хлопать дверью, обрывать на полуслове. Ты тоже считаешь, что с бабушкой *именно так* надо разговаривать? Как по-твоему?

— Нет, конечно, нет, — снова отвечал я, чувствуя, что все мои карты биты: бабушка вроде бы во всем была права. Более того, я испытал вдруг неожиданно для себя щемящую к ней жалость. «Однако, как же это я смел *так* думать про бабушку! Какой же я все-таки нехороший человек! Мало ли, что мама с ней ругается, но ведь она мне бабушка, и я обязан ее любить. Она так одинока! Ведь папа её единственный сын, а я единственный внук... Не то что у бабушки Насти — несколько внуков!..»

Но требования далее предъявлены были непомерные, да и не вовремя.

— Я рада, что ты согласен со мной, — произнесла бабушка, помолчав минуту и глядя мне прямо в глаза. — Значит, ты это понимаешь? *Отчего же ты защищаешь свою мать* и даже подражаешь ей: отвечаешь на мои вопросы отрывисто, грубо, а то и вовсе не отвечаешь, стараешься поскорее проскочить мимо моей комнаты, не делишься своими планами и интересами?

Пытка была нестерпимая. Я задохнулся, смешался, почувствовал жар во всю щеку.

— Ты краснеешь, оттого что тебе стыдно, — констатировала бабушка Лида, продолжая «стоять над душой». — Однако не отвечаешь... Боишься матери?

Ты уже взрослый, Боря, — добавила она, на сей раз даже имя моё уменьшив почти до ласковости: не Борис, а Боря. — И ты можешь как разумный человек вмешаться в этот конфликт, который всем тяжел, особенно твоему папе.

И несмотря на то, что был-то всё равно я на стороне мамы, спокойный и отчасти грустный тон бабушки Лиды спутал все мои представления о том, как мне *надо* себя вести, пригасив мой пыл и пафос. Тем не менее стыду и раскаянию, охватившим меня, развиться не удалось. Из комнаты, ведомая каким-то неизъяснимым, непонятным чутьем на кухню вдруг ворвалась мама. Она уже успела переодеться в шерстяной с начесом красный халат, походивший — в моем тогдашнем книжном воображении — на кардинальскую мантию. Подарила ей этот халат бабушка Лида, а той в свою очередь этот халат был подарен французской биологиней, приехавшей на какой-то конгресс. Зная два европейских языка, бабушка Лида общалась с иностранцами, что по тем временам было редкостью. Я был в таком растерянном состоянии духа, что отметил и халат, и то, что он подарен бабушкой Лидой, а мама все равно бабушку не любит.

Довольно решительно отодвинув в сторону бабушку Лиду *руками* (по ощущению: в гневе все сойдет и на гнев спишется), поскольку сама бабушка двигалась чересчур, на мамин взгляд, медлительно и величаво (чтобы сохранить достоинство — казалось мне), мама схватила меня за плечо и крикнула:

— Что здесь происходит? Почему Вы ребенка здесь держите? Ему пора спать! Ну-ка, позвольте пройти!

Мое настроение мигом изменилось, я почувствовал облегчение и привычно тут же перешел на мамину сторону.

— Ты ненормальная грубиянка, — отстраняясь от мамы и прижимаясь спиной к стене в коридорном проходе, по которому меня влекла за собой мама, надменно произнесла бабушка Лида.

— А вы?! — взорвалась мама, затолкнув меня в комнату и стоя на пороге. — Везде сеете свой яд? Мало вам своего сына? Отобрали? А ведь он мне стихи писал! Вы еще и моего зацапать хотите? Вам всем нужно жизнь испортить? Все должно быть по-вашему!.. А вот я хочу собственным глупым умом жить!.. Ясно? — и она «перед носом у бабушки» хлопнула дверь.

Движения у мамы стали размашистые. Еще секунда, и полетят предметы. Я это очень хорошо знал. Мама толкнула меня по направлению к постели.

— Живо в кровать! Тебе завтра в школу!

Я моментально улегся. Подоткнув мне одеяло, мама резко развернулась к папе, который уже сидел на ее двуспальной кушетке, покрытой деревянной пестрядью, сшитой бабушкой Настей. Голова у отца была опущена, глаза плотно прикрыты, руками он сжимал виски. Сцена была немножко театральной, хотя все происходящее и переживалось всерьез. Я это

понимал, напрасно думают, что дети мало понимают, понимал и то даже, что иначе, чем через некоторую театральность, своих чувств тут и не передать.

— Ну что сидишь? — бросила она отцу. — Борису спать надо. Иди, иди! Тебя твоя мамочка ждет уже не дождется, наверное. Как же! Мое поведение обсудите! Давай, иди!

Мама отскочила к стене, где за шкафом приделан был выключатель, и быстро повернула его. Свет погас. Стало темно, черными непрозрачными тенями виднелись в разных углах комнаты фигуры родителей. Красный мамин халат был особенно черен. Мама, не выпуская руки от выключателя, смотрела, тяжело дыша, в сторону отца.

Затем снова зажгла свет:

— Ну же, я жду! Давай поторапливайся! — и ко мне. — Борис, включи-ка настольную лампу!

Я повиновался, ожидая глядя на отца. Пружина продавленного дивана больно толкнула меня в бок. Осторожно я опустился назад, в удобно вылежанную за несколько лет ямку.

Отец встал, но ничего не ответил. На пороге возникла бабушка Лида в своем черном шерстяном длинном до полу платье, удивительно похожая на свой фотопортрет «под Ермолову», стоявший на маминном столе. На груди у бабушки — я заметил, потому что на портрете она отсутствовала, — была в тот день пришпилена орденская планка. У бабушки было несколько орденов за научные заслуги, а один — Красной

Звезды — за Испанию, где она *как знающая испанский* работала переводчицей. Но как-то так из-за всех этих отношений получалось, что я совсем ничего не знал о бабушкином боевом прошлом. «Как глупо, — подумал я, — что мама с бабушкой ссорятся». Корыстные мысли вдруг на секунду захватили меня, как я мог бы хвататься бабушкиными подвигами перед приятелями и даже перед нашей учительницей Марьей Ниловой. *Порассуждать*, однако, обстоятельно и расплывчато, как я любил, мне в эту секунду не удалось.

— Я бы на твоём месте прекратила эту безобразную сцену, — обратилась бабушка Лида к маме. — Во всяком случае, мальчик не должен этого слушать. Он не должен расти в атмосфере мещанских скандалов, на которые ты такая мастерица. И было бы из-за чего!..

Снова на какую-то секунду я подумал, что, быть может, бабушка права, ведь ссора нарастала на моих глазах, и слово цеплялось за слово. Это и было *мещанством*, как я его понимал: ссоры не по *принципиальным* вопросам. Из-за пустяков.

— Вот об этом я тебе и говорила, — обернулась вдруг бабушка Лида к отцу. — Я тебя предупреждала, что женщина из мещанской среды всегда останется мещанкой. А это очень вредно для Бори. Я не говорю уж о том, что он постоянно ездит к этой «бабе Насте» и ее мужу, этому неграмотному типу, да к тому же, кажется, пьянице-шоферу. Есть все-таки разные уровни жизни, путать их не надо. Твой сын должен расти в

культурной среде, а не слушать постоянно эти чудовищные базарные крики.

Я думал, что сейчас грянет гром, так переменялось лицо мамы. Но у нее словно сил не хватило.

— «Ее муж» — это Борин дедушка, — с трудом вытalkingивая слова, прошептала она побелевшими губами.

А я совершенно забился в угол постели. Мама села рядом со мной на кушетку, оцепенело глядя на бабушку Лиду и не проронив на протяжении бабушкиного с папой спора ни слова. Спор, впрочем, был недолог.

Отец шагнул было к бабушке, но замер и сказал только:

— Мамочка, я всё понимаю, но ведь и я, и Аня, и ты работаем, и Борю не с кем оставить... Вот он и ездит к Аниной маме.

«Ах так! — подумал я мамиными словами. — Вы бабушку Настю за слугу считаете!..» И глянул на маму. Но мама молчала.

— Можно было бы взять *человека* сидеть с Борей, если это так необходимо. Хотя Боря уже большой мальчик, мог бы и сам дома оставаться. Во всяком случае, вреда от этого было бы меньше, и он рос бы человеком с *духовными* запросами.

Они спорили, будто нас и не было, хотя с оглядкой. Отец пытался, как мне казалось, защитить *нас*.

— Мама, я тебе хочу сказать, что твой разговор о «разных слоях» все-таки несправедлив. Конечно, есть такое понятие как культурные традиции, но ведь культура как раз впускает любого культурного чело-

века. Да и можем ли мы говорить, что в нашей семье есть древние культурные традиции, устоявшиеся поколениями ученых. Это скорее можно о Кротовых или Всесвятских сказать (Всесвятский — это был Алешкин дед, который и сам тоже был родом из профессорской дореволюционной семьи).

— Меня не интересуют Кротовы, Всесвятские и их культура, — прервала его бабушка. — Я говорю о том общественном горении, которое должен испытывать каждый настоящий человек и которого я не вижу в семье твоей жены. Когда Аня все время квохчет над Бориными болячками и боится, чтобы он сделал лишний шаг, я ее не осуждаю: у нее совершенно животное, зоологическое чувство к своему ребенку, на другое она не способна. Но ты-то мужчина! Ты должен растить Человека с большой буквы. Надо, чтоб Борис рос с сознанием своей *ответственности* перед обществом, а это сознание не возникнет в той среде, где заняты только проблемой еды, питья и, прости, пьянства, да, да, пьянства!

Тут у меня в голове словно щелкнул какой-то рычажок. Так со мной уже бывало в минуты напряжения: появлялась способность как будто что-то сделать со своим восприятием. Всё сразу после этого щелчка начинало видаться словно со стороны, отдалялось, приобретало некую условность, отстраненность, как театр, видимый очень издали, по меньшей мере с галерки. Ярко сияла стеклянная люстра, крашенные темно-синей масляной краской стены образовывали с серо-синими

занавесками на окнах и даже с видневшейся сквозь них темно-синей ночью единый «театральный задник». Белая дверь была для «выхода» актеров. И вот в этом не очень реальном, замкнутом и потому не кончавшемся времени и пространстве стояли друг против друга две фигуры: бабушки, прямая, твердая, властная (на расстоянии — просто символ твердости и властности), и отца, возражающая, но видно, что растерянная. Они что-то говорили, говорили, спорили, возражали друг другу, говорили, горячо, страстно, вздымая руки. Однако звуки не долетали до меня. Я только видел где-то вдали маленькие жестикулирующие фигурки. Это было как игра, потому что, я чувствовал, стоило мне захотеть, и все бы поменялось: театр пропал, а я бы все слышал. Это я знал наверное. Все так же издали я видел, как подошла мама, жестикулировала тоже, что-то говорила, а скорее, и кричала. Бабушка отстранялась, говорила что-то в ответ. Отец обернулся к матери, внушая, кричал. Мама, не обращая на него внимания, наступала на бабушку. На этом месте щелкнул рычажок, изображение снова стало нормальным, и я услышал голоса. Точнее, мамин голос.

— Вы, вы, вы подлая женщина! — кричала мама, сцепив пальцы рук и прижав руки к груди (сбоку я все видел). — Вы и то, вы и се. Просто вы умеете все себе захватать! Где вы были во время войны? Ваш сын воевал, я работала в Москве, рыла окопы, шила подштанники солдатам!.. А вы были в Ташкенте. А медаль за «Оборону Москвы» и «За победу над

Германией» получили вы, а не я! Если уж говорить о заслугах, то моя мать не менее заслуженная, чем вы. Вы и революцию в эмиграции провели, а моя мать устанавливала советскую власть в деревне, в нее из обреза стреляли, однако у нее пенсия двести пятнадцать рублей, и никаких орденов...

Эти счета показались мне вдруг унижительными, а мамины возражения недостоверными: мама доказывала *общественность* бабушки Насти и свою. Но ведь бабушка Лида говорила, как я понял, не только об общественных *поступках*, а и об общественном *горении*, то есть о жизни, проходящей под постоянным знаком *служения*, а этого, разумеется, ни у мамы, ни у бабушки Насти не было. Между тем мама продолжала:

— Вы много говорите о нуждах и потребностях народа, а где же ваше единство с народом, а ведь вы партийный человек! Как только реально столкнулись в личной жизни с *простыми* людьми — сразу вам плохо запахло!.. Эх, вы!.. И сынка оберегаете, как же — мезальянс! Невестка — шоферская дочь!..

— Гриша, пойдем отсюда, твоя жена — сумасшедшая хулиганка, — твердо сказала бабушка.

— Что-о?! — взревела мама, окончательно разъярившись. — Как вам не стыдно так говорить?! Вы ж пожилой человек!.. Зачем молодым жизнь портить? Зачем? Зачем вы разбиваете семью своего сына? Зачем вы его — не меня — мучаете? У нас ведь и своих неурядиц хватало бы!.. Зачем же еще? Хотите нас развести? Спустя десять лет? Да пропадите вы пропадом! *Выставля-*

*етесь*, что вы — ученый?! А я — лаборантка? Да какой Вы ученый! Вот Михаил Сергеевич — ученый настоящий был! Он бы такого не допустил! А вы?.. Да вы с вашим Лысенко хлорофила от дрозифилы отличить не можете! Погодите, не вечно Лысенко будет царствовать! А пока — вон! Вон, говорю! Это *моя* комната!..

Бабушка Лида повернулась и, подрагивая от напряжения задом, но сохраняя полную достоинства прямую спину, вышла. Следом за ней, резким и злым движением повернув выключатель, вышел отец. Мама, как сомнамбула, дошла до моей постели и усеялась рядом, положив на меня руку. Уютно горела настольная лампа. Я попытался приласкаться, но мама оттолкнула меня.

— Помолчи минутку, — ее тонкие губы были стиснуты, и дышала она тяжело и с трудом. Я замолчал.

## Глава VI Что я чувствовал

Мама сидела молча, уставившись в стенку неподвижным взглядом. Я не шевелился, лежа навзничь на подушке и смотря до боли в глазах вверх, в потолок. «Ну и пусть, — думал я. — Пусть себе ищет другого сына. Если меня не любит. Мама называется... Почему она не обращает на меня внимания? Не хочет? И не надо. Небось, о своем слюнявом дяде Васе Репкине думает, — я вспомнил, как дядя Вася Репкин од-

нажды на Первое мая, *пьяный*, зайдя к деду Антону, сел около дедовой кровати, положил на нее голову и заснул тут же, а изо рта на белое покрывало стекали слюни. — Может, мама думает, что я тогда был бы другой, если бы у меня был отец дядя Вася Репкин, и я бы сумел ее защитить от бабушки Лиды... Во всяком случае, так не колебался бы, что ей отвечать, не трусил так... Ну и пусть, пусть!.. А я такой уже есть, какой есть. Я, наверно, такой же скверный, как мой папа. Но ведь другим я быть не могу. И не буду. И не надо».

Я закрыл глаза. Голова немного закружилась, и я испытал наяву ощущения, которые испытывал до тех пор только во сне. А может, я немного и начал задремывать?.. Я увидел себя, но стоявшего при этом как бы от самого себя в стороне; очевидно, что это и есть я, но вместе с тем я же и наблюдаю сам за собой. Где стою, неясно, кажется, что где-то в углу, словно меня туда кто-то загнал. И вдруг я уменьшаюсь, делаюсь все меньше и меньше, да так неостановимо, что ничего не могу поделаться, не могу, как ни тужусь, остаться нормального размера. И тут я вижу, что кто-то большой и страшный надвигается на меня, наклоняется ко мне, и кажется, что сейчас возьмет меня в кулак и раздавит. Я попытался сопротивляться, отогнать это видение, не открывая глаз, переключить мозг на другие образы, но грудь теснило от жути, и ничего не получалось. В страхе открыв глаза, я даже присел на постели. Никакого огромного чудовища не было. Толь-

ко мама все также неподвижно сидела рядом со мной, не обращая на меня внимания, Я перевел дух, и страх холодом ушел из меня. «Нет, глаза закрывать я не буду», — решил я.

Я решил лучше думать о бабушке Насте, у неё спокойнее, уютнее. Даже суровый, раздражительный дед Антон, усики которого вечно топорщились, а ноздри почернели от нюхательного табака, который, чуть что, хватался за свой старый солдатский ремень, тоже был ничего себе, к тому же там была ведь и бабушка Настя, которая в таких случаях заслоняла меня, прижимая к себе и вертясь от деда, норовившего заскочить с другой стороны и добраться до моей задницы. Впрочем, такое случалось не часто, дед был просто «нравным», как его называла бабушка Настя, и обычно в домашние дела не вмешивался. Поэтому всё там казалось милым и домашним. Даже в бабушкиных разговорах с угрюмым Ратниковым о Христе встречались добрые и правильные слова, во всяком случае, знакомые. Но странно, вспомнив речи Ратникова, я тут же представил себе его копыеподобный нос, длинные ногтистые пальцы, которыми он постукивал по столу или по своей тетрадке, и понял, что слушать-то его можно, но все равно с ним жутко, как с опасно больным, заразным человеком, который и тебе может передать какой-то свой тяжкий груз.

Одной страничкой из первого варианта его сочинения я долго пользовался как закладкой, и на этой страничке многое было верно написано. Я вообразил

себе эту страничку и смог как бы даже читать, что там написано: «Несмотря на то, что Христианская церковь проповедует любовь между людьми (в этом она полезна для народа), Христианская церковь в другом, как учит нас марксизм-ленинизм и великий Сталин, вредна для народа, так как она, проповедуя смирение и обещая рай в загробной жизни, уводит народ от перестройки общества, в котором есть эксплуатация человека человеком. Проявлять смирение трудовому народу перед эксплуататорскими классами — это обрекать себя на вечную эксплуатацию. Верить в рай в загробной жизни — это так же глупо и вредно, как курение опиума. Но В.И. Ленин писал, что хорошее можно взять и у капиталистов. Полагаю, что хорошее можно взять и у Христианской церкви. Давно мы уже взяли такие христианские заповеди, как «не убей», «не укради», «не лжесвидетельствуй». Они давно по существу вошли в наш уголовный кодекс. Предлагаю взять для блага всех народов в арсенал нашей социалистической нравственности заповедь «Возлюби ближнего, как самого...» На этом фраза обрывалась, но смысл был понятен. То есть смысл фразы, но не всего отрывка, а вывод и вообще меня смущал. Разве буржуев и всяких других «классовых врагов» тоже надо возлюбить?.. Это было дико, непривычно, непонятно. Но уют бабушкина-стиной комнаты всё вбирал в себя, сводил на нет всё чуждое мне, всё непонятное и враждебное, примиряя с окружающим миром, делая его частью меня самого.

И вообще *там* бабушка Настя была главной, основной, она всё определяла.

Даже и ездили мы не к деду Антону, а к бабушке Насте. Так мама и говорила: «Поедем в гости к бабушке». Про деда в таких случаях мама просто не упоминала, потому что не от него зависело, принять нас или нет, а от бабушки. Он был *при ней*, и я ясно чувствовал, что, несмотря на всю мягкость, хозяйкой была она. А в молодости, судя по отрывочным маминим рассказам (в отличие от отца, любившего порассуждать о семейных традициях, мама была скупа на воспоминания), дед изрядно побуживал, держал семью в трепете, особенно когда — до революции ещё — «в ямщиках ходил», ревновал бабушку, даже как-то, «сдуру», с топором за ней гонялся, «она всё же образованнее его была, — поясняла мама, — и его это злило». Бабушка работала сельской учительницей, казалась, очевидно, деду недоступной, но дед был на селе гармонистом, «гармонью её и улестил». Гармонь и вправду у деда хранилась, но, как он играет на ней, я почти ни разу не слышал. Видимо, не хотел волновать себя. Хотя песни петь любил, но без гармошки и в компании. Чаще всего он пел: «Когда я на почте служил ямщиком, // Был молод, имел я силёнку, // И крепко же, братцы, в селенье одном // Любил я в те поры девчонку». Я всегда думал, слушая эту песню, что он имеет в виду молодую бабушку Настю и себя. Только бабушка, слава Богу, осталась жива, а не замёрзла в сугробе.



«В самом деле, — вдруг сказал я себе, — ведь о таком только в книжках пишут, а оказывается, и взаправду бывает: ямщик и сельская учительница, своего рода неравный брак, а потом, постепенно, муж подчиняется облагораживающему влиянию жены. Вот у бабушки Лиды и папиного отца (которого я ни разу не видел: он умер, когда мне года еще не было, — и потому называл его про себя, как мама, Михаилом Сергеевичем, а не дедом) брак был равный, наверное. Оба ученые, профессора...» Хотя я знал, что разница и между ними была — в характере, мама об этом говорила: «Михаил Сергеевич был человек беспомощный в быту — ни гвоздя вбить, ни пуговицы пришить». И этим сильно отличался от умельца деда Антона. Мама считала, что бабушка Лида «нарочно» так делала, «культивировала» его беспомощность, от всех забот освобождала, «едва ли не с ложки кормила», чтоб «над ним власть забрать». «И твоего отца так воспитала», — обычно прибавляла мама. «К тому же был Михаил Сергеевич ужасно доверчивый». Существовал семейный рассказ, почти предание, что однажды мама, уставшая от работы, учёбы и пелёнок, выгатила меня из коляски, гуляя со мной по берегу маленького пруда, и сказала сопровождавшему её свёкру: «Вот возьму и выкину Борьку в пруд, надоед он мне!» А Михаил Сергеевич испугался: «Дай, говорит, лучше мне Боречку». Пришёл домой: «Ты знаешь, Лида, Анечка хотела Борю в пруд выбросить».

«Свекровь мне до это сих пор поминает, — иронически усмехалась в этом месте рассказа мама. — Уве-

ряет, что я и в самом деле хотела это сделать. Это чтоб Гришу расстроить. Она меня, видно, чем-то вроде Анпалны считает. И Грише это пытается внушить».

Заметив, что воспоминания снова невольно привели меня к сегодняшней ссоре, я зажмурил глаза. И постарался вообразить себе Таньку Салову, которая мне нравилась и которая часто заступалась за меня в приятельских ссорах. Но тут же припомнилось, что она «изменила» мне с Алёшкой. Нет, уж лучше думать про Аллочку, смешливую Аллочку, из дома, соседнего с бабушкой Настей. Уж она была куда лучше Таньки Саловой. Она более достойна любви, чем Танька. Я постарался вызвать в воображении ее веснушчатое лицо и косички и почувствовать к ним симпатию. Как будто мне это удалось, но ненадолго, потому что мысли мои перескочили на Алёшку, и я стал думать о нем.

Алёшка всегда всё умел, никогда ни в чем не колебался, в копилке у него было триста шестнадцать рублей, и он всегда поступал так, как ему хотелось. Отца у него не было, и мать, занятая своими надеждами снова выйти замуж, почти не обращала на сына внимания. Дед весь день проводил в институте, а на бабу Алёшка еще и сам покрикивал, что, я помню, приводило меня в состояние полного удивления. Я тогда был рад, что Алёшка со мной дружит, хотя подражать ему не пытался, знал, что все равно не получится. Он был гораздо смелее меня и никогда поэтому не боялся показаться трусом. На нас часто нападали хулиганы из барачков, расположенных вокруг

нашего «профессорского» дома, избивали, хотя чаще просто запугивали, налетая с криками: «Убьем! Профессора засранные!» Обычно мы удирали, потому что они умели ударить без пощады, без опасения нанести увечье, ударить кастетом, кирпичом, палкой. Мы так не умели и убегали, но старались даже друг другу не признаваться в этом. Алёшка никогда не стеснялся рассказать, как он удирал, но при случае он тоже мог бить без пощады. При этом он как бы ближе соприкасался с «бараками», везде в общем-то чувствуя себя естественно. Так, для него не было ничего особенного играть, скажем, в футбол с ребятами из барачков: мне это казалось изменой, да и побаивался я их, да и как же можно — сегодня играть, а завтра бить. Алёшку это не смущало, жизнь он принимал достаточно легко. Зато он видел мое чересчур серьезное отношение к жизни и с удовольствием попугивал меня, рассказывая страшные истории, как в нашем парке «амнистированные» убили третьеклассника и как они его перед этим мучили, как в соседнем доме муж убил утюгом жену, тело разрезал на куски, положил в мешок и бросил в водопровод, а из кранов потекла вместо воды кровь, и так его нашли. Я знал, что он меня попугивает, *но всё это происходило рядом*, и потому всё равно было страшно, и я верил. Он мог, играя перед этим со мной, вдруг с кем-то против меня объединиться, нападать с обидными словами. Зашедшись от обиды, я клялся не говорить больше с ним, строил планы мести, а он через пару дней заходил ко мне как

ни в чем не бывало, будто ничего и не было. И я примирился с ним, даже радовался, что мы снова дружим. Его растворенность в жизни всегда была выше моей позиции соглядатая, человека со стороны. Он не был «королем», хозяином жизни, но он был всегда «свой».

Я себя хорошо и уверенно чувствовал только с книгами, там я становился самим собой и мог мечтать о всяких подвигах, о Танечке, как я ее поцелую, но сам-то знал, что никогда этого не сделаю и что поцелуй Алёшке достался по праву. Но все равно я знал, что вот завтра я все-таки не смогу, увидев его, говорить нормально, что морда у меня будет искривленная и фальшивая, и он это почувствует и наверняка с кем-нибудь объединится, чтобы дразнить меня: и я заранее ощутил то бессилие обиды, когда обижает тебя друг, которому ты не можешь ответить тем же. Я стиснул изо всех сил челюсти, припомнив, что в школе я увижу завтра и Хрычка, *главаря* «ребят из барачков». Здесь Витюнчика не было, чтоб меня защитить, а приспособиться, как Алёшка, и делать вид, что все в порядке, я не умел; настороженность в общении с Хрычком выдавали мою опаску и чуждость, и я тем самым нарывался на постоянные угрозы и побои. Никогда не забуду, как я раз опаздывал в школу и бежал, но вдруг увидел впереди себя лениво плетущегося в школу Хрычка с приятелем — и вот я замедлил шаг и пошел столь же медленно, как они. Это было стыдно, унижительно, но я ничего не мог с собой поделаться. И когда Хрычок на меня оглядывался,

я тоже оглядывался в свою очередь, делая вид, будто я кого-то жду, потому и иду так медленно, останавливаясь по временам. А вы, де, идите, идите, мне до вас дела никакого нет, я просто так... Тут меня догнал Алёшка, и я обрадовался, да и он тоже. Но и Хрычок, повернув свою волчью физиономию, узнал Алёшку и крикнул: «Здорово, Алексей!» А Алёшка к моему изумлению тоже так, по приятельски, ответил: «Привет, Толик!» И мы, подчиняясь жесту Хрычка, догнали их. Алёшка догонял с готовностью. Я шел сбоку и молча слушал разговор; тогда-то я, кажется, и понял, что вне нашего двора *они* Алёшку не трогают, а также и то вдруг тогда впервые понял, что Алёшка вовсе не считает *меня* своим лучшим другом, как его считаю я: он не заметил или не захотел даже обратить внимания на мое нежелание догонять Хрычка. Нет, я никому не нужен и иду, одинокий, по жизни, горестно подумал я, вспомнив все это. Да и какое дело мог я ему предложить, чтобы ему было со мной интересно? Никакого дела, только чтение книжек, а чтение — процесс, как известно, весьма индивидуальный. Так что обижаться не на кого, только на самого себя, что я какой-то не такой.

Ведь и в школе, подумал я, отношение ко мне как к *не такому*. Не случайно Марья Ниловна с девочкой из седьмого класса, председателем совета дружины, перед Новым годом прорабатывали меня за то, что я, вроде бы *начитанный* мальчик, не вношу ничего нового в жизнь пионерской дружины, *не становлюсь пи-*

*онерским заводилой*, и, хотя не уклоняюсь от поручений, но и не напрашиваюсь на них. «Ты можешь стать настоящим человеком, только обретя самодисциплину, — говорила Марья Ниловна. — А пока ты тряпка, симпатичная тряпка. Ты никому не грубишь, но ты и никого не уважаешь. Ты беспокоишься только о себе. Но ты ошибаешься, если думаешь, что этого никто не замечает. Мы всё молчали и наблюдали за тобой. Считали: одумается парень. А сейчас разговор серьезный. Кто ты? Ведь у тебя во всех классных делах нет собственной точки зрения. Ты во всём предпочитаешь отмалчиваться. Но если ты хочешь иметь верных друзей среди пионеров своего класса, *ты должен занять собственную точку зрения и вступить в общи ряды*. Ведь ты наплевательски относишься ко всем. Свое мнение ты считаешь превыше всего. Нет, ты не обливаешь никого грязью, но ты и не обращаешь ни на кого внимания. Ты, видимо, любишь на диване лежать и книжки читать. Всё для своего удовольствия. У тебя совсем нет привычки к работе для других. Ты должен понять, что это последний раз мы с тобой так мягко разговариваем». А девочка из седьмого класса подтверждающе и сурово кивала головой.

«Все правильно», — подумал я. Во всяком случае, несмотря на обиду, я был убежден, что все правильно: этот первый экскурс в мою психику от сознания вины казался мне удивительно пронизательным, и я снова и снова думал с самоуничижением о том, какой я гадкий и эгоист и какая в этом правда, раз я

со всех сторон неправ. «Все правильно. Вот никто со мной и не дружит, и я никого не люблю, и меня никто не любит. Ну и пусть! Пусть! Я и еще сквернее могу быть. Мама вот не знает, какой я плохой в школе, а в школе не знают, до какой степени я не могу выбрать определенной позиции, это бабушка Лида правильно сказала. А я вот возьму и соединю: дома скажу, какой я в школе и как у меня нет и не может быть друзей, а Марье Ниловне, или даже на совете отряда расскажу, какой я дома слабовольный, пусть знают. А тогда, когда все узнают, я возьму и уйду из дома! Или лучше умру! Заболею и долго буду чахнуть, а на все вопросы, что, мол, с тобой, буду отворачиваться к стенке, и лекарств из их рук принимать не буду, буду гордо молчать. Пусть тогда они все терзаются, и мама, и папа, и Марья Ниловна... А я так и умру, ничего им не сказав, почему я умер... И они тоже будут плакать и никогда, никогда меня не забудут. Вот, например, как... как... как... Зойку Ратникову...»

Зойкой звали убитую дочку Ратникова. Я разговаривал с ней раз или два. Один-то раз точно. Она мне показалась очень грудастой и очень бледной, развившиеся кудряшки шестимесячной завивки делали ее словно еще бледней, чем она была на самом деле. Я выходил из коридора в сени, а она как раз спустилась в те же сени по лестнице второго этажа. «Ой, какой хорошенький, — запричитала она, увидев меня. — Ой, к тебе не подходит. Ты чей такой? Ты к

бабе Насте приехал?» Очевидно все же, что я видел ее и раньше, потому что сразу узнал в ней Зойку Ратникову. «Дай-ка я на тебя посмотрю поближе», — она схватила меня руками за плечи. Я отворачивался, вывертывался, криво усмехаясь: я знал, что Зойка — «дурная девица», хотя и не понимал, что это значит, но думал, что во всяком случае бабушка Настя меня похвалит, когда я ей расскажу осуждающим тоном о Зойкиных «приставаниях». С крыльца в сени тем временем вошел Витюнчик. Увидев сцену, он развязным таким тоном прикрикнул: «Отцепись от него, шалава! К малолеткам уже пристаешь?» — «Без тебя разберусь», — отвечала Зойка, но отстранилась от меня. «Как же! Разберешься! Жди-пожди! Я те, суку, научу свободу любить», — Витюнчик крепко схватил Зойку за руку. Она безнадежно попыталась вырваться: «А ты не сучься, не на такую напал. Пусти, тебе говорю!» — «А ты не бойсь! Я тебя пока не трогаю... И буферами не при... Но в другой раз с Васькой Сопатым увижу, смотри тогда у меня, бля!» — «Не очень-то и испугалась», — Зойка дернула руку, вырвалась и быстро ушла на улицу. Я никогда раньше не мог взаправду представить ее мертвой, что ее уже нет, не мог представить небытие. Это было непостижимо. Ведь я же с ней разговаривал. Куда она могла деться? Как будто и не было. Как трава. Родилась, потом скосили, и все. Новая ведь вырастет. Сколько много скашивается, и все равно растет. Целые поколения, а кто их через сто лет помнит? И я понял,

что Зойку все забыли, и вспоминают лишь, чтобы по ошибке, случайно, Ратникову не напомнить: потому таким ужасом прозвучала хамская фраза Витюнчика сегодня вечером, когда он пьяный ввалился звать к себе деда Антона.

Я почувствовал, что у меня застучали зубы, но мама не услышала. Мне совсем расхотелось умирать. Неужели и мне придется так же?.. Очевидно, пытался я деловым, объективным тоном успокоить себя. Но стало только хуже. Как? Я, вот такой, как я есть, с этими знакомыми мне руками, ногами, лицом, мыслями вдруг бесследно исчезну? И меня больше не будет? Зачем же тогда я появлялся? Как же это несправедливо! Мысль эта вдруг показалась так мне страшна, что я забыл и родительские ссоры, и Алёшку, и Танечку Салову, и тем более Хрычка. Видимо, именно тогда в первый раз заняли меня эти вопросы о *смысле* жизни.

Жить так, чтоб тебя помнили? А надо ли мне, чтоб меня помнили, раз меня не будет? Надо! Надо! Но зачем? Кому это надо? Мне? Утешение слабое. Все равно ведь *меня* не будет. С такими бабушками, дедушками, родителями, с таким одним и совсем другим, но тоже моим домом, с такими испугами, страхами, книгами, размышлениями, с таким никому не передаваемым опытом жизни... Неужели это все уйдет? Немыслимо. И то, что я всех так люблю и, кажется, понимаю... И моя обидчивость...

«Неужели же им меня не жалко?» — непонятно о ком подумал я. Стало ужасно грустно, горько. Я на-

чал было всхлипывать, но тут же прервал это занятие и толкнул маму, потому что после легкого стука дверь в нашу комнату тихо приоткрылась. Затем в комнату вошел дядя Лёва.

## Глава VII Фотопортрет

Бабушкин фотопортрет на эмали («под Ермолову»), насколько я могу судить по сохранившимся обломкам, был коричневатого тона, в деревянной рамочке, обшитый зеленым бархатом. Я отчетливо помню, что на портрете сразу бросались в глаза прямая фигура, чуть откинута назад голова, длинное темное платье и набрякшие веки без ресниц. Затем уже замечались нос с легкой горбинкой, большой властный рот и сцепленные, переплетенные пальцы рук без колец. Я так себе по этому портрету и представлял в детстве бывших курсисток, которые оказались, повзрослев, общественными деятельницами. Останки этого фотопортрета до сих пор хранятся в семейном архиве среди старых писем и фотографий. На старом, пожелтевшем уже бумажном пакете крупным, почти детским, бабушкиным почерком, красным карандашом (она любила не простые, а именно красные толстые карандаши, 4 ММ, фабрики им. Сакко и Ванцетти) написано: «Портрет на эмали Лидии Андреевны Обручевой, разбитый в порыве злобы и

ревности А.А. Кузьминой, урожденной Рябушихиной». Это, стало быть, мамой. Но я-то знаю, что если бы не дядя Лёва, то ничего подобного в тот вечер бы не случилось.

\* \* \*

Свет верхний был уже выключен, горела только настольная лампа у моего изголовья. Поэтому, когда дядя Лёва вошел, тут же закрыв плотно за собой дверь, его темная фигура слилась на момент с густой тенью в углу двери. Но он не остался там, а зашагал прямо на освещенную часть комнаты. Колени его, как всегда, слегка подрагивали и подгибались, перхотные волосы распались на две стороны длинными прядями. Он и тогда уже носил свой излюбленный красно-коричневый вязаный свитер (в свитерах мало кто в те годы ходил) и очки с толстыми стеклами. Под мышкой он зажимал какие-то бумажные листочки, свернутые в трубочку. Неуклюжий, потряхивая толстым уже животиком и поводя толстыми боками, он тем не менее попытался подойти грациозно, чтобы ловко и, как ему представлялось, светски поцеловать маме руку.

— Здравствуй, Анечка, — согнулся было он, — мы с тобой еще сегодня не здоровались.

Но мама, не вставая, отдернула руку за спину.

— Парламентера прислали?

— Ну что ты, что ты, Анечка! — забормотал дядя Лёва. — Я так, сам зашел. Надо поговорить. Это очень важно и для Гриши, и для тебя.

— Это о чем? О том, что ему со мной развестись надо? — хрипло засмеялась мама.

— Да, и об этом, если хочешь. И об этом.

Дядя Лёва с самого детства поражал меня своей бесцеремонной прямоотой в иных случаях. Как будто ему при рождении не додали каких-то человеческих чувств, просто даже чутья, что ли. И не то чтобы он «резал правду-матку», был, скажем, суровым ригористом. Нет, он весь извивался, мягкое, расплывающееся тело его колебалось, но всё, что он говорил в такие моменты, было как-то чудовищно бесцеремонно. Словно другой человек выступал, неумный и злой.

— Вон оно как, — сказала мама. — Что ж, Гриша сам не мог мне этого сказать?

— Что ты, что ты, Анечка, он и не знает, что я такое на самом деле скажу. Он думает, что я мирить вас пришел, а я совсем с другими целями.

Его откровенная, отчасти даже детски, наивно-хамская бестактность, похоже, вроде и маму обезоружила поначалу.

— Ну что ж, говори. Ну? Что же ты хотел сказать?

— Анечка, ну нельзя же так сразу. Человек ведь не машина. Мотор включил — и поехала. Человек существо тонкое. Я вначале хотел с тобой *вообще* поговорить, по существу проблемы.

Мама снова засмеялась.

— Ну, конечно, сразу так в лоб — это ведь неинтеллигентно.

Дядя Лёва приходил к нам домой много раз спустя и после этого случая, дружба его с отцом была долготлетняя, и формально даже не прерывалась еще много лет, хотя, когда лет через десять дядя Лёва начал выпивать уже «по-черному», он практически перестал у нас бывать, но все равно еще считался другом семьи. А когда я начал с отцом *говорить* (мы вели обычно длинные нескончаемые разговоры о высоких проблемах, о людях, о судьбах и направлении развития истории), я самоуверенным тоном юнца, которому ясно мерещилось его высокое *предназначение*, грубо так цедил: «Твой Лёва совершенно спившийся человек. Он никогда ничего не создаст».

Отец старался приучить меня к объективности и доброжелательности: «Нельзя, Борис, так говорить о людях. Никому не известен скрытый смысл его деятельности. Дядя Лёва вовсе не плохой человек. Во всяком случае он как раз всегда хотел быть полезным людям и был среди прогрессивных людей не последним человеком. Быть может, из самых талантливых даже. Он очень много и сейчас знает, и в общем-то просто случилось так, что он *растратил* себя. Но, видишь ли, это как-то из лучших побуждений получилось. Он удивительно верил всегда в прогресс, в то, что постепенным накоплением в мире разумных слов и разумных малых дел можно создать разумную атмосферу, без катастрофических порывов и прорывов. Но правильно ли он к этому шел? Это и вправду вопрос. Ведь он раскидывал свои идеи налево и

направо, и сколько на его идеях докторских было защищено всеми этими сидорчуками, вараксиными и гамнюковыми. А сам, заметь, даже не кандидат. Ему важно было, чтоб разумная, на его взгляд, идея была высказана, а кем — это и не столь важно. Писал статьи и за свое начальство, не брезгуя черной работой. Потому что те отдельные здравые мысли, которые начальство принимало, ему казалось, в начальственных устах могли прозвучать весомей и «принести больше пользы». Это для него оправдывало многое. Он хотел объединить всех умных людей и ради этого готов был унижаться, оскорблять, просиживать с казавшимся ему умным человеком дни и ночи. Оставил двух жен и до сих пор не женат. Ты, может, и не знаешь, но он и меня хотел с твоей мамой развести. Он считал, что так я смогу отдавать больше сил и времени работе. В этом, я думаю, он ошибался». «И не только в этом», — бурчал я, но ничего больше не говорил, потому что, во-первых, был не очень уверен, что тот случай имеет отношение к разговору, а во-вторых, боялся, рассказывая, разрушить легенду, что бабушкин портрет в тот вечер *сам упал* со стола и разбился. Бабушка Лида в легенду не верила, но папу, кажется, нам с мамой удалось убедить.

Тогда, после маминых слов об интеллигентности, дядя Лёва нахмурился, сморщился:

— Вот видишь, как ты, однако, нехорошо говоришь. Но я могу, могу тебе все сказать, даже хочу, с этим собственно и шел. Ты вот не понимаешь, что

Гриша себя в жизни попусту тратит, а ведь ему уже больше тридцати. Самый творческий возраст. Он целыми днями проводит с тобой, с Борисом, вместо того, чтобы заниматься, читать, писать. Даже с Ратниковым каким-то разговаривает из твоей «вороньей слободки». Это он мне сам рассказывал, я не выдумываю. Что за Ратников? Какой-нибудь недорезанный церковник, небось, хотя Гриша и говорит, что он ему напоминает начетчика-старообрядца. А что в этом хорошего?.. Впрочем, в сторону это, я отвлекся. И хоть бы вы жили нормально, хоть бы ты ему условия для работы могла создать, а то ведь и этого нет. Живёте, как кошка с собакой. Как сказал Шекспир, «нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Если уж такие вы разные по своим истокам, то разойдитесь. Ведь Грише работать надо.

— А мне?.. — оборвала его мама.

— Что тебе? — переспросил дядя Лёва.

— А мне работать не надо?

— Конечно, надо, Ты и работаешь. Но, Анечка, ты должна понимать, что есть разные *уровни* работы. Грише дано быть пролагателем новых путей. И не только в науке. Ему же дан дар пророческий и умение схватывать сразу суть проблемы. Это редкое сочетание. Ты же помнишь, какой он был в школе. Поэт, оратор, комсомольский вождь. Он же людей увлекать за собой может. Мы тут сидели летом у Кости (так звали усатого с черной повязкой через левый глаз), ну *после того, как к Эренбургу беседовать ездили*, и говорили,

говорили обо всём, а главное, о том, как жить стране дальше, ведь Эренбург нас всё уговаривал, что *посмотреть* надо, и мы в большой растерянности вернулись. Сидим, молчим понуро... А Гриша, Гриша встал вдруг и запел «Интернационал», вот как! Понимаешь? И мы стояли и пели, с вдохновением, у меня даже холдок по спине пошел. Он же *этим всё* сказал. Саму суть. Без лишних слов заставил нас суть прочувствовать. Видишь ли, наступает наша эпоха. Наше поколение выходит на авансцену истории. Потом будут спрашивать, а что они такого сделали, создали. И мы должны быть ответственны перед историей.

Дядя Лёва перевел дыхание и присел на краешек стула, отодвинув его предварительно к противоположной стенке. Мама молчала. Тогда он снизил тон и заговорил доверительно.

— Я тебе, Анечка, одно хочу сказать. Мы все можем что-то делать, и потому каждый человек важен, но Гриша, пожалуй, единственный из нас, который *может многое*, если себя не растратит и пойдет с друзьями. А ты его этими бесконечными ссорами с Лидией Андревной до коммуналки низводишь.

— Почему это я? Это ты с мамочкой его поговори.

— Нет, нет, Анечка. Лидия Андреевна понимает Гришино предназначенье, она всегда в него верила.

Дядя Лёва потянулся и снял со стола однотомник Маяковского, сорокового года издания, всегда лежавший перед или рядом с бабушкиным портретом; книгу эту отец всегда хотел иметь под рукой.



— Не случайно она здесь лежит, — дядя Лёва погладил обложку. — Грише всегда важно было жить в духовном, высоком мире. Это его кумир. Но ведь ты знаешь, что на титуле тут написано, я недавно ненароком глянул и поразился.

И хотя мама кивнула, дядя Лёва открыл обложку и с вдохновением таким прочитал:

— «Дорогой Гриша! Это том избранных произведений твоего учителя в поэзии. Но самый великий учитель — это страна Советов, созданная самоотверженной борьбой трудящегося народа, под гениальным руководством Ленина и Сталина. Пусть этот светильник человечества вдохновляет тебя на великие, героические дела. Твоя мать. Двадцать второго августа сорок первого года». Это ведь поразительно, — он положил книжку на стол. — Если убрать отсюда *одно имя*, — я про усатого говорю — я и сейчас под этими словами вместе с Лидией Андреевной подпишусь. Здесь, в этих словах, ни грама фальши! Сам дух чист! А о духе я и говорю, его-то и надо нам сохранить. И Лидия Андреевна в себе этот дух несет, пусть не всё она теперь понимает. Ведь как другие матери посылали своих детей на войну? Бельишко, табачок, водочки, если можно, а главное — береги себя, сохрани себя... А здесь — на фронт Маяковского! Конечно, Сталин — это, повторяю, ошибка, но принцип, принцип! Ты вот, когда тебе придется Бориса в армию провожать, так себя вести не будешь, уверяю тебя!

— Еще бы, у меня всё-таки сердце есть, — неуверенно пробормотала мама.

— Сердце!.. Сердце и у курицы есть. И у любой деревенской бабы тоже сердце есть. Разве я об этом говорю сейчас?! Я о другом совсем. Я о том, что Лидия Андреевна понимает Гришу, а ты нет. И никогда, я думаю, не понимала и не поймешь. Тебе просто это не дано. Тебя волнует дом, семья, ребенок. И, скажи по правде, ведь работа для тебя не *дело жизни*, а просто способ существования? А? Как, впрочем, и для большинства женщин. В конце концов ведь и с твоей генетикой разберемся. Но согласишься, что ты могла бы и зоологией, и эмбриологией и еще не знаю, что там у вас есть, заниматься. Ты всё же *не живешь* этими проблемами, как живет Гриша своими, а Лидия Андреевна своими.

— Да уж, — с каким-то робким и неуверенным отрицанием в голосе прошептала мама.

— Точно, точно! — увлекаясь, заговорил дядя Лёва. Он поднялся и, говоря, заходил по комнате. — Ты бы хотя бы должна была заботиться о Грише как следует. Не хочу себя приводить в пример, но, когда я на Инге женился, то моя первая жена, Ленка (ты её помнишь? Она за Степаном сейчас замужем), специально ездила ей объяснять, как надо за мной ухаживать. Понимаешь? А ты знаешь ли, чем Гриша живет?

— Носки я ему во всяком случае стираю, — съязвила мама.

— Да разве в носках суть, Анечка! Как у Маяковского: «Любовь заменяете чаем, а также штопкой но-

сков». Заботиться, ухаживать — вовсе не значит носки стирать! Главное — это духовное соперничество. А Грише сейчас тяжело, у него кризис, и это в такое время, когда так нужны все думающие головы.

— Какой еще там кризис?

— Вот видишь! — словно бы обрадовался дядя Лёва. — А ведь я с этого начал, с этим и шел к тебе. А ты, мало того, что не знаешь, ты даже и с моих слов не заметила. А между тем так нелюбимая тобой Лидия Андреевна это видит, замечает, тревожится, и меня даже попросила помочь Грише, и даже листочки эти дала почитать...

И тут он достал из подмышки свернутые в трубочку листочки, которые прижимал все это время плотно локтем. Но мама не потянулась за ними, как он ожидал. Она сидела и смотрела на дядю Лёву, и непонятно было даже, думает она о чем-нибудь или нет, во всяком случае по лицу это не было видно. Это, видимо, отчасти озадачило дядю Лёву.

— Ты чего? — спросил он. — Даже пугаешь. Сидишь как такой славянский сфинкс. Тебя все это не интересует? Ну, разумеется, это все интеллигентские бредни! Вот о том-то я и говорю!

— В семье кризис. Везде кризис, вот и в семье у нас, — вдруг бухнула неожиданно мама. — Ведь мы в сорок третьем поженились. Двенадцать лет жили, и ничего. И годы какие трудные прожили.

— Всюду и везде оттепель, Анечка! А у вас вот — черт знает что. Поверь — с Гришей и вправду что-то

неладное творится. Он положительно на грани безумия находится. Вместо того чтобы делом, понимаешь, делом заниматься, писать статьи, читать нужные книги, он в самокопание ударился. Нет, нет, Лидия Андреевна права: его спасти нужно. Ты прочти эти листочки, он их уже месяц как таит от матери и друзей, и тогда поймешь, почему я от тебя жертвы хочу, и ты эту жертву должна принести, если мужа хоть чуть-чуть, хоть каплю любишь еще. На, возьми, — и он почти насильно вложил листочки маме в руки.

— Да вы с Лидией твоей Андреевной меня вполне замещаете. Зачем мне еще его любить? — сказала мама, но листочки взяла и положила под лампу.

Я встал на колени и склонился через мамино плечо над столом. Листочки были исписаны мелким малоразборчивым папиным почерком, но в тот раз я почему-то все смог прочесть. Как будто само читалось. Увидев, что я тоже читаю, дядя Лёва заволновался:

— Борису не стоило бы этого читать, не для него это все же.

Мама подняла голову:

— Ах ты, Господи, какая деликатность!.. Кто бы мог подумать! А то, что он сейчас слушал, для него?!

Дядя Лёва так сразу и отступил, расплылся в полутьме комнаты. Похоже, слова мамы неожиданно подействовали на него.

— Аня, прости, я был не прав: конечно, при мальчике не стоило бы всего говорить. Но не усугубляй моей оплошности, не надо!

— Ах, оплошности!.. Знаешь, шел бы ты отсюда, — несмотря на смысл слов, тон их был как-то спокоен, ровен.

— Но...

— Никаких «но». Я не хочу больше с тобой говорить.

— Но я хотел бы листочки назад получить...

— Для отчета? Не волнуйся, я их не съем. Как-нибудь уж найду способ вернуть их. Тебе или твоему другу.

Кого мама имела ввиду, отца или бабушку Лиду, я не понял, не понял, думаю, и дядя Лёва, однако он начал отступать спиной к двери, толкнул ее задом, выскочил и тут же проворно притворил дверь за собой.

\* \* \*

Листочки эти тоже так и остались в семейном архиве, и я могу привести здесь написанный на них текст полностью.

«Дорогая мамочка!

Я обращаюсь к тебе, хотя, очевидно, листков этих тебе не покажу. Но я всегда со всеми вопросами обращался к тебе, даже не к папе, и привык к этому. Ты ведь знаешь это, и не будешь поэтому сердиться, что я от тебя утаиваю это мое письмо. Я тебе писал из армии и делился всеми трудностями и радостями нелегкой военной жизни, твердо веря, что ты — настоящий ученый, преданная большевичка, несгибаемая,

любимая моя мамочка — все понимаешь и всегда мне поможешь. И ты помогала. Когда я думаю о тебе, то всегда представляю тебя либо стоящей на трибуне и выступающей с бескомпромиссной речью (как я тобой в таких случаях гордился!), либо сидящей за столом — уже ночь, все спят, только горит твоя зеленая лампа и ты подбираешь конспекты, что-то выписываешь, готовишься к завтрашней лекции, а я притворяюсь, что сплю, но сам потихоньку из-за подушки гляжу на твою слегка наклоненную над столом голову. И вдруг ты оставляешь дела и подходишь поправлять одеяло на своем дитяти, сколько бы лет ему ни было: десять, пятнадцать, двадцать. Да и сейчас я для тебя по-прежнему дитя. Поэтому я и начинаю письмо обращением к тебе. То, с чем я могу обратиться к тебе, не всегда скажешь Ане. История и философия ее не очень-то интересуют. Во всяком случае рассуждать о метафизических проблемах она не любит. А ты, моя милая мамочка, и биолог, и историк науки, и философией науки занималась; и с тобой я могу говорить о многом, хотя по многим вопросам и думаю уже иначе.

И все же я себя спрашиваю, почему я тебе не покажу этого письма? Во-первых, я *для себя* пишу, сам хочу во всем разобраться. А потом, это во-вторых и очень важное во-вторых, я чувствую, Аня воспримет это как предательство по отношению к себе. Если бы ты знала, до какой степени мне тяжело, что отношения у вас так разладились. Я очень ссорюсь с Аней из-за этого, но ничего не могу поделать!.. Я помню,

как Аня когда-то, когда еще в армию ко мне приезжала и я ей о тебе рассказывал, хотела походить на тебя, стать таким же негибачим человеком, сталинцем и настоящим ученым. Как, когда, почему всё изменилось — не понимаю! Ужасно, просто ужасно! Но именно поэтому я и не хочу, чтобы кто-нибудь читал мои записки: это будет снова выглядеть предпочтением. Но ты меня знаешь лучше, поэтому, обращаясь к тебе, я могу многого не объяснять, что мне самому про себя и без того ясно.

Ты знаешь, что я всегда мечтал о славе, думал стать поэтом и в историки пошел, чтобы лучше понимать жизнь, меня окружающую. Без солидного научного базиса настоящим поэтом не стать — так мне казалось, и ты мне всегда это говорила. Теперь я думаю, что просто поэтический талант был у меня неглубок, что не случайно наука полностью почти что вытеснила мои поэтические занятия. Но, мечтая о славе, я как ни странно, никогда не думал о бессмертии, бессмертии в буквальном смысле слова, личном бессмертии. Жил, по существу, как муравей. А теперь эта мысль точит меня неотвязно. Что я есть? В школе — первый поэт, оратор, секретарь комсомольской организации, горлан, агитатор. В армии — всегда на отличном счету. В университете то же самое. И всегда-то жизнь за меня знала, что мне делать, куда идти, а я в тех местах, куда меня бросало, просто старался быть первым. И, похоже, был. Может, так лучше всего жить: с чувством, что жизнь тебя ведет, что

ты ее избранник. Помню, даже в детском саду я был всегда уверен, что я на особом счету, что ради меня во время мертвого часа (выражение-то какое чудовищное!) приходят сидеть именно в нашу группу нянечки и воспитательницы. Потом санаторий в Фаросе. За что? За какие заслуги? За мать, за отца. Но, казалось, что и мной это тоже заслужено, что избран я кем-то. А теперь произошел сдвиг, вывернулись суставы у времени, и по-другому невольно всё стало видаться. Знаешь, я вдруг ощутил себя один на один с мирозданием. И это тяжело, тяжело для самого существования. Человек один не может быть. Не почему-либо. Просто не может. И вместе с тем, оставаясь человеком, он не должен растворяться в толпе, это я нутром тоже ощутил, ощутил уникальность единственного, уникальность человека, любого человека. Ведь сколько погибло людей на войне, да и просто так. А каждый — огромный мир! Неповторимый. Как это чудовищно, что я только сейчас это осознал.

У Аниных родителей есть сосед — некто Ратников. У него дочка была, её убили какие-то хулиганы. Я её несколько раз всего и видел, думал про неё, что шалава, мусор, накипь городской окраины: со временем переделаем всех таких. Да и Ратников, и Анина родня — обыватели, воронья слободка, мещане, стало быть. Я и сейчас думаю, что я живу и буду жить по-другому, чем они, иначе. Но теперь я эту Зойку, дочь Ратникова, всё вспоминаю, так и вижу её лицо с выпирающими вперед верхними зубами, кудряшки

шестимесячной завивки, её зеленую кофточку с вышитой вульгарной розочкой. Зачем она жила? Красилась, пудрилась, бегала на танцульки, хороводилась с местной шпаной — и вот убита, нет ее больше. Зачем же все это было?

Когда я так думаю, мне очень тревожно становится — за себя, за Аню, а главное — за Бориса. Я ощущаю тогда каждого из нас, как человека, вдруг попавшего в роскошный (хорошо, если роскошный) дом с бассейном, прекрасной библиотекой, богатой оранжереей, добрыми друзьями и т.п. И всего на полчаса. Этот дом, собственно и есть жизнь. Что делать? Броситься читать книги, но зачем? Всего прочесть не успеешь, да и как-то глупо тратить недолгое время пребывания в прекрасном доме на чтение. Плескаться в бассейне? Посещать оранжерею? Беседовать с друзьями? Поглощать вкусные яства?.. Хватаешься за всё сразу и ничего не успеваешь. Но, быть может, это и хорошо: по крайней мере останутся воспоминания. Однако это если ты спустя полчаса еще будешь существовать, а если нет? *Мыслимы ли подобные воспоминания, коли нет личного бессмертия?* Ведь если даже воспоминаний не останется, то самому неясно, был ты, не был. Сколько таких, как я, побывали на Земле — а кто их помнит? Какая-то величайшая несправедливость — поманить радостью жизни и тут же всё забыть! Что я, растение, что ли?! Чем-то я все же выделен из растительно-животного мира... ну, разумеется, человек — существо общественное... но это родо-

вой человек! Но и род преходящ, как, впрочем, и само человечество. А я, лично я, чем из бесформенного мира выделен?

Знаешь, например, что писал Кант? «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то и другое мне нет надобности искать как нечто окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования. Первое начинается с того места, которое я занимаю во внешнем, чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь, с мирами над мирами и системами систем, в безграничном времени их периодического движения, их начала и продолжительности. Второй начинается с моего Я, с моей личности, и представляет меня в мире, который поистине бесконечен, но который ощущается только рассудком и с которым (а через него и со всеми видимыми мирами) я познаю себя не только в случайной связи, как там, а во всеобщей и необходимой связи. Первый взгляд на бесчисленное множество миров как бы уничтожает мое значение как животной твари, которая снова должна отдать планете (только точке во вселенной) ту материю, из которой она возникла, после того, как эта материя короткое время неизвестно каким образом была наделена жизненной силой.

Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа, через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от чувственно воспринимаемого мира, по крайней мере поскольку это можно видеть из целесообразного назначения моего существования через этот закон, которое не ограничено условиями и границами этой жизни». И меня поразило, что Кант, рассматривая человека как личность, как мыслящее существо, тоже не может смириться с кратковременностью существования Я, с его естественным появлением и таким же естественным исчезновением и апеллирует к моральному закону, который может открыть человеку жизнь, не зависящую от чувственно воспринимаемого, то есть материального мира, придавая человеческому существованию смысл и тем самым как бы снимая все пространственно-временные границы материального, земного существования. Но из всех этих моральных построений следует вера в Высшее существо, так называемое «шестое доказательство» бытия Бога. Ты успокойся, однако: я в Бога все же не верю. Не могу поверить. Видимо, воспитание не то.

Во всем этом мне чудится гигантский самообман человека и человечества, которое само по себе существовать словно не может, и потому как бы негласно договаривается о правилах игры (то есть о вере в Бога), позволяющих оставаться людьми и чувствовать себя на особом положении в природе. Это все оттого, что человек есть загадка. Плоть, имеющая не-

известно откуда взявшийся дух. Но и не это главное, я ведь не о мире и не о времени, даже не о себе. Очевидно, если сказать точнее, меня мучает не проблема личного бессмертия, а моя человеческая несостоятельность. Что я передам сыну? Вот от этого чувства ответственности я не могу избавиться. *Если бы я верил*, мне было бы за него спокойнее.

Я не капиталист и не могу передать ему дела, дома, банковского счета, я не мастеровой и не могу передать ему мастерства, которое могло бы ему помочь, когда перед ним откроется необъятный и неучитываемый мир жизни, и судьба будет поворачиваться разными сторонами, и нужна будет точка опоры. Научить стихам? Чтению книжек, вернее, любви к чтению? Возможно ли это? Очевидно, такое должно передаваться естественно, органично... По наследству... Да нужно ли это? Какая от этого польза? Могу ли я сказать и предположить, что мои книги, книги, на которых вырос я, станут книгами моего сына? Это значит, что я могу — в лучшем случае! — передать ему только свой душевный настрой и направленность. Не задаюсь вопросом, хорошо ли это!.. Меня смущает, что нет у меня в руках того мастерства, которое могло бы послужить ему в жизни опорой. Я ведь даже языков иностранных не знаю — ни одного. Разумеется, и он тоже. А ты и папа знали несколько. Но вы всегда говорили друг с другом по-французски или по-испански, когда желали что-то скрыть от меня. Я к этому привык и даже не прислушивался к вашим «языковым»

разговорам. Так прервалась возможная традиция семейного полилингвизма. И теперь и я, и мой сын сидим у разбитого корыта. А ведь еще Маркс писал, что язык — это оружие в жизненной борьбе. Получается, что я оставляю сына безоружным. Потому что язык — это единственное мастерство гуманитария, которое он может передать по наследству.

Я в тревоге, и сердце у меня не на месте, когда я думаю о Борисе. С мальчишкой что-то случилось, мне не совсем понятное. Быть может, конечно, возраст такой. Каждое слово — наперекор. Каждый жест — обида. Он обижается постоянно по всякому поводу и без повода, на самый пустяк. Я кричу на него, ругаюсь, Аня тоже. Ему кажется, что все против него. И я, и Аня, и ребята с улицы, и школа. Ты вот не знаешь, а он ночами плачет, что-то говорит — только что не бредит. На днях плакал: «Не кусайте, не обижайте меня». Аня его будит: «Боречка, что с тобой! Проснись, кто тебя обижает?!» «Все, все», — плачет. А вчера того хуже. Слышу ворох с его кровати, подхожу — одеяло сброшено, глаза закрыты, лицо напряжено, а сам бормочет, почти не разжимая губ и таким нераскаянным, но испуганным тоном, какой у него днем иногда бывает: «Извините меня, я больше так не буду». Какие же сны ему, оказывается, снятся! Даже во сне он оправдывается непонятно перед кем. А ведь это я, его любящий отец, ругаю, браню и шлепаю его!.. Мне кажется, у него чувство затравленного зверька. А мне нечего ему дать, нечем увлечь его! Что я могу делать!

Разве что всегда честно говорить во всех случаях, что думаю. Но не только с нами — он и со сверстниками никак контакт не найдет. Я даже с его Алёшкой пытаюсь заигрывать, да и с другими ребятами его возраста — чтобы как-то сделать ему друзей, настолько он все время один. И — ничего не получается. Он все равно один. И на своих приятелей обижается, как на нас. Они, естественно, не прощают ему, как мы. И не играют с ним, чувят слабинку и дразнят. И от этого его духовная зависимость в результате от всех этих дворовых мальчишек и девчонок. Я ничему не могу его толком научить, спортом я не занимаюсь, и он меня повторяет в этом: вот и с детьми в спортивные игры не играет — боится опозориться.

Говорить ли о причинах? О тех, которые на поверхности и в глаза бросаются? При нем ссоры, мы его часто одергиваем, он хамит, потому что мы хамим друг другу — пример заразителен. Что делать? Как от всего этого избавиться, всего этого избежать? Я понимаю только одно, что мне не нужна никакая самореализация, о которой твердит Лёвка, говоришь ты, пока я вижу такое. Время человеческое бежит так дико и поспешно. Так неужели на такой короткий, дьявольски насмешливый по своей малости промежуток, мы приходим на Землю, чтобы ссориться и ненавидеть друг друга?! Вот что ужасно. Ведь речь идет о моем сыне. Но что всего ужаснее — я не могу ничего придумать, как все это исправить. И получается, что я опять ничего не могу решить сам, как упрекает Аня

меня все время, а обращаюсь за помощью к тебе, прошу у тебя совета.

Но я решил и решения не изменю: обращаясь к тебе, я писал для себя, и письма этого я никому показывать не буду. Постараюсь разобраться сам.

Любящий тебя твой сын Гриша».

\* \* \*

Сейчас, перепечатывая на машинке это письмо, я невольно вспоминаю и сызнова переживаю свое тогдашнее ощущение, после того как мы с мамой кончили читать. На меня прочитанное вдруг очень подействовало. Мне даже захотелось плакать, так себя стало жалко. Да и отца тоже. Значит, не я один такой!.. Значит, отец тоже об этом же думает. О жизни и смерти. Но, может, это оттого, что мы с ним оба какие-нибудь не такие. И значит, эта похожесть — очень плохая. У меня заболела правая сторона головы, и к горлу подступила дурнотная тошнота. Я прилег на подушку, но тут же снова сел. Хотел сказать маме, но остановился. Мама, не произнося ни слова и не вставая с моей постели, протянула руку, рывком открыла ящик стола, сунула туда листочки и с силой его захлопнула. Минуту помедлила, потом повернула ключ, проверила, крепко ли ящик заперт, достала из замочной скважины ключ и опустила его в карман халата. Лицо ее было бледнее, в полумраке казалось — темнее, серее сейчас, чем за весь тот день. Губы совсем почти в одну линию превратились.

— Ма, ты чего? — едва осмелился спросить я.

— Это надо же, — прошептала неожиданно мама свистящим шепотом. — Что же это получается? Я одного не могу, нет, не могу понять — как же он все-таки дал ей письмо? Или она выкрала, или вокруг пальца обвела, глаза отвела, так наколдowała, что сам принес? Она может. Это совершенно бесчестный человек. Это не человек даже, это демон, Люцифер, ведьма гоголевская. Я не удивлюсь, если она оборачиваться умеет. Не случайно, когда мы с Гришей поженились, мне сон приснился, что меня змея укусить хочет. Помнишь, я тебе рассказывала? И вдруг Гриша меня по голове как стукнет! Тоже во сне. Оказывается, ему тоже приснилось, что к моей голове змея подползает, и он хотел ее кулаком убить. Это она была. Она уже тогда не хотела нашего брака. И тебя не хотела, чтобы ты родился. Нет, она оборотень. Да что я тебе рассказываю! Ты и сам знаешь. Сколько раз тебе по ночам змеи снились? Вот она к нему змеей и проползла и все выманила.

— Но ведь это же его мама... — попытался я внести в этот мистико-коммунальный кошмар рационалистическую нотку.

Но не очень уверенно. Змеи мне снились часто, и хотя я себя уговаривал, что в городе они водиться не могут, что им неоткуда взяться в нашей квартире, каждый почти раз, ложась в постель, я прежде заглядывал под стол, под свою и мамину тахту, за шкаф, ругая и стыдя себя и все равно заглядывая. Засыпая,



закрывая глаза, я усилием воли старался отвлечься на какой-нибудь образ, который увел бы мою фантазию от до жути отчетливого представления, как из-под стола, извиваясь, скользит к моему изголовью черная гадука. Поэтому стало мне не по себе, когда мама о змеях напомнила. Но вместе с тем именно это упоминание придавало ее словам для меня какую-то полубезумную достоверность. Которую я и попытался возражением своим разрушить.

— Мама?! Да она и не знала, пока он не вырос, что у нее сын есть! Он же мне сам рассказывал, что он из пионерлагерей не вылезал, а зимой — лесная школа. Как же она его околдовала, однако! Откуда он эти сценки про одеяло взял — ума не приложу! Один раз небось поправила, вот ему и запомнилось. Один-то раз он дороже тысячи, потому что заметнее. А тебя укрывай не укрывай — вспомнишь ли? (Пауза и минутное молчание. Я не возражал, понимая, что всплыл в этой речи неповинно, а как вопрос к Будущему). Она ведь деятельница, ей не до сына было. А теперь сын подрос, так надо его заграбастать, своим верным рабом сделать, от семьи оторвать. Чтобы ей служили все, она хочет, ухаживали, как за царицей! Она на любую подлость ради этого готова! Ух, как я ее ненавижу!!

Я никак не ожидал, что письмо и вся эта ситуация так взбудоражат маму. Но того, что произошло далее, я ожидал еще меньше, потому что привык, что в ссорах много злого говорится, но никогда не делается все

же. А тут мама вдруг вгляделась в бабушкин портрет и воскликнула:

— Вот она! Уставилась, смотрит, следит своими змеиными глазками! Спрятаться от нее некуда!

И вдруг вскочила, схватила его и с силой бросила на пол. Полетели осколки. Я зажмурился, а потом свесился с кровати. Портрет был разбит, на полу куски коричневатой эмали, в целости осталась только деревянная рамочка, обшитая зеленым бархатом. Все это увидела и мама, в испуге прикрыла рот рукой, потом отвела руку и прошептала замирающим голосом:

— Всё. Гриша меня убьет. Если он узнает, что это я разбила, он никогда не простит. Он убьет.

Маме аж воздуху не хватало. Она принялась спешно и лихорадочно подбирать осколки и приставлять их друг к другу. Но ничего не получалось. Руки у нее тряслись. Тогда мне как-то впервые стало ясно, что папа действительно любил бабушку и что мама это понимала, и что поэтому ей и показалось, что она натворила нечто ужасное. Открылась дверь бабушкиной комнаты и послышались шаги идущего по коридору отца. Я стал искать глазами тяжелые предметы, которые стоились бы для защиты мамы.

Резко дернув дверь, вошел отец и тут же плотно притворил ее за собой. Лицо у него, однако, было не злое, а виноватое, пиджак как-то криво свисал с правого плеча.

— Что тебе говорил Лёва? — заискивающим испуганным голосом спросил папа. — Надеюсь, ты понимаешь, что я тут ни при чем.

— Понимаю, — неожиданно покорно согласилась мама, не зная, как и чем загладить, искупить, сделать так, чтобы отец ничего не заметил, а и заметив, простил.

Ни слова еще не было сказано об исповедальной записке, от внутренней неловкости и смущения говорить вслух о чувствах достаточно тонких. Быть может, околицей речь бы и зашла от этого («когда писал?», «почему не показал?», «как к матери твоей попала?» и т.п.), но тут отец заметил лежавшие на столе осколки эмали и деревянный остов фотопортрета и, похоже, сразу обо всем догадавшись, начал меняться в лице.

— Что это?.. Как это?.. Кто это?.. Кем это?.. — не договаривая фраз, фальцетом забормотал он.

— Упала со стола, вот и всё... Стол качнулся, фотография и упала... Я же не виновата, что она эмалевая... — сбивчиво и пространно заторопилась мама. — Что же, портрет твоей матери заколдован или привинчен?.. Никто его и не думал трогать...

Чем больше мама говорила, тем меньше отец ей верил, но — это я могу теперь предположить — он был в растерянности, как ему поступить.

— Это *ты* разбила. *Нарочно!* Тебе фотография эта покоя не давала!.. Ты хотела ее выкинуть, вот и разбила!

— Мало ли что я в гневе могу крикнуть?! Ты в раздражении и сам бываешь несдержан, — юлила и *врала* мама, и я, видя это, понял еще раз, как она напугана.

И еще я видел, что отец сдерживается, *желая* ей поверить, иначе всё, конец, *разводиться* надо. О разводе родители в ссорах твердили часто, но сейчас возник реальный и грозный повод. Для папы это было, как для верующего — икону разбить. Не совсем так, конечно, но по первому приближению похоже.

Почти интуитивно и одновременно вполне сознательно я подумал, что только я, именно я могу вывести ситуацию из состояния сверхнапряженности, которое ничем не могло разрешиться, кроме глубокой ссоры. Я очень хорошо помню, что сознательно решил заплакать, зная: отец всегда тревожится, когда я плачу.

Так и было сделано.

— Ты чего, Боречка?.. — сразу присел ко мне отец. А я плакал, плакал взхлеб, надрываясь, всхлипывая, что-то выкрикивая и снова заходясь в плаче. Меня словно прорвало, и почему-то плакалось совсем без натуги, но при этом в голове сидела и цель плача, которую я не забывал ни на момент.

— Что же, фотографии и упасть нельзя? — выкрикивал я сквозь всхлипы мамины слова. — Мы и не думали ее трогать!.. Почему, почему, почему вы все время ссоритесь?! Из-за каждого пустяка!.. Уж и уронить нельзя! Бабушка что, Бог, что ли?.. Ничего нельзя, ничего не скажи!.. Я не хочу так жить! Не хочу, не хочу, не хочу!..

— Ну успокойся, Боренька, успокойся, милый мой, сынок мой любимый! Конечно, пустяки, все это пустяки. Не плачь так!

Но, выговорив нужное, я разрыдался всерьез.

— Ну успокойся, успокойся... Издергали тебя совсем! Можно я тебя поцелую, милый ты мой, — целуя, он попробовал губами мой лоб — так родители проверяли, не заболел ли я.

— Аня, тебе не кажется, что у Бориса температура? — тон уже спокойный, даже ищущий примирения. — Может, поставить ему градусник?

Сквозь слезы я видел, как мама, стоявшая со сжатыми от напряжения в кулаки пальцами, словно распрямилась и послушно кинулась к аптечному ящику, висевшему на боковой стенке шкафа.

— Не хочу, не хочу, не надо, — отпихивал я отцовскую руку с градусником, испытывая сладкое чувство обиды, оттого что все вокруг заботятся и волнуются. «Значит, сами понимают, что *довели*». Слезы стояли у меня в горле, и плач то вспыхивал, то затихал, но никак не мог прекратиться. Забыв почему-то первоначальную причину слез, я теперь на все лады переворачивал и лелеял ощущение всехней вины передо мной, понимая вместе с тем в глубине себя, что стоит отцу перестать меня успокаивать, как плач пройдет, хотя, быть может, горечь на сердце еще на время останется. Однако, растравляясь, думать заставлял себя следующим образом: «Не хочется отцу, небось, с плачущим сыном сидеть. Сейчас, конечно, вид сделает, что дает мне время и возможность успокоиться. Вот и встает уже, будто и вправду поверил моему “не надо”. Ну и пусть!»

— Ну не надо так, не надо. Спи спокойно, — папа еще раз поцеловал меня, поднялся, поглядел на маму и сказал:

— Собери, пожалуйста, в пакет все осколки. Я завтра пойду к мастеру — может, удастся починить. Склеить или как еще.

Мама согласно кивнула головой, и отец вышел. Но мама ничего не стала делать, она легла на свою тахту и закрыла лицо. И лежала молча долго. А я вдруг с удивлением и стыдом, сквозь обиду и невыплаканные слезы, подумал, что расплакался вполне искренне и всерьез, как маленький ребенок, хотя поначалу решил просто притвориться и разжалобить папу. «Неужели сфальшивил?» Эта мысль не оставляла и мучала меня, пока я засыпал.

## Глава VIII Ночной кошмар

Затем я не то спал, не то бредил. Это было то состояние полудремы, когда мысли набегают, налезают одна на другую, суетятся, спешат, мешаются, путаются, один образ сменяется другим, и, как во сне, невозможно ни один ухватить и поразмыслить над ним. Размышления поэтому случайны, непоследовательны, их то и дело теряешь, огорчаешься, неожиданно что-то формулируется и оформляется в устойчивый некий образ, но через мгновение снова размывается и сменяется другим.

То мне чудилось, что я спорю с отцом о смысле жизни и нахожу верные, убедительные слова, и отец одобрительно улыбается и кивает головой, и мне это приятно. Я даже сценку запомнил, пригрезившуюся тогда, как я прибегаю с улицы после игры в снежки и лазания по снежной крепости, весь насквозь промокший: и шуба, и рейтузы, и чулки — сплошь мокрые, вытряхиваю снег из валенок, так что в коридоре образуются лужи из тающего быстро снега, но, не обращая внимания на мамины упреки, я стремлюсь в папину комнату, где с порога начинаю с пафосом излагать идею, зачем живет человек, и, судя по его реакции, говорю нечто очень умное, поскольку он восклицает: «Молодец! Хорошо, интересно думаешь! Сам дошел?» И улыбается моим возмущенным крикам. «Сам дошел?» — означает, что хорошо придумал, такая своеобразная похвала, и я на самом деле не обижаюсь. Но вдруг я вижу, что лежу в постели, что беседа пригрезилась, что соображения и идеи какие-то о смысле жизни и вправду были, а вот какие — не помню. Мучительно напрягаюсь — и безуспешно. Все ускользает.

То казалось мне, что я сижу на диване рядом с мамой, и мама говорит мне о бабушке Насте, какая она добрая и безропотная, и что если бы не бабушка Настя, ездившая почти каждый день *сидеть со мной* (хотя бабушка Лида и бывала дома, но мной не занималась), то мама вряд ли бы сумела *закончить университет*. И, представив себе идеализированный

образ бабушки Насти, пучок с заколками, ее черный головной платок, бородавку на щеке, переваливающуюся «утиную» походку, я, привалившись к маминей руке, засыпаю — и во сне мне кажется, что мама переносит меня, как маленького, в мою постель, и в душе становится покойно и хорошо.

Но не надолго. Потому что приснилось мне, что все до сей поры было сном, а теперь я не сплю и вижу, как из-под шкафа, перекрывая дорогу к отступлению — к двери, выползает, тихо шипя, подняв голову с длинным раздвоенным язычком, *черная гадюка* и, извиваясь, ползет на середину комнаты. В ужасе я повернул слегка голову, но так, чтоб змея не заметила моего движения, и стал с замиранием тела, с ощущением его незащитности следить за черной гадюкой. Ощущение у меня было приблизительно такое же, как и при чтении гоголевской «Майской ночи», когда ведьма черной кошкой, стуча когтями по полу, пробирается к панночке. Но усиленное раз в десять. Я и в самом деле был почему-то уверен, что змея — это ведьма или ее орудие, по ее повелению действующее, и кто она, эта ведьма? «Быть может, бабушка Лида?» — подумал я маминими словами. Но змея в ее ужасной реальности и телесности отстранила всякие мысли, кроме непосредственного страха.

Змея, покачиваясь, смотрела на меня, на маму, как выбирала. Настольная лампа уже не горела. Но несмотря на темноту, видел я все вполне отчетливо. Я хотел крикнуть, но не смог. Во-первых, непонятно

кому, во-вторых, только внимание на себя обратишь гадючье. Змея вздрогнула, словно вздохнула, и заструилась к маминой постели (шанс из комнаты выскочить — папу позвать, а как же мама пока, она же спит, змеи не видит, та ведь ее укусит!..). И я дико закричал, с надрывом: «Мама!» От этого крика мне показалось, что я, наконец, проснулся: поначалу с чувством облегчения, но вдруг увидел, что все так и есть, как было во сне, значит, я и не спал вовсе. Почему же мама никак не проснется и не заметит, какой кошмар творится?! А змея на мой крик повернулась и ко мне заскользила неостановимо, с пастью, щелочкой приоткрытой. И вот уже она совсем рядом, — я сначала вжался в подушку, потом эту подушку в нее кинул, кинул, понимая всю призрачность подобной защиты, понимая, что только еще больше раздражил змею, что теперь она мне не только за предупреждающий крик мстить будет, но и за подушку. Тогда я вскочил с диким воем, как был в пижаме и с голыми пятками, которые, казалось, так змее доступны, и сердце у меня замирало, колотилось и выскакивало вверх через горло... Я хотел выскочить в дверь и одновременно был уверен, что гадюка нагонит меня. Смерть приближалась, у меня перехватило дыхание... И тут я и вправду проснулся, весь в поту, сердце колотилось, голова буквально вплюснулась в подушку, влажную не то от слез, не то от слюны, зубы плотно вцепились в наволочку; не разжимая зубов, я быстро открыл глаза, и страх отступил.

Горела настольная лампа, мама тихо спала, даже пледом не укрывшись, стол, стул, шкаф — всё было на месте, подушка под головой, а на полу — пусто, никакой змеи и в помине нет. Я встал на четвереньки, свесил голову под диван — никого, заглянул под шкаф — никого, под стол, под мамину тахту — никого. Тогда я спустил ноги на пол, подошел и укутал маму пледом. Затем вернулся, перевернул у себя подушку, лег, укрылся одеялом. На будильнике — только еще начало двенадцатого. «Главное — не спать! Только не спать!» Но мысли путались, глаза тяжелели, и только они закрывались, как из-под стола выползала змея, и я вновь в ужасе открывал глаза и изо всех сил таранил их и тер, чтобы не уснуть.

Однако в какой-то из моментов сонные мысли потекли и поплыли к новому бреду, хотя я и уговаривал себя, прижавшись щекой к подушке: «Хорошо бы оказаться сейчас у бабушки Насти. Вот уж где *покойно*», — употребляя любимое бабушкино словечко, подумал я. Мне тогда почему-то казалось, что покой этот происходит от тесноты и малости её комнатки, оттого, что бабушка поэтому поневоле всё время рядом со мной, близко, и там нет места страху. Только одно там бывает неприятно, когда много гостей, даже странно, как они умудряются уместиться на этих четырнадцати метрах. Так что о тамошних гуленных гостеваньях мне вспоминать не хотелось. Но, как назло, когда не хочешь о чем-нибудь думать, именно это и лезет тебе в голову. Я попытался вообразить себе

тихий и уютный вечер с бабушкой Настей, но раздраженное и растревоженное состояние души мешало мне. И в мозгу закружились образы, назойливо и непрошено пролезшие не на своё место: представилось что-то вроде застолья у бабушки Насти, причем так ярко и отчетливо, словно сейчас происходило. Я не мог понять, сплю или нет. Если это и был сон, то более яркий и отчетливый, чем сама действительность.

Как будто удалось мне непонятно-волшебным образом, спасаясь от змеи, пронестись, не очень замерзнув, над снежным пространством, отделявшим меня от дома бабушки Насти. То ли сапоги-скороходы, то ли еще что... Пролетая, узнавал я дорогу, которую видел обычно из окна автобуса: шоссе, аллею лиственниц с присыпанными снегом черными грачиными гнездами на верхушках, железнодорожный переезд, продовольственный магазин из красного кирпича... И, наконец, знакомый двухэтажный домик. Опрометью проскочил я по коридору, и дверь, чпокнув, впустила меня в жаркую, распаренную комнату. Змея осталась где-то далеко позади, хотя и не прекратила погони — это я знал — но здесь много народу и кажется безопасней, да и дверь к тому же плотно прикрыта — ни щелочки, чтоб проползти.

У бабушки Насти почти все родственники собрались: и дядя Коля с тетей Симой, и сестра бабушки Насти со своим сизоносым мужем, и еще из деревни приехала длинная и плоская сестра деда Антона, которая притулилась у шкафа, не снимая своей жакетки из черного плюша. Друг напротив друга оказались тут

почему-то Ратников с Витюнчиком. Лицом ко мне помещались папа с мамой, в дальнем углу стола Анпална и дядя Вася Репкин, а во главе стола восседал дед Антон. Бабушка Настя подавала к столу крупную вареную картошку, обходя с большим чугуном гостей, каждому сама кладя на тарелку по две или три картофелины. Закуска стояла на столе зимняя: нарезанные дольками соленые огурцы, селедка с колечками репчатого лука, залитая подсолнечным маслом и уксусом, и квашенная капуста. Колбасу и сыр уже почти доели. Пахло водкой и пивом. Пять или шесть бутылок водки, уже открытых и початых, бутылок шесть пива и среди них бутылка рислинга «для женщин» занимали середину стола. Бутылки три пустых — на полу около сундука. Дед Антон макал черный хлеб в селедницу, где предварительно размешал в масле и уксусе горчицу; его глаза, под очками на веревочках, блестели, лицо лоснилось.

Пройти было некуда, и я остался стоять спиной к стенке рядом с дверью. Меня никто не замечал, и я не знал, как обратить на себя внимание, а потому молчал и слушал разговоры.

Дядя Коля, в расстегнутой в ворота белой рубашке, склонился над столом и, протянув руку, с бесцеремонностью и поучающей снисходительностью *полковника*, тыкал пальцем чуть ли не в лицо отцу, с трудом выговаривая слова:

— Чего же это ты, Гриша, не пьешь? Брезгуешь нами? А зря. Здесь есть люди и образованные... Вот ты *ду ю стик инглиш*? А я *ай ду*. Я на тебя не обижаюсь,

ты с профессорами рос, твоя мать и сейчас профессорша. Но у нас, Гриша, все равны, и из простых людей мы выросли, а родителями своими тоже не гнушаемся. Мы ведь здесь все свои, родная кровь, и ты тоже в нашу семью вошел. Не обижай нас. И бабу Настю не обижай. Давай за бабу Настю *водочки* выпьем.

Папа накрыл ладонью свою рюмку:

— У меня еще вино не допито.

Эта мягкая твердость вдруг выделила его резко из пьющих, и я ощутил неприязнь к дяде Коле, который пытался заставить *моего* папу что-то сделать, чего он не хочет.

Поднялся дядя Вася Репкин, с рассыпающимися соломенными волосами и покрасневшими крыльями носа, и вызывающе (так мне показалось) решил подчеркнуть перед мамой (хотя обращался к бабушке Насте) чуждость отца её родителям и свою к ним близость.

— Нет уж, Настасья Егоровна, пусть он за тебя водочки выпьет!

Анпална закивала головой, как бы подтверждая требование мужа. Отец, молча и примиряюще улыбаясь, поднял свою наполовину налитую светлым вином рюмку. Дядя Вася махнул рукой, проглотил содержимое своего лафитничка, подхватил огурец вилкой, сжевал его и сел. Затем громко сказал:

— Э-эх! И пить-то с тобой неинтересно! А ты, Аня, куда смотришь? Неправедно своего мужика воспитываешь. Он у тебя прямо как нерусский!

Он еще налил себе водки и повернулся к дяде Коле:

— Давай с дядей Антоном по-нашему, по-простому!.. И ты, Витюнчик?.. Давай, давай. Вон и Иван Михалыч (это сизоносый родственник) сказать что-то хочет. Ну, вали, говори.

Сизоносый шурин бабушки Насти, отталкивая пытавшуюся задержать его жену, хотел приподняться, но не сумел. И, сидя, вдруг дисканточком заголосил:

— Средь высоких хлебов затеря-алося  
Небогатое наше с-село!..

Гор-ре гор-рькое по свету шлялося

И на нас невзначай набрело.

Все засмеялись. Для песен время еще не пришло.

— Ты, Иван Михалыч, ещё выпей и помолчи, — перебил его дядя Коля. — У нас ведь тут только Анин муж не пьет. Ты вот поешь, а он вдруг тебя за это возьмёт и осудит!..

— У каждого свой обычай, — поджав губы, сказала бабушка Настя, как будто и желая защитить отца, и все же с досадой и осуждением в голосе.

Все казалось, как в плоском черно-белом кино. Темные галстуки, белые рубашки, расстегнутые пиджаки черных костюмов, серые платья, белая водка, бледные добела лица, и только красный отсвет абажура угрожающе мерцал в комнате. Отец неловко улыбылся и, видимо, не чувствовал той обиды и унижения, которые за него явно испытывала мама, о чем, как я понимал, еще предстоял дома разговор. Расплескивая из рюмки водку, снова полез сизоносый Иван Михалыч продолжить песню:

— Ой, беда приключилась страшная!

Мы такой не видали вове-ек!

Как у нас, голова бесшабашная,

Застрелился чужо-ой челове-ек!

— Душевная песня, — перебивая его, рычал дядя Вася Репкин и тянулся чокаться и целоваться.

Толстые женщины тоже захмелели, и их говор потек громче, хотя все так же неразборчиво. Сестра деда Антона в черной плюшевой жакетке и платке вытирала рукой слезы, почему-то катившиеся у нее из глаз, и вскрикивала время от времени:

— Мужики, не надо ссориться!

— Аня! Иди сюда, — призывно махал рукой маме дядя Вася Репкин. — Муж-то, поди, надоел, а старая любовь не ржавеет! А ты, Гриша, это знать должен, ты же ученый! — Выглядел дядя Вася таким уверенным в себе и залихватским добрым молодцем.

К моему удивлению, мама не обиделась, а рассмеялась вполне дружелюбно, более того, встала и подошла к дяде Васе. И Анпална как-то поощрительно хихикнула. А он уже обнимал маму за плечи, заставляя жену сдвинуться, усаживал на стул рядом с собой. «Конечно, он когда-нибудь нравился маме, и они дружили в детстве», — думал я. Но всё равно взрослая вольность поведения была мне непонятна, я вдруг почувствовал себя оскорбленным непонятно почему.

— Сколько вместе за водой ходили! А? Помнишь, Аня? — кричал дядя Вася на весь стол, привлекая к

себе внимание. — Вёдра на коромысле носили. Нам есть что вспомнить, ты в этом не сомневайся, Григорий Михалыч! У нас, извиняюсь, совместно детство-юность прошли. В одном доме жили, в одном дворе росли! — Он прижимал к себе маму за плечи, весь красный и самодовольный. Волосы у него были редкие, от пота слиплись, лицо лоснилось.

Анпална сидела теперь сумрачная, но молчала. А мама, увидев недовольное и помрачневшее лицо отца, неожиданно резко встала, сбросив с плеч руку дяди Васи.

— Не пуцу! — заорал было тот, но мама уже сидела рядом с отцом, и, снова махнув рукой, её бывший «ухажёр» вернулся к песне.

И тут я заметил, что сидевший спиной ко мне (невидимому никем) Ратников, как и отец, тоже не пьет. Я видел только его левое ухо и очертания длинного носа, но ясно понимал, что он не пьет. А заметив это, я углядел сразу и то, как он дергает головой, словно вглядываясь в своего визави, Витюнчика, и услышал шепот его:

— Сколько раз прощать брату моему?.. До семи ли раз? А убивцу дочери моей? Укрепи мя, Господи! Без Тебя правды никому не найти! И мне грешному тоже. Без Тебя остается самому сыроядцем стать. Как узнать душу живу среди сего сонмища смрадного, где малолетний убивец нераскаянный, аки взрослый тать, водку хлещет?..

Заглушая Ратникова, прорезался снова голос Ивана Михайловича; ему уже вторили — надрывно-



слезный бас дяди Васи Репкина и компанейский тенор дяди Коли:

Суд наехал, допросы, тошнехонько...

Догадались деньжонок собрать...

А-асма — трел его лекарь скорехонько

И велел где-нибудь за-копать!

Мама положила папе руку на локоть, он ей улыбнулся.

Засмотревшись на певцов и на то, как дед Антон ломтем черного хлеба промакает после водки рот, затем кладет его на стол, снимает нетвердым движением свои очки на веревочках и протирает их вытянутым из бокового кармана большим синим носовым платком — значительно и отчасти даже с патриархальной величавостью, я перестал следить за Ратниковым и опомнился, лишь услышав его спор с отцом.

— Хрю — хрю-хрю! — кричал пьяный Витюнчик, икая и почему-то страшно веселясь, и указывал пальцем на Ратникова.

А Ратников мрачно и сосредоточенно, но не очень громко говорил, обращаясь к отцу и словно никого больше не замечая:

— Вы, Григорий Махайлович, человек грамотный и потому должны согласиться, что представлять себе Бога, способного жарить бесконечно грешников на огне, — это религиозная невменяемость. Никакой разум не согласится быть на роли Сатаны и злых духов, это специально придумано Богом для нравственного смысла. Я верую в высшее Существо. Вы человек неверующий. Но полно-

стью отвергать Бога и Библию нельзя; моральный облик человека и прощение — это истинно. Многие в Библии кажется непонятным. Но это все истинно, Богу понятно все, и все будет понятно нам после смерти, и поэтому критика священных писаний не умна.

— Яков Георгиевич, а если все-таки бога нет? — вступила вдруг мама, произнося слово Бог с маленькой буквы. Для нее эта беседа была разрядкой долгого нервного напряжения. Ратников насутился, но ответил, торжественнее и поучительнее, чем когда говорил с отцом, уже почти не ввертывая ученых словечков:

— Как же так нет? Ты вникни. Как бы мы могли искать Его, если бы у нас Его не было? А? Откуда бы могло взяться в духе нашем такое искание, если бы сам дух наш был мирского и плотского происхождения? Не-ет, Бог есть, и он в духе нашем, или, говоря по-научному, в нашем сознании. Через Бога происходит личное спасение и совершенствование души.

Отец положил руку маме на локоть, удерживая ее от возражений, и слушал тихо, как бы говоря маме, что, пусть ты и я и не согласны, но каждому человеку надо дать высказаться, выговориться. Ратников, это почувствовав, глядел уже не на маму, а снова на отца, ему втолковывая:

— Совершенствование есть здесь великое личное счастье, которое стыдливо прячется от людей в тайниках души. Совершенствование несет дух любви, как самого существа жизни и спасения. Поэтому я пришел к заключению сути, Григорий Михайлович,

что нарастание добра есть не механический результат истребления зла и тем менее — злых людей, а плод внутреннего взращивания самого добра в себе и в других. Ибо зло есть небытие, пустота, выдающая себя за полноту; оно исчезнет, лишь вытесненное полнотой, которую я называю добром и человеколюбием.

Ратников замолк, только длинными пальцами своими постукивая по столу, и уставился в свою нетронутую тарелку.

— Яков Георгиевич, — осторожно начал отец, — ведь вы же сами раньше говорили и писали, насколько я помню, что не верите в богов, ни в Христа, ни в Будду, ни в Магомета. Вы говорили, что существует только какое-то высшее существо. Почему же вы теперь называете это существо Богом?

— Для удобства и для краткости обозначения, — незамедлительно отвечал Ратников. — Чтобы другим было понятно, что я изобрел то, к чему все люди всегда стремились. Привычное название облегчает и объясняет новое, но им можно и пренебречь.

— Видите ли, — снова приступил отец, постепенно увлекаясь, как всегда, — то, что вы говорите, это и вправду вопрос веры. Вы верите, я не верю... Наверняка здесь доказать ничего нельзя. В свое время необходимость веры имела историческое обоснование, вера в бога была необходима. Маркс писал, что религия превращает в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью. Не лучше

ли сейчас, когда это ясно, заниматься перестройкой мира, чтобы вернуть человеку его подлинную сущность. Упразднение религии, как иллюзорного счастья людей, есть требование его действительного счастья. Вы полагаете, что без Бога, — или высшего существа, как хотите, — люди не сумеют образиться, стать добрыми, и что после смерти мы поймем истину религии, которая заключается в человеколюбии. А нельзя ли вообразить, что человек, осознавший кратковременность своего существования, увидевший впереди себя лишь *черное ничто*, поймет необходимость добра скорее, ибо почувствует свою слабость и одинокость и зависимость от добра других людей, он поймет также, что никогда не исправить ему содеянного на земле зла в другой — будущей — жизни, поскольку ни бога, ни бессмертия не существует. Впрочем, разумеется, сложность в том, что для такого осознания необходимо вначале пожелать бессмертия и смысла жизни, понять пределы и некие высшие цели и задачи человека.

— Стало быть, нужен Бог, — проскрипел Ратников.

— Что-о? Ты это что антисоветчину разводишь, Яков Георгиевич? — шутливо грозил пальцем через стол дядя Коля, лицо у него приобрело неестественно-добродушное выражение. — Бога проповедуешь? А мы на тебя сейчас ученого напустим! Ну-ка, Григорий Михалыч, поработай, дай ему по-нашему, по-марксистски.

Ратников, однако, опередив отца, возразил новому оппоненту:

— Ты, Николай, не вдумываешься и напрасно поддерживаешь мнение, что Бог и Советская власть не совместимы. Бог сам придумал варианты власти, и народу именно решать, при какой власти ему жить; здесь нет никакого греха. Конечно, с исторической точки зрения Григорий Михалыч прав. Бог был нужен для объяснения добра неграмотным и диким людям. Поэтому тайна Христианской церкви в том, что её основная заповедь — «Возлюби ближнего, как самого себя» — есть закон человеческой природы, открытый во времена далекой древности мифическим Христом, или почти неизвестными добрыми и гениальными людьми, как и мифический Христос. А Высшее Существо просто подсказало древним людям форму религии для утверждения этого закона. А знаешь ли ты, что порождают заповеди любви к человеку, когда они овладевают массами? У нас почти нигде не сказано, а если сказано, то мало сказано, о том, что человеколюбие — это неиссякаемый источник жизни, что в атмосфере человеколюбия есть радость, здоровье, более мощный расцвет талантов, увеличивается производительность труда, улучшается качество продукции труда, уменьшается преступность. У нас почти нигде не сказано о том, что человеколюбие увеличивает уважение других народов к народу, который человеколюбие проявляет в своих деяниях. В христианских заповедях любви к человеку много прекрасно, мудрого, благородного. Поэтому они нужны для советской власти и укрепления мира между народа-

ми. В грандиозную борьбу за мир, проводимую нашей партией и правительством, мы все должны включиться, укрепляя мир в своей семье, в своем трудовом коллективе, с соседями по месту жительства. И это поможет нам лучше жить и трудиться на благо мира.

Ратников нахмурился и угрюмо вдруг огляделся. Он явно был раздосадован, что заговорил в большой пьяной компании, злился на себя и все более и более мрачнел, возвращаясь, видимо, к постоянным неотвязным своим воспоминаниям. Было видно, что больше ничего говорить Ратников не хочет и не будет: он весь подобрался, вслушиваясь в *нечто иное*. Но отец этого не заметил.

— Вот то, что вы сейчас о человеколюбии сказали, Яков Георгиевич, это очень интересно. Однако лучше поискать санкции добра не у высшего существа, а посмотреть на земные механизмы установления этого добра. Это ведь возможно. Человек ведь, как известно, возник не божьим соизволением, а создавая культуру. Приобщаясь к ней, человек подавлял в себе инстинкты дикаря, эгоизм и своеволие, боролся с животным началом в себе. Быть человеком трудно, требуется и самоотречение и известная самоотверженность, борьба со своими злыми инстинктами. Строго говоря, добро противостоит естественности, потому что естество наше — животное. Конечно, на первоначальном уровне сознания необходим идеальный образ, следуя которому человек выходит из первобытной дикости...

Но слова отца шли попусту, Ратников и впрямь вдруг потерял интерес к разговору. Приоткрыв рот,

он слушал песню, которую вот уже второй или третий раз пытались допеть до конца. Иван Михайлович блевал у шкафа, стоя на четвереньках перед ведром для малых нужд. Теперь запевал Витюнчик. Прочувствованным тоном он выводил куплет:

— И пришлось нам нежданно-нега-адано  
Хоронить молодого стр-релка  
Без церковного пенья, без ла-адана,  
Без всего, чем могила кр-репка...

Ратников отпихнул стул, бормоча что-то непонятное, вроде: «убивец нераскаянный», и полез к двери.

— Куда? куда? куда? держите его! Яков Георгиевич, без посошка на дорожку не уйдешь! Эй, дверь приприте!.. — зашумел дружный хор.

Тут почему-то я стал видимый, и все наперебой закричали:

— Э, да тут Борис! Как, однако, вырос! Тебе сколько лет? В какой класс ходишь? Папу-маму слушаешься? Дай я на тебя погляжу! Да ты прямо орел! Налейте Борису сухого! Чай, в нас пошел, не в отца! Остановись, ребенку еще рано! Немножко никому не повредит! Учиться любишь? В футбол играешь? Ты за какую команду болеешь? Да-а, растут дети! Наша смена! Дайте ему стул! Пусть сядет! Давай, садись, Борис! Ты с кем рядом хочешь сидеть?

Но я уже, торопясь и запинаясь за стулья, пробирався на другую сторону стола, к родителям. Пройдя за спинами гостей сначала по сундуку, а потом по кровати, на которой обычно дремал дед Антон, я

опустился на стул Витюнчика, который тем временем, как и Ратников, куда-то неожиданно исчез. Мне нужна была преграда стола между мной и дверью. Пока все кричали, мне вдруг отчетливо и с ужасом представилось, как медленно на крыльцо, по всем пяти ступенькам, вползает откуда-то узнавая мое местопребывание змея. И снова вернулось ощущение кошмара.

Поэтому, сидя рядом с родителями, я ничего почти не слышал и не видел — только то, как змея вползла уже черной лентой на крыльцо, вот уже извивается по сеням, минует лестницу, ведущую на второй этаж и вползает в щелку входной двери, так и не прикрытую убежавшим Ратниковым. Можно бы броситься туда и припереть, раздавить гадину дверью, но понимаю, что у меня не хватит сил ни самому это сделать, ни даже вслух произнести об этом. Тем более, что оставалась еще надежда — в эту дверь, плотно прикрытую, она не вползет. Лишь бы не открыл ее кто по случайности! Вот змея уже в общем коридоре, вот уже застыла перед дверью, просительно шипя.

— Мама, открой дверь, там кто-то скребется, — повелительным таким тоном воскликнула тетя Сима.

Бабушка Настя открыла дверь, отступила в сторону, и змея, проскользнув мимо нее, по спинкам стульев бросилась к печке — погреться.

— Ишь ты, намерзлась животная, тоже тепла хочется, — благодушно, ни капельки не удивляясь, проворчал дядя Коля.

Анпална замахала было на змею рукой, чтоб она ползла прочь, но, взглянув на мужа, осеклась и села смирно.

А змея уже устроилась на высоком столике возле печки, свернувшись кольцом, отогреваясь и поглядывая на всех холодными глазками. Я затаился, почувствовав вдруг, что защиты мне ни от кого из родственников не будет. Только отец и мать сидели застылые от недоумения и ужаса.

— Может, дать ей чего поесть? — обратился пьяный дядя Вася Репкин к бабушке Насте. — Голодная, небось... Ну-ка, Анечка, подвинь-ка сюда картошечки, а то у твоего мужа руки с перепугу к столу приклеились! Не бойсь, Гриша, животная не тронет, с ней надо только обращаться умеючи!.. Как думаешь, баба Настя, картошку она жрать будет?

Бабушка Настя пожала плечами и поставила перед змеей тарелку с холодной картошкой; видно было, что она терзается, не зная, чем накормить змею.

— Змея — это к разлуке, — с трудом выговорил Иван Михайлович, карабкаясь назад, на свой стул. А его жена, не вставая с места, громко заголосила:

— Разлука ты, разлука! Родная сторона!..

— Отец, надо позвать кого-нибудь, — тронула бабушка Настя за плечо деда Антона, — чтобы ее забрали. В зоопарк, может. Чем ее кормить — только чёрт знает. Помрет еще, греха потом не оберешься.

Деда Антона змея, однако, чем-то не устраивала. Он протянул руку за сундук и, покопавшись там,

вытащил свою клюку, взялся было за нее поудобнее, поухватистее, но его дернул за рукав зять, дядя Коля то есть.

— Пусть ее, Антон Гаврилыч. Оставь. Чего она тебе в самом деле, мешает, что ли? Лежит себе тихо...

Дед Антон начал было палку опускать, как змея соскользнула со столика возле печки и прямо по палке, по рукаву деда вползла на обеденный стол. И, осторожно протянувшись меж рюмок, бутылок, селедницы, холодного чугунок с картошкой, легко и свободно извиваясь всем телом по столу, двинулась ко мне. Раздвоенный ее язычок высовывался из полуразинутой пасти и свистящий шип наполнил комнату.

— Глянь! Как соловей на свой лад поет! Это ж песня ее, — обрадовалась чему-то тётя Сима.

А я почувствовал, что сейчас умру со страху, пусть она даже не укусит меня, а только коснется. Я не видел мамы, но видел, как отец вдруг вскочил и изо всех сил ударил кулаком по змее, но промахнулся, попал по блюдцу, которое разбилось, и отдернул на момент от стола залитую кровью руку. Воспользовавшись моментом, змея кинулась ко мне. И я ощутил, как вокруг шеи обвилось ее холодное, скользкое тело. Умирая со страху, я застонал и проснулся. Сердце у меня колотилось, волосы были мокрые, а лицо всё горело.

## Глава IX Болезнь

Я присел, опираясь спиной о подушку, а затылком о холодную, покрытую масляной краской стену. Стена была наружная, выходила на улицу, и в морозы это очень чувствовалось. Голова стала быстро остужаться. Горел ночник, и мама крепко спала, свернувшись под пледом. Никого, никого, никого! Ни на полу, ни в кресле, ни на столе... И я был дома. «Все это был сон, сон», — с облегчением выдыхая остатки страха, думал я. Но тут же невольно вообразив все, что пережил в этом сне, снова вздрогнул и подумал, что ехать к бабушке Насте мне расхотелось.

Я сидел и знал уже, что мне больше не заснуть, хотя на толстом зеленом будильнике всего двадцать минут первого. Из комнаты бабушки Лиды еще доносились голоса, хотя и неразборчиво. От обиды и раздражения на свою невезучесть я даже дернул ногой, но это движение отозвалось в голове, словно быстро-быстро застучали по какой-то натянутой у виска жилке. «Мне же завтра в школу, в школу! Я должен уснуть!» — я съехал вниз, положил голову на подушку, но меня непонятно отчего замутило, и я был вынужден вернуться в прежнее положение. Стало совсем обидно — ну прямо всё против меня... «Быть может, отменят завтра занятия, если ниже тридцати градусов будет», — с надеждой, что тогда отосплюсь, думал я.

Я протянул руку за стол, нащупал батарею, и по контрасту ощутил головой и плечами, какой жуткий мороз завернул на улице. Стена была очень холодной. Волосы уже высохли, внутренний жар страха и кошмара прошёл, и, напротив, стало зябко. «Вот и хорошо!.. Заболею и в школу тогда не пойду...» В школу мне не хотелось — и даже не из-за Марьи Ниловны, а скорее из-за Хрычка. Мне не хотелось встречать его и снова бояться. И видеть, как предаёт меня Алёшка. «А Алёшке я скажу... Я должен ему сказать...» И в голову мне полезла и стала сама собой с очень удачными доводами сочиняться речь о дружбе, которую я ему произнесу, отозвав на переменке на лестницу или во дворе один на один. Я скажу ему, что настоящая дружба должна быть не такой, что за друга нужно стоять, как за самого себя. Вот Меркуцио — настоящий друг. Когда Ромео не мог драться — как он выступил на защиту его *чести*: «О низкое, презренное смиреньё! — декламировал я про себя с упоением, представляя, как буду это читать Алёшке. — Его загладит лишь алла стоката. (Обнажает шпагу) Тибальт, ты, крысолов, — что ж, выходи!» Но вот Тибальт сразил его шпагой из-под руки Ромео: «Я ранен! Чума на оба ваши дома! Я пропал. А он! Ужель остался цел?» Я попытался гордо приподняться, произнося эти слова, — голова снова сильно закружилась, и я откинулся назад, чувствуя ужасную дурноту. Но слова, вызубренные в свое время наизусть, цепляясь одно за другое, продолжали возникать в моем мозгу. Я не противился механическому этому повторению, тем самым

надеясь преодолеть неожиданно возникшую слабость, дурноту, тошноту. «*Меркуцио*: Царапина, царапина пустая, но и ее довольно. Где мой паж? Скорей беги, негодный, за врачом! — *Ромео*: Друг, ободрись. Ведь рана не опасна». А дальше шла кульминация — самые грустные и трагические слова. «*Меркуцио*: Да, она не так глубока, как колодезь, и не так широка, как церковные ворота. Но и этого хватит: она свое дело сделает. Приходи завтра, и ты найдешь меня спокойным человеком. Из этого мира я получил отставку, ручаюсь. Чума на оба ваши дома! Черт возьми! Собака, крыса, мышь, кошка исцарапала человека насмерть!»

От этих слов, однако, мне стало совсем плохо. В висках застучало еще сильнее, в животе засосало и заныло, словно там образовалась вакуумная пустота. Комната перед глазами закачалась, стены словно сходились и расходились, соприкасаясь то углами, то плоскостями, как декорации в театре. Голова так кружилась, что казалось, нельзя пошевелиться, иначе вырвет прямо на пол. Я с трудом сглотнул слюну. Какие-то фигуры в белых одеяниях, танцующие и кружащиеся в хороводе, поплыли по комнате. Я узнал бледное Зойкино лицо с выпяченными вперед верхними зубами, доллобый череп Ратникова, мясистую ряшку Витюнчика, но тоже страшно бледную... Остальных я не различал, хотя хоровод кружил прямо перед моим лицом. От мелькания белых быстрых фигур заболели глаза, заложило почему-то уши. Вдруг одно из одеяний хлестнуло меня по щеке — я невольно поднес руку и дотро-

нулся до кожи. Это прикосновение разбудило меня. В комнате было пусто. Я понял, что опять задремал.

Однако глаза болели, лицо горело. Я попытался снова на чем-нибудь сосредоточиться, чтобы прошла боль, — на каких-нибудь *размышлениях*. «Почему мне не хочется ехать сейчас к бабушке Насте? Почему? Там спокойно, сытно, никаких тревог... Ведь про змею мне приснилось... Мой любимый сундук, печка, длинные доски половиц на кухне, лампа с большим абажуром над столом в комнате, молчаливый дед Антон в своих неизменных подтяжках... Почему папа не очень-то любит бывать там?.. Хотя и ездит каждый раз, как мама зовет его... Ему скучно, скучно... Ему, видите ли, скучно... Зачем же он ездит? Почему беседует с Ратниковым и внимательно выслушивает его, хотя сам — уж я-то это знаю! — думает по-другому? Может, потому, что *там* это тот единственный человек, с которым ему любопытно? Ведь о еде и о выпивке папе говорить неинтересно... В таких случаях он только вежливо улыбается... А надо прямо сказать: ненавижу, не хочу, не буду! Ведь он же умнее их всех! И не хвалится, как дядя Вася Репкин, что был летчиком, что воевал... И потом, дяде Васе Репкину на *меня* плевать... Но ведь бабушке Насте не плевать?.. Конечно. Но все равно мне сейчас *туда* не хочется. Вот и все. Не хочется. А *здесь* хочется?..»

Меня знобило, трясло, хотелось стать маленьким и жалким, чтобы все меня любили и никогда не бранились. Но я подумал, что этого все равно не будет, завтра все равно кто-нибудь да найдет повод меня в чем-

нибудь упрекнуть. И еще я подумал, что это не зря, это заслуженно. Я чувствовал себя виноватым перед всеми. И перед мамой, что чуть не «предал» ее в разговоре с бабушкой Лидой; и перед бабушкой Настей, что мало помогаю ей, как справедливо говорит мама; и перед бабушкой Лидой, что грублю ей (один случай я особенно припомнил: я дерзко ей что-то ответил, повернулся и ушел в нашу с мамой комнату, минут через пять я отправился на улицу и, проходя мимо открытой двери в бабушкину комнату, невольно заглянул туда и даже испугался, что я, оказывается, наделал, — бабушка Лида сидела за своим столом, прямая, строгая, как обычно, руки ее лежали на столе, а по морщинистому лицу текли слезы, и она их не вытирала; меня она не заметила, и я, испуганный, убежал скорее, но забыть этого случая так и не смог, потому что видеть бабушку Лиду плачущей мне ни до, ни после не доводилось); а главное — перед отцом, что смел даже в мыслях предпochсть ему какого-то дядю Васю Репкина. От стыда я закрыл лицо руками, затем отнял их, влез поглубже под одеяло, укутался и уткнулся лицом в подушку.

«Надо уйти, надо уйти из дома, — думал я, — навсегда уйти. Ведь я же никому не имею права в глаза смотреть». Я представил себе, как буду бродяжничать, все будут меня искать и жалеть, а я буду, рваный и обтрепанный, грязный, весь в морщинах и шрамах от плохой жизни, бродить где-нибудь поблизости, рыться в помойках, питаться чем придется, и никто меня не узнает, а злые дети будут мне вслед кричать: «Нищий дурак,

курит табак, спички ворует, дома не ночует, спит под забором, зовут его вором!» И когда меня найдут или сам я найдусь, тогда все меня простят и поймут, что все мои дурные поступки были не потому, что я плохой, а просто так получалось по стечению обстоятельств. Но это будет только после того, как я искуплю трудной жизнью все свои грехи и тем самым получу прощение.

Я угрелся в тепле, тошнота почти прошла, да и принятое решение отчасти успокоило меня. Показалось даже, что сейчас засну. Немного еще, правда, стучало в висках. И вдруг мне ужасно захотелось в туалет — по малой нужде. Я поднялся, влез в тапочки, но встать сразу не смог — снова охватила слабость, так что я принужден был сесть и некоторое время не двигаться. Будить маму я не решался, хотя на какой-то момент такая мысль у меня и мелькнула: напугала испарина, проступившая по всему телу. Посидев на постели минуты три, я все же встал, опираясь рукой об стол. Задернутые шторы в полутемной комнате создавали ощущение почти замкнутого пространства с единственным выходом — дверью! Надо выйти!.. Я влез в тапочки и, дрожа от холода, потащился, еле передвигая ноги. Испарина прошла, но в голове стало жарко и гудело.

В коридоре горел свет. Стоя над унитазом, я думал только, как бы не упасть. Но всё обошлось, я благополучно, хотя и тяжело дыша от слабости, выбрался из туалета. Из комнаты бабушки Лиды слышны были голоса. «Еще не спят», — подивился я, догадываясь, что там идет обсуждение происшествия сегодняшнее-



го вечера. «Совещаются, как *им* вести себя против *нас с мамой*», — сызнаво проснулось во мне раздражение и чувство семейной разделенности. «Надо бы послушать, *какие каверзы затеваются* против мамы!» В коридоре было еще холоднее, чем в комнате: видимо, тянуло из входной двери, с лестницы. Вообще квартира наша была построена так, что и зимой, и летом в ней стоял холод. К тому же бабушка Лида любила держать во всех комнатах открытые форточки, отчего по квартире вечно гулял сквозняк, который мама и считала первопричиной моих постоянных болезней. То ли дело теплая, даже жаркая комнатка бабушки Насти! «Скорее в постель, а то так и окоченеть недолго!..» Я потянул к себе нашу дверь, решив ничего не узнавать, не слушать. «Пусть сами разбираются!» Затем, оставив дверь в нашу с мамой комнату полуоткрытой, я неожиданно для себя развернулся и подкрался на цыпочках к плотно захлопнутой двери в комнату бабушки Лиды. И сразу показалось, что не зря, потому что услышал пронзительный выкрик дяди Лёвы:

— А я тебе говорю — ты должен!.. Должен, должен! Должен уйти! В этом твое спасение!

— Лёва! Ты уже это говорил, — вмешалась бабушка Лида. — я считаю, что в таком важном разговоре повторения неуместны.

— Хорошо! Вы совершенно правы, Лидия Андревна! Я буду говорить откровенно. Надеюсь, что Гриша на меня не обидится... Ты не возражаешь против откровенности, а?

Очевидно, он спрашивал отца, поскольку тот ответил глуховатым и напряженным голосом:

— Нет, отчего же! Говори, что думаешь.

— Ну ладно, тогда уж извини — все напрямому... Я не буду тебе снова и снова твердить про *оттпель* и о необходимости творчески работать. В этом мы, несмотря на все твои эсхатологические настроения, как будто согласны. Подожди, не перебивай меня, изволь дослушать. Я ведь только начал. Что значит нынешняя ситуация? Она значит, что возник тот благоприятный для творческой личности исторический промежуток, который эта творческая личность *обязана* использовать. А ты словно не понимаешь этого!.. Ведь уходит твое *золотое время*. Уходит непонятно на что, на изобретение велосипедов, по сути дела. Зачем снова впадать в детство и решать нелепые вопросы, что будет, когда нас не будет?! И беседовать, навещая тещу с тестем, с малограмотным психопатом из их «вороньей слободки» о Боге, о бренности мира, о смерти... Темы высокие, конечно!..

— Ты напрасно иронизируешь, — перебил его вдруг отец. — Я понимаю, к чему ты ведешь, но позволь я тебе прежде хотя бы о «психопате», как ты его называешь, кое-что всё же скажу.

— Нет, не позволю, пока не договорю. Ратников — это так, случайно с языка сорвалось, заход в сторону. Я о твоей жене, Гриша, хочу поговорить.

Я ужасно мерз и слушать разговор на высокие темы вряд ли бы выдержал, но разговор о маме — дру-

гое дело! Я тихо переступил с ноги на ногу, поежился и остался стоять.

— Говори.

Я так и представил, как отец приложил ладони к лицу, так что виден стал только его большой лоб и глухо, из-под рук, произнес свое «говори».

— И скажу. — Пауза. Звуки шагов. — Впрочем, возражай пока, если хочешь. А то ты меня сбил немного с мысли. Ты будешь говорить, а я тем временем сосредоточусь.

— Пожалуйста. Глядишь, ты заодно и меня выслушаешь. Видишь ли, Лёва, некоторые люди считают, что очень трудно жить на свете, не веря, что после смерти хоть что-то от человека останется. Да-да, душа. Они даже не «считают», это их внутренне убеждение, точнее, та точка, на которой держится их жизнь. Неудачное выражение: «точка, на которой держится жизнь», не правда ли? Но ведь дело не в выражении, а в том, что иначе для них все обесмысливается. Никогда ни с детьми, ни с любимым человеком не встретишься... Это страшно. Да и детям как жить?.. Когда они верят, что после смерти увидятся с родителями в раю, они стараются и не грешить. Я вовсе не в защиту религии веду речь, только напоминаю тебе, что самое важное — решить проблему отношения человека к смерти. Что, дескать, останется после. Когда понимаешь, что через века придут совсем другие люди, а тебя совсем не будет и о тебе даже отдаленно не вспомнят — это потрясает. Это необходимо осмыс-

лить. Вот я и смотрю, как кто осмысляет. Это помогает и мне самому в этом вопросе разобраться.

— Я не понимаю, зачем все эти слова, — снова вставила реплику бабушка Лида. — Если Гришу так заинтересовала проблема бессмертия, я бы на месте Лёвы напомнила слова, которые Гриша почему-то забыл, слова его любимого поэта: «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм»!

То, что бабушка называла папу в третьем лице, страшно поразило меня. Но додумать я не успел.

— Напрасный упрек, мамочка, милая! Ты же знаешь, что если я во что до конца и верю, так это в построение социализма! Ты раздражена немножко, но поверь, что напрасно! Я ведь твой сын! И могу твердо сказать, что трудности и препятствия не могут меня охладить и угасить веры в светлые идеалы коммунизма!.. Даже если наши знамена порой несли не совсем чистые люди, я убежден, цвет их от этого не померк... Мы, мамочка, выстоим!.. Что бы ни было! Какие бы трудности на пути ни стояли! У человечества хватит сил их преодолеть — я уверен! А потом — наш народ и не такое выносил... Я только одно хотел сказать. Что суровый опыт обратил нас к идее ценности человеческой личности, одной, отдельно взятой личности! Мы поняли, что каждая — это целый мир. Ведь мы *для человека* строим новый мир. Мамочка, ну согласись! Разве не так?.. Вот я понял свою особость, а это означает — пересмотреть все свои связи с основными определениями человеческого бытия заново. Не принимать больше данной картины

мира на веру. Я, мамочка, не хочу больше быть «маленьким винтиком» в общем «механизме»...

— Да, Лидия Андреевна! В этом Гриша прав. Эпоха винтиков кончилась. И вы тоже должны признать, что это — великое благо для высокой идеи. Но именно поэтому ты, Гришенька, и не должен становиться винтиком на сей раз в семейном механизме!.. стань, наконец, самим собой! Ведь, если говорить честно, в ожидающей тебя научной и общественной деятельности Аня тебе не подмога. Тут нужна жена — спутница, товарищ, соратник...

— Не понимаю, чем тебя не устраивает Аня?..

— Меня? Не меня, а тебя она не устраивает... Ну вот, кажется, и дошли, кажется, теперь-то я сформулирую...

Во рту у меня появился от холода привкус оскомины, словно лизнул на морозе застывшее железо. Я присел на корточки, привалившись боком к книжной полке, стоявшей вдоль коридорной стены, обхватил руками плечи, а кончики пальцев, грея их, засунул под мышку. Вообще-то я знал, что подслушивать нехорошо, но в тот момент мне это даже и в голову не пришло.

— Ты был у нас оратор, поэт, чтец. Маяковского читал, комсомольский вождь, — яростным полупепелом говорил дядя Лёва. — А твоя Аня всегда была такой серенькой, извини уж, курочкой! Стройиненькой, аппетитной для несмышленишки, но ведь, признайся, по сути дела абсолютно без малейших общественных интересов. Такой она и осталась: эгоистичной, ограни-

ченной женщиной, которая тянет тебя в свой маленький квартирно-семейный мирок! Посмотри на своих друзей — мы свободны, хотя и женаты, а ты даже не можешь вечером остаться посидеть с нами, пойти в компанию, в гости к интересным людям. Нет, бывает, конечно, отрицать не буду, что ты и заходишь куда, но ведь крайне редко для свободного, развитого и интересующегося жизнью человека! Ты не можешь этого отрицать. Как это получилось, что ты ей подчинился — не понимаю! Поехали ко мне, хотя бы на время, ты вспомнишь, что такое — свободная жизнь, почувствуешь себя самим собой! Не навсегда — на месяц, хотя бы!..

«Мама назад не пустит», — с тревогой подумал я. Голова у меня снова закружилась, и к горлу подступила дурнота.

— Ну, а потом что? — спросил отец.

— Потом? Потом, если уж честно, я надеюсь, что ты не захочешь возвращаться. Потому что, конечно, месяц — это не решение вопроса, если ты вернешься. Я помню, как у вас начиналось. Аня ходила, тоненькая, большеглазая, и все молчала, и на тебя испуганно глядела. Ты, я помню, в этом молчании глубину природы увидел, да и вообще влюбился. Но молчала-то она не от глубины, а оттого, что ей нечего было сказать, а ты изумлял ее своим красноречием... Ты хоть сейчас это понял, наконец?.. Что ваш брак был ошибкой?.. У тебя есть твоя наука. Не погибать же тебе, как Ромео, из-за глупости, из-за бабы? К тому же достаточно мелкой и злой. Она ведь наверняка нарочно разбила портрет

Лидии Андреевны!.. По мне тут мудрее наш русский Стенька Разин... Тем более, что наверняка уже период, который я бы назвал «периодом Ромео», у тебя прошел. Если вы и были Ромео и Джульеттой, то не просто из двух враждующих домов, или родов, а из коренным образом различных, противоположных и враждующих по сути своей слоев. Слоя «изобретателей» и слоя «приобретателей». Слоя людей творческого горения, общественной жизни, с жадной духовной пищи и слоя обывателей, мещан, интересы которых не поднимаются выше устройства на хорошую работу, то есть легкую и высокооплачиваемую, а также разговоров о жратве и выпивке. И два слоя эти навеки непримиримы!

Слушая эту речь, я, несмотря на ледяной воздух, из-под входной двери катившийся по ногам, обливался потом. Слова дяди Лёвы казались убедительными и неопровержимыми; мне стало страшно, а в груди как-то холодно и пусто. Всё, видимо, сказано правильно, возразить нечего... Я себя чувствовал так, наверно, как должен себя ощущать человек, единственный среди человечества вдруг узнавший, что завтра — конец света.

— Из омута, в который ты попал, надо выбираться, пока не поздно, — продолжал дядя Лёва. — Бросай, бросай свои колебания и едем ко мне. Ты через месяц сам будешь вспоминать свои мучения, как дурной сон...

— Любая ошибка может и должна быть исправлена, — перебила его резко бабушка Лида. — Тем не менее, Лёва, надо подумать и о каком-нибудь другом

варианте, если Гриша не примет этот, в чем я теперь, пожалуй, даже и поддержу его. Гриша любит своего сына, и уехать, как видно, ему будет тяжело... А в таком состоянии много не наработаешь!..

Наступило молчание. От дурноты и слабости я принужден был с короточек окончательно опуститься на пол. Ноги затекли и дрожали от усталости и больше не поддерживали меня. Пол был холодный, но лицо горело, и в голове снова стало жарко. Я напряженно вслушивался, что скажет отец.

— Если бы и вправду не Борис, — наконец, виновато произнес он, — я бы, быть может, и ушел..

«Ну и уходи! уходи!» — насмерть вдруг перепугавшись и ощутив сразу ничем не заполнимую пустоту, почти закричал я про себя. «Пусть! пусть! пусть!»

— Быть может, — повторил отец. — Но все же я не сделаю этого, сейчас-то это исключается. Лёва! Мамочка! Вы поймите! Вы должны понять!.. Вот, Лёва, вообрази, что Ромео и Джульетта не убили себя, а повзрослели, любовь их поутихла, но у них появились дети. Ведь если теперь они поддадутся уговорам своих семей, погибнут не они — дети... Вот ты, Лёва, говоришь, что семья — отживающий институт, а ведь в России семьи-то толком и не было, настоящей, с традициями, с культурой духовной и внешней, которая не одно поколение создается... Я тебе назову такие: Аксаковых, Вернадских, Ульяновых, Маяковских... Такая семья — *это крепость*, в которой может развиваться личность...

Не помню, как я выдал себя: то ли чихнул, то ли раскашлялся — кашель у меня всегда был ужасный, неостановимый. Короче, получилось так, что отец, оборвав себя на полужразе, распахнул вдруг дверь и увидел меня, сидящего на полу с подогнутой под себя одной ногой и кашляющего.

— Ты что здесь делаешь? Так поздно ночью? — бросился он ко мне.

Я молчал, кашляя только.

— Подслушивал? — пришла ему догадка.

Я молчал и кашлять перестал тоже.

Отец схватил меня за плечи, начал приподнимать:

— Да что с тобой?! Ты весь горишь! Иди-ка сюда!..

Я молча выкручивался. Слезы, застряв в горле, мешали говорить. В глазах стоял туман, всё в нем кружилось. Сквозь какую-то завесу я видел стоявшую в коридоре бабушку: оперев руки в бока, она с недоумением и растерянностью наблюдала сцену. Выглянул и скрылся куда-то дядя Лёва: выражения его лица я не разобрал — в глазах отпечталось только темнокрасное пятно его вязаного свитера. Потом появилась мама, подбежала, наклонившись ко мне, и я отчетливо увидел след подушки — помятую складку на лице, но странно: я опять перестал слышать слова, хотя и не играл в немой театр марионеток. Это произошло помимо моего сознания и воли. Вместо слов (а ведь мама явно прибежала на папин возглас!) до меня доходил только глухой шум, от которого стучало в голове и болели уши. Хотя я вдруг лишился способности понимать слова, я мог видеть

перепуганные и встревоженные лица. Папа все поддерживал меня за плечи. Лицо у него было белое, глаза с тревогой, вопросом, надеждой смотрели то на меня, то на маму. Видимо, я здорово скверно выглядел, раз все так заволновались. Папа взял меня на руки, подчиняясь маминому жесту, и понес в постель. Почувствовав холод подушки, я облегченно закрыл глаза и больше уже ничего не слышал и не видел.

Как потом рассказывали, всю ночь я бредил, стонал, кричал что-то невнятное, чтобы отодвинули какие-то доски от лица, потому что я задыхаюсь, спрашивал почему-то про Ратникова с Витюнчиком: и, как наутро выяснилось, не случайно. В ту ночь Ратников подстерег Витюнчика и задушил его, затащив в свою комнату, и повесился сам. Записки он никакой не оставил. Правда, тогда это от меня скрыли. Да я бы всё равно не воспринял. Больше всего во время болезни мне мерещились дядя Вася Репкин и Анпална, я уверял всех, что на самом деле они — мои родители, чем окончательно напугал маму с папой, потом я радостно сообщал, что превращаюсь в кого-то другого и что это очень здорово, что у меня другие родители, и вдруг начинал плакать, рыдать, вопить: «Не хочу! Не хочу! Хочу моих маму с папой!» Надо полагать, в позднейших пересказах мой болезненный бред был романтически приукрашен, но ясно, что всех моих родных болезнь эта напугала изрядно.

Ночью температура у меня росла, к утру натянulo 41 и 9 десятых градуса. Вызвали неотложку, утром приехал врач из районной поликлиники. Заболева-

ние, однако, долго не могли определить — не только районные врачи, но и полдюжины платных докторов, которых вызванивала и оплачивала бабушка Лида; к концу болезни её назвали тяжелой формой гриппа.

Трое суток я лежал без сознания. Бабушка Настя ездила ко мне каждый день. На четвертые наступило пробуждение: вначале ощущение своего слабого, потного, лежащего на несвежих от болезни простынях тела, запах камфоры и скипидара, яркий свет, от которого слезились глаза. Пересиливая резь в глазах, я увидел пожелтевшие и худые лица родителей, на которых медленно проступала недоверчивая улыбка. Температура у меня упала до 38 градусов, и, разомлевший от несильного жара и радости выздоровления, я с чувством своего рода удовлетворения и душевного успокоения наблюдал, как дружно все суетятся вокруг меня, беспрекословно выполняют все мои прихоти, бегут, только слышат мой зов, заботятся, меняют простыни, подтыкают одеяло, читают вслух, либо приносят те книжки, какие я прошу, а главное, главное, похоже, что наступило примирение. В своем роде восстановленное единство мира.

Разумеется, были еще врачи, дважды в день уколы пенициллина, полоскания, но уже через три или четыре недели, крепко закутанный, в огромных валенках, я выходил на улицу. Об этой ссоре больше никто никогда не поминал, словно и не было такой. Фото-портрет куда-то исчез, и только спустя много лет я обнаружил его обломки в бабушкином архиве.

1975 г.

# Крокодил

роман

Памяти В.Ф.Кормера

Не оценив достаточно наших усилий, они кричали,  
очевидно удаляясь от предмета,  
что рассказ неизвестного  
не только противоречит естественным наукам,  
но даже и анатомии,  
что проглотить человека известных лет,  
может быть вершков семи росту и, главное,  
образованного — невозможно крокодилу, и т.д. и т.д. —  
всего не перечтешь, что они накричали...  
Тем не менее все очень скоро и окончательно уладилось...  
Оказалось ясным, что в рассказе неизвестного говорится  
отнюдь не о тех всем известных крокодилах,  
которые показываются теперь в Пассаже,  
а о каком-то другом, постороннем крокодиле...  
Сей же последний крокодил, конечно,  
мог быть и больше и вместительнее теперешних  
двух крокодилов, а следственно,  
отчего же бы он не мог проглотить известных лет  
господина, и тем более образованного?

Ф. М. Достоевский

По улице ходила  
большая крокодила.  
Она, она голодная была!

Слова уличные



## Глава I Похмелье

Лева уже давно привык к своей внешности человека с брюшком, для женщин не особенно привлекательного, но зато и не обольщался насчет своей удачливости у женщин. Широкое лицо, глубокие залысины на большом черепе, китайский разрез глаз, почти отсутствующий подбородок — он хорошо изучил свое лицо и не старался его украсить, находя особое удовольствие в неряшливости внешнего вида — вязаных свитерах, рельефно обрисовывающих его толстые бока, частой небритости, самых маленьких и дешевых очках, которые обычно покупают небогатые родители младшекласникам, да те еще бывают недовольны этими уродливыми круглыми маленькими стеклышками в пластмассовой оправе. Еще в молодости он пытался бороться с перхотью, обильно посыпавшей его голову, потом борьбу прекратил, махнул рукой, а перхоть взяла да и уменьшилась, почти совсем пропала, лишний раз подтвердив Лева, что его участь —

жить спустя рукава и не обращая на себя внимания, не заботясь о себе.

Так и в работе. Пьянку с друзьями и даже случайными собутыльниками он предпочитал карьере, так и прогуляв возможности. Человек он был талантливый, по молодости много начитавший в университете, обладавший хорошей памятью и, несмотря на пьянку, гибким умом, цену себе знал, знал, что и другие ему цену знают. Но когда из вышестоящего учреждения как-то позвонили в журнал и предложили ему прийти побеседовать о возможностях более перспективной работы за рубежом, он не пришел, а напился и позвонил туда совершенно пьяный, нес какую-то чушь о свободе выбора, о независимости личности, а потом просто бросил трубку. Но его ценили, фокус этот простили, и сотрудник вышестоящего учреждения сам приехал на следующий день беседовать с Левой. Но Лева, похмеляясь, напился, как ни удерживали его сотрудники-собутыльники, знавшие о приезде вышестоящего товарища. Леву хотели они даже спрятать, когда тот приехал, но Лева вырвался, подошел, широко и глупо улыбаясь, затем, нарочито груссирюя, спросил: «Я вас вчеге не о-очень э-эпатировал? Помилуй Бог, это вышло случайно!» И перекрестился. На престижную работу его не взяли, зато друзья, наблюдавшие со стороны эту сцену, помирали со смеху, и эта история служила темой почти двухнедельных рассказов.

Лева знал, что своим пьяным поведением дает материал для насмешливо-добродушных историй о нем,

иногда и сам над ними смеялся, то есть над собой, если не был в обидчивом настроении. Знал он и то, что спьяну порой говорит о таких вещах, о которых человеку воспитанному и образованному говорить считается неудобным, но он ничего с собой не мог поделать. Похмельным утром, просыпаясь, он с ужасом пытался вспомнить, что наговорил вчера, как его неудержимо несло, как он хвастался, как кого-то бранил, как рассказывал о таких интимностях своей жизни, что наутро хотелось удавиться. Но не давился, не вешался, а давал себе слово отныне молчать, не трепаться, пусть треплются другие, при этом в глубине души знал, что слова не сдержит, и в самом деле не сдерживал. Лева знал, что его тем не менее любят и прощают .ему многое. Когда говорили с ним друзья нормально, не подшучивая, они называли его Левой, когда же с подначкой — то Лео. «У китайцев Мао, а у нас Лео, двоюродный брат Мао». Шутка была дежурная и дурацкая, намекала на китайские Левины глаза и на его настоящее имя — Леопольд. Но полным именем он именовал себя только в официальных ситуациях. Он не стыдился своего иностранного имени, напротив, даже гордился, оно имело историю, а история — это то, считал Лева, что превращает животное в человека, да и вообще приобщает к мировому духу. И все же ему приятнее было называться Левой, как-то проще и понятнее для всех оно звучало.

Гораздо больше смущала его фамилия — Помадов. Вообще-то их коренная фамилия была Сидоровы. Но когда его отец, крупный партработник тридцатых



годов, стал входить в силу, ездить на «эмке», жить в большой квартире, он сказал, что Сидоровых много, что звучит это банально, и выбрал, как ему показалось, неординарную фамилию — Помадов. Тогда с переменной фамилии дело было просто: захотел, выбрал любую — и, пожалуйста, его прихоть удовлетворяли. Отцу казалось, что произноситься Федор Помадов (вместо грубо-рокочущего — Федор Сидоров) много благозвучнее. И пришлось Лева носить парфюмерную фамилию, вовсе не являясь любимцем дам. А друзья острословы всячески изощрялись над его фамильным прозвищем, расшифровывая его, особенно в те моменты, когда Лева адски напивался, как «пом. адов», «помощник адов», а то и просто усекая фамилию: Лева Адов. А один из них, Кирхов, даже словечко — термин пустил: «помадовщина». И все-таки его любили, несмотря на его неряшливость, несобранность, даже распущенность, безалаберность и словесное похабство, а Лева казалось, что такая тесная дружба и всепрощение дотянется до самой смерти, даже в смерти как-то поможет, что только на Западе, невзирая на его либерализм и техническое совершенство, а может, и благодаря им, каждый умирает в одиночку. А у нас есть общинный дух: на миру и смерть красна — недаром так говорят.

Лева шел рядом с Сашей Паладиным. Голова его раскалывалась. Сегодня было как раз то самое похмельное утро, когда вчерашний вечер вспоминался с содроганием и краской стыда. Друзья, всячески выражая ему сочувствие, повели в пивную, чтобы он

«полечился», пока не прибыло начальство. У Саши Паладина оказалась с собой пайковая вобла из распределителя, по поводу которой сардонический Федор Кирхов заметил, что вобла традиционное меню начальственных пайков: в двадцатые потому, что она заменяла дефицит, а в семьдесят девятом потому, что сама стала дефицитом, в магазине ее не купишь, как, впрочем, и тогда нельзя было купить. Кирхов сказал, что в пивную подойдет позже, и они двинулись вшестером. Впереди маленький бледный Скоков с длинноволосым, чернобородым Шукуровым, человеком с Волги, считавшим себя славянофилом. За ним широкоплечий, толстый и тоже бородатый Илья Тимашев, обнимавший за плечи их машинистку, черноволосую Олю, увязавшуюся за мужиками в пивную. Тимашева Лева недолюбливал, он казался ему слишком удачливым, даже кандидатскую сумел, сукин сын, защитить до тридцати лет. Сейчас ему тридцать семь, статьи по истории культуры модные пишет, договор на книжку заключил — короче, слишком сам по себе, но, как правильно ему сказал Вася Скоков: «Ты, Тимашев, вроде бы и с нами сидишь, водку заглатываешь, но пьешь ты не с нами. Ты как чужой». С этим Лева был согласен, Тимашев и ему казался чужим. То ли дело Саша Паладин, хоть и сын начальника, и у него тоже своя жизнь, родитель с машиной, шофером и дачей, распределитель, а «вой парень. Даже Кирхов и тот, хоть, конечно, настоящий *Воланд*, что-то в стол пишет, совсем другой круг друзей: сомнительные литераторы и художни-

ки, а пьет со всеми, всегда можно к нему завалиться и выпить или к себе притащить. А Тимашев, тот только на работе пьет, а потом ни-ни, сразу сваливает домой. А ему, Лева, уже под пятьдесят, сорок восемь, он не стремится к карьере, хотя давно мог бы стать доктором, не то что кандидатом, он второй раз ушел от своей второй жены Инги, с которой прожил двадцать шесть лет (его первая жена, Ленка, не в счет, с ней он месяцев пять прожил, и расстались они к обоюдному удовольствию). Да, с Ингой все было сложно, непросто. Он ушел от нее уже почти как полтора года, не думая о другой бабе (или держа это в тайниках сознания), но через два месяца появилась Верка, молодая машинистка из соседнего института, уходившая в тот момент от мужа; и в результате скоропалительного романа он отправился ее провожать на поезд в Гурзуф, да на этом же поезде с ней и уехал. Там они прятались по всему Гурзуфу от Веркиного мужа, а теперь Лева готовился на ней жениться, потому что она забеременела. Ему давно хотелось сына (у Инги детей не было, да, видимо, и не могло быть), но пока он снимал комнату на Войковской и жил отдельно от всех, потому что никак не мог научиться ладить с Региной, дочкой Верки от первого брака, да и Веркина мать, которая там часто бывала, его раздражала, потому что все время пыталась выразить свое недовольство их союзом.

Скоков с длинноволосым, громкоголосым Шукуровым уже свернули с Кропоткинской в Еропкинский переулок, за ними потянулись Тимашев с Олей. Лева

поморщился, он помнил, как на одной из редакционных пьянок Тимашев держал Олю за грудь, а она млела и перебирала его волосы. Лева хотел пристроиться и взялся было за другую грудь, но получил по физиономии. Он видел, что Оле очень нравился Тимашев, но знал, что он не только не женится на ней, но и в долгие любовницы не возьмет, слишком жены боится, а девчонка, дура, надеется. И раздосадованный своей неудачей и удачей Тимашева, он улучил момент и сказал ей тогда с прямоотой, которая была ему свойственна и которую тот же Тимашев называл бесцеремонной, сказал, чтоб знала, что ей не на что рассчитывать: «У тебя всегда будут неудачи в личной жизни. У тебя такой характер, что счастливой тебе не быть. Ты ужасно невезучая, это на тебе написано». Она расплакалась, а Саша Паладин, слышавший его рацею, сказал: «Ты что, Лео? Того? С ума сошел?» И принялся утешать плачущую дурочку. Он вообще был добрый. А Лева вслед им произнес, выпятив грудь: «Я сказал честно, то, что есть». Оля смотрела на него теперь искоса, а к Тимашеву была по-прежнему привязана.

Себе Лева казался человеком гораздо более прямым, честным и мужественным, чем Тимашев: захотел — и ушел от жены, захотел — и напился вчера в какой-то компании, наплевав, что его Верка ждала, а потом еще и переспал с матерью зазвавшего его к себе в дом мужика. Потому что он не трепло и не позер, а свободный человек и не боится общаться с простым народом. Голова у Левы трещала после вчерашнего:

пили и водку, и портвейн, и ром, а от такой мешанины, естественно, в глазах и в душе была муть: непонятно, как выкатился он из дому этого незнакомого мужика, который требовал от него остаться после всего, что было и что Лева проделывал с его матерью почти у всех на глазах, что с него за это еще бутылка, но Лева все же выскочил из подъезда и добрался-таки на попутке до Войковской. Нет, и в самом деле, думал он, ему вчера в дороге пришла в голову хорошая мысль, что *жизнь есть калейдоскоп*. Мелькают разные лица, меняются ситуации, возникают новые узоры... Это заслуживало *философского* анализа, но думать, сопоставлять и размышлять не было, однако, никаких сил. Он и ноги-то еле передвигал, прямо путем от слабости обливался, казалось, что не дойдет до нужного места, да и не дошел бы, если бы не приятели, которые невольно влекли его за собой. День обещался быть жарким, но дождливым. С утра парило и на горизонте вдалеке висела туча. Лева не поспевал идти быстро, и Саша Паладин приотстал с ним вместе. Еще утром, когда Дева весь растерзанный появился в редакции, дважды поздоровался с ответственным секретарем, на что получил от того двусмысленную ухмылку, потом спросил у кого-то бутылку пива, Саша сказал, что надо помочь товарищу, и вот они и отправились в пивную на Метростроевской, а Саша продолжал опекать его.

— Где это ты вчера так? — спросил Паладин, отчасти участливо, но и с немалым ехидством. — Все свои

матримониальные дела решаешь?.. Да расскажи, не стесняйся, вижу ведь, что хочешь.

Так уж было заведено в их компании, что о своих приключениях все рассказывали, немного, конечно, прихвастывая, но в сторону увеличения своей греховности, отнюдь не преуменьшения. Словно это были повествования о рыцарских приключениях, только Круглый стол короля Артура заменяла пивная стойка. Особенно как рассказчик отличался Лева, не скрывававший ничего и ничего не приукрашивавший. А Саша Паладин потом умел так воспроизвести любой рассказ приятеля, что он надолго оставался в памяти всех остальных, иначе забывших бы о нем. Именно с его слов все повторяли фразу Скокова, брошенную по пьянке пьяному же Шукурову: «Ты не гусар, ты улан! Понял? Ты недостойн быть гусаром. Ты улан, а не гусар!» Что он вкладывал в понятия «гусара» и «улана», на следующее утро не мог и сам Скоков объяснить, но фраза в пересказе Саши осталась, и стоило Скокову спьяну завестись, ему тут же говорили: «Да успокойся, мы понимаем, что он (любой противник Скокова в тот момент) улан, а не гусар. Чего с ним связываться!»

— Ты где ночевал-то? У Верки или на Войковской? — продолжал проницательный Саша. — Верка небось теперь переживает не хуже Инги. И чего это, скажи ты мне, друг мой Лео, таким балбесам, как ты, достаются такие хорошие бабы?

Лева невольно самодовольно улыбнулся. Ингу ребята уважали, куртуазно с ней раскланивались при

встречах, она была маленькая, худенькая, на ножках-спичках, интеллектуалка, постоянно боровшаяся за справедливость, человек, как и Лева, выпечки конца пятидесятых, верившая в Левину глубокую порядочность, в ум, в знания, в то, что он непременно не просто живет, а во имя благородной цели, очень страдавшая от его пьянства, думавшая даже образумить его тем, что двадцать лет назад прогнала его от себя, тогда-то Лева первый раз ушел от нее, потом вернулся. А когда ушел второй раз, она смотрела на него жалобными глазами, пучок волос казался ободренным собачьим хвостиком, она ужасно боялась в старости остаться одна, а детей у них не было. И чтобы успокоить свою совесть. Лева, уже давно не любивший Ингу, но прикипевший к ней за двадцать-то шесть лет почти совместной жизни, чтобы легче провести эту ампутацию части самого себя, принялся пить, а в процессе пьянки и познакомился с Веркой. Конечно, Инга была кандидат, дочь академика, почти не общавшаяся с отцом из-за его «консервативных взглядов», ее волновала судьба русской культуры, к ней приходили известные опальные и полуопальные мыслители и поэты, споры и разговоры могли идти ночь напролет, но Верка была на двадцать лет моложе, и, как Левае показалось, он в нее влюбился. Тем более что от Инги-то он уходил не к другой женщине, а потому, что все перегорело. А единства взглядов для совместной жизни Левае было мало, да и вообще хотелось пожить абсолютно свободным искателем приключений. К Верке

друзья относились проще, похлопывали по плечу, при встречах не упускали потискать. Кирхов, длинный сардонический красавец, на одной из пьянок, когда Лева отрубился, даже попытался затащить Верку в постель, приводя ей один только довод, когда она вырывалась из его клешней: «Ты что, дура? Не хочешь? Ты что, дура?» Попытка его оказалась безуспешной, но все равно она показывала большую раскованность приятелей в отношении к Верке. Да и была она, конечно, соблазнительней, моложе. Да, тут все было другое. Инга знала ему цену, потому что помнила его еще молодым, робким, непьющим, жадно глотающим книги, несмотря на ранний брак и быстрый развод, несмелым с женщинами, а Верка уже получила пятидесятилетнего мужика с брюшком, с залысинами, в очках, циничного, почти всегда пьяного, хотя и любимого друзьями и в журналистском кругу считавшегося талантливым. Верке льстило, что ее муж (так она его называла, без загса) пишет статьи за академиков, за начальников и других разнообразных деятелей и что его перо считается самым умным и бойким. А Инга считала это падением, ее мучило, что все почти их сверстники, гораздо менее способные, чем Лева, давно уже доктора или хотя бы кандидаты. В этих своих мучениях она даже доходила до абсурда. Как-то на похоронах двух докторов наук, попавших в автостастрофу, глядя на своих однокурсников, уже важных и солидных, Инга принялась трясти Леву за плечо и шептать зло: «Ты посмотри, все уже доктора, а ты

даже не кандидат». Лева был уже изрядно пьян, почти лежал лицом в салате и, размякший, хотел было пробормотать нечто жалобное, но находившийся тут же Кирхов хехекнул и сказал: «Х-хе! Доктора в гробу, а твой за столом, хоть, конечно, спорить не буду, он большой болван». Лева подхватил его слова, поднял голову из остатков пищи и заорал: «Дура! Зато я живой! Тебе лучше мертвый доктор, чем живой муж?!» Но вообще-то он ее понимал, слишком много вдвоем было переговорено, слишком много вместе прочитано, слишком много было общих кумиров и старых друзей. С Веркой все было иное: он давал читать ей любимые книги, которых она не читала раньше, из друзей те, что были второстепенными, недавними, выходили на первый план, старых он оставлял Инге.

— Ты что это, Лео, сегодня такой задумчивый? — не отставал Саша Паладин. — Или есть что вспомнить? Поделись с товарищами.

Они уже вышли к Метростроевской. Спутники их быстро перебежали дорогу, а Лева с Сашей задержались, пропуская машины. Лева и хотел бы рассказать про вчерашнее, как ни мучило его похмельное раскаяние и отвращение к себе за сделанное и наговоренное спьяну, но язык не ворочался в сухом рту. Он понимал, что эти рассказы вокруг пивной стойки заменяли исповедь, облегчали душу, а иногда в таком разговоре можно было получить и дельный совет. В совете он нуждался, ибо ночью, около дома на Войковской, ему такое померещилось, что жуть.

Началось все с пустяка, с бутылки на четверых. А точнее — чуть раньше: с выволочки, учиненной ему главным редактором. С утра они с Сашей выпили пива, затем приехал худенький, усатенький Сан Морковкин на своих «Жигулях», в багажнике у него нашлось полдюжины пива, и Лева с Сашей, сидя в машине, их тоже выпили. У Морковкина шла статья, и он всячески обхаживал Сашу, своего редактора. Но вчера у него не было денег, поэтому приехал он только с пивом. А потом Леву вызвал Главный. Он сидел за столом, сбоку сидел и. о. зам Главного — Чухлов Клим Данилович, а с другого боку пришлось сесть Лева.

— Садитесь, послушайте, чтоб тоже знали, — как всегда, отрывисто и косноязычно говорил Главный (Лева сел, стараясь дышать в сторону). — Просьба такая: сказать, — продолжал Главный, — чтобы по всем этим вопросам писать свои предложения, имея в виду, чтобы они были выполнимы. Надо выявить отношенческие и аналитико-размышленческие аспекты. Не только чисто отрицательное как бы положение, это я знаю, это тоже можно, отрицательное, но надо переломить ситуацию на позитивные рельсы. А факты сами по себе ничего не дают, набор фактов — это ничего, могут быть факты положительные и отрицательные. У нас есть недостатки, но надо, чтоб все знали, что мы в журнале стараемся планировать их улучшение. И в соответствующих инстанциях это известно, чтоб вы знали. То есть о чем я призываю? Собраться и честно поговорить. Ясно, будем говорить о работе в журна-

ле, это ясно. Если лучше устраивает утром, проведем утром. Можно Ленина посмотреть. Я сам, не из книг, такие цитаты у Ленина нашел, что прямо к нам о работе. Пришлось тексты почитать, а то, знаете, кочуют одни и те же, из книжки в книжку, а я взял и прочел. У него удивительно много умных мыслей было. Конечно, так впрямую, как он, сейчас писать нельзя, слишком смело, но мимоходом, вскользь, можно кое-что. Вот, скажем, вы, Леопольд Федорович, это же ваш отдел — предложите тему, актуальную, в связи с теорией развитого социализма, плюс острую. Не очень, но чтоб было понятно, что учение о развитом социализме имеет все черты настоящей теории. А вы зачем, кстати, так много у Гамнюкова в статье вычеркнули? Он пожаловался уже, мне Фетр Николаич звонил и говорил, что так недопустимо.

— Но вы мне сами сказали сократить на десять страниц. — подскочил возмущенный Лева, забывая дышать в сторону.

— А вы не пререкайтесь, — покраснев, крикнул Главный, — не пререкайтесь! Умейте слушать! Я не такое терплю, когда мне выговаривают. Я вам сказал последнюю оценку, а вы слушайте. Я прочитал сейчас, как вы сократили. Всю ночь сравнивал, а у меня другие дела есть, чтоб вы знали. Я один раз даже за голову схватился! Вы там целую мысль в одном абзаце вычеркнули. Надо с умом делать, а не кое-как. Я это вам прямо говорю, один на один, пока мы тут втроем сидим. Вы в работе должны показывать весь ум свое-

го мышления. В работе тоже нужна культура этики. Вот вы бы придумали актуальную проблему. Это будет все же полезней, чем пустое место. А ваш недочет в работе над статьей мы, ясно, зафиксируем в плане выговора. Вы, Клим Данилович, подготовьте проект выговора по Помадову, а я потом проправлю и подпишу. Что вы удивлены? Мы на этот вопрос по поводу вас с Климом Даниловичем уже обменивались. А потом, от вас пахнет, это тоже в проект вставьте.

— Да это же пиво, — запричитал Лева. Усатый и громоздкий Клим Данилович развел руками:

— Нехорошо это как-то получается, Леопольд Федорович, — и вышел из кабинета. Лева с ненавистью посмотрел ему вслед. Когда-то Чухлов, весьма посредственный автор, приносил целые портфели водки и коньяку, чтоб его только печатали, и ребята считали его своим, выпив с ним не один литр. Когда освободилось место редактора. Лева рекомендовал Чухлова на это место как «своего». Его взяли, и он очень пришелся по душе Главному. Тут ушел прежний зам, милейший человек, всегда под градусом. Когда он напивался, то спрашивал собутыльника: «Ты интеллигент в первом или во втором поколении?» Если собеседник отвечал, что во втором, то зам становился на колени и норовил поцеловать у интеллигента во втором поколении руку. «Ты — наша надежда, надежда России», — бормотал он при этом. Он ушел, а на его место поставили Чухлова, который смотрел в рот Главному и ввел систему сержантских понуканий: «Помадов! Тебя Главный вы-

зывает! Бегом! бегом!» Лева обижался, удивлялся, как незначительный сдвиг ситуации резко переменял отношения, раздражался, временами ненавидел Чухлова, но все его распоряжения выполнял, потому что давал их не просто Чухлов, а и.о. зам Главного редактора, то есть лицо, облеченное ответственностью. И когда, скажем, Чухлов хвалил его. Лева чувствовал, что испытывает от его похвалы удовольствие, потому что это похвала какого-никакого, а все же *начальника*.

— Я вам буквально все сказал, — бросил Главный. — Главное, плохо работаете. Это надо учесть.

Лева принадлежал к тому типу людей (и втайне знал это), что внутренне очень зависят от других, тем более от начальства. Лева не лез в чины, считая себя человеком духа, но как-то так случилось, что большую часть своего времени он тратил на правку, переписывание, а то и просто писание статей вышестоящих товарищей. Как и многие русские люди этого типа, Лева испытывал по отношению к начальству двойное чувство: когда его хвалили, бывал счастлив, хотя и не показывал приятелям виду и иронизировал над похвалами; зато, когда его ругали, Лева впадал в безудержный анархизм, переживая начальственное неодобрение как личную трагедию, обижаясь, как ребенок (который каждый данный момент воспринимает как скрещение всех смыслов мироздания, как центральный в его жизни). И Лева, несмотря на свое философское образование, относительности жизненных ситуаций понять не мог. Поэтому, возмущаясь несправедливостью (ибо статью Гамнюкова он

и в самом деле сокращал по распоряжению Главного, сделал это филигранно, лучше сделать было нельзя, но тот, паскуда, пожаловался, а теперь Главный отпирается и все на него валит). Лева хотел показать и нужность свою делу и поражение обратить в победу:

— Что касается Гамнюкова, Сергей Семеныч, то я выполнял ваши указания, — и, не дожидаясь возражений, скороговоркой, — что же касается актуальной проблемы, то, — далее Лева вызывал огонь на себя, но так вызывал, чтобы целым остаться, — можно поднять нравственно-этическую проблему — проблему алкоголизма и борьбы с ним.

— По Гамнюкову вы говорите неправильно, у меня в блокноте все записано, я вам указаний таких не давал, я и так отвечу, где надо, не беспокойтесь. А за то, что тему актуальную придумали, — молодцы. За плохое — ругаем, за хорошее всегда хвалим. Да, это острая тема. Это очень серьезно. Но надо подходить осторожно. Я посоветуюсь с Фетром Николаичем на этот предмет и потом вам скажу наше мнение. Короче, передам вам его дословные слова, чтоб вы знали. А пока скажу вам вывод, который уже говорил: плохо работаете, надо лучше. Идите и работайте, чтоб больше выговоров не было. А пока я вам прямо скажу. Я просто быстро думаю, что тема актуальная, но надо осторожно. Я записал к себе и окрутил, чтобы не забыть. И пока статей не заказывайте. Я вам потом скажу свое мнение, после Фетра Николаича. Но нужно давать преимущества только положительные. Это нужно.

Лева вышел из кабинета, чувствуя себя обиженным, как может быть ребенок обижен отцом, долго жаловался друзьям, говорил, что Главный губит журнал, пересказывал его словечки, а потом, совсем расстроенный, поехал вечером к приятелю-переплетчику, где с тоски и напился. Он попал к нему в мастерскую как раз к концу рабочего дня: верстаки, столы с кипами бумаг, ножи для обрезки бумаг, вделанные в стол, куски жести, большие ножницы, банки с клеем, шкафы с картонками, точильный станок, присобаченный к столу... Гешка, приятель, сказал, что есть бутылка водки. Они выпили. Потом ставил Лева, потом скинулись, взяли еще водки и портвейна. На закуску пошли плавленые сырки, батон белого хлеба, жареная килька, которой так аппетитно закусывать. Толстый огромный Толя, казавшийся страшным из-за своей расплывшейся от жира физиономии и чудовищных рук, наливал по полному стакану (стакан был один) и требовал «соблюдать норму». Так и пили по полному стакану, хотя Лева под конец стал жульничать, не допивать, а Гешка его защищал, говоря, что не надо насилия, что у каждого своя норма. Но Леву все равно повело, занесло, он начал выступать, хвалиться и одновременно жаловаться на своих близких. А потом они поехали к Толе, который, несмотря на свою громадность, жил без жены. В маленькой двухкомнатной квартирке была еще его мать, сравнительно молодая, по Левиным понятиям, баба, едва старше пятидесяти, которая выставила бутылку имбирной, а потом Толя

достал еще бутылку кубинского рома. Выпили, и тут Толина мать потащила Леву в соседнюю смежную комнату, где стояли кресло, шкаф и тахта, на которую она вместе слевой и повалилась. Дверь оставалась открытой, но Лева все равно принялся ее лапать и раздевать под добродушный Толин смех и регот мужиков из соседней комнаты. Гешка потом едва выволок его на улицу и отправил домой на попутной машине. Но все это был длинный рассказ, требовавший представления в лицах, а у Левы хватало сил, только чтобы вспоминать и терзаться.

— Эй, Пом. Адов, что с тобой? — потрянул его Саша Паладин.

Лева вздохнул.

— У Гешки вчера был. Пили с простым рабочим парнем, — говорил он, склоняясь к Саше интимно-доверительно, расслабляясь и сознавая, что говорит с похмельной подловатой и пошловатой откровенностью, но так оно было и легче и проще. — Потом поехали к нему. Представляешь? У него замечательная мать. Мать простого рабочего парня. Всем дает.

Саша хрюкнул.

— Неужели всем?

— Всем, — подтвердил Лева.

— И тебе дала? — не отставал Саша Паладин.

— А что? — Лева отодвинул голову и как бы со стороны посмотрел на Сашу, насколько хватало сил подыгрывая. — По-твоему, Помадов хуже всяких иных прочих, вроде Тимашева?



— Ну что ты! — воскликнул Саша и, подхватив его за локоть, быстро перевел через дорогу.

— Эй! — крикнул вдруг Шукуров, приотставший от остальных, уже подходивших к пивной. — По сколько кружек вам брать?

— Думаю, — сказал Саша, взглядом лекаря посмотрев на Лева, — минимум по три.

— Понял! — и Шукуров бросился догонять остальных.

А Лева сквозь сумрак в глазах и головную боль снова представил со стороны свои редкие, жирные, распадающиеся волосы, висящие до плеч, широкое рябоватое лицо, почти лишенное подбородка, вспомнил, как услышал реплику жены Тимашева (они говорили о нем, о Левае), что «пень красивее его» и что она не понимает баб, которые с ним спят, почувствовал свое грязное, давно не бывшее в бане тело и подумал, как будут над ним насмешничать приятели. Но тут же внутренне махнул рукой, предоставив все Сашиному остроумию.

С похмелья в голове по-прежнему проворачивались воспоминания вчерашнего дня. Дорога не мешала, потому что он вполне полагался на Сашу. Лева снова с недоумением и холодком в груди вспомнил свое вчерашнее видение перед входом в двухэтажный штукатуренный дом на три подъезда. Дом был барачно-коммунального типа, выкрашен оранжевой масляной краской, в темноте при свете двух одиноких уличных фонарей казался черным. Черными же казались шелестевшие от ветра деревья и кусты в палисадничке

перед домом. В этом-то доме Лева и снимал в коммунальной квартире комнату за семьдесят рублей. Преимущество было в том, что сдавшая комнату хозяйка жила не здесь, и Лева был сам себе господин. Именно в этом доме, почти тридцать лет назад, он тоже снимал комнату в течение нескольких месяцев своего первого брака с Ленкой, здесь ему тогда было хорошо. Томимый ностальгией, запутавшийся в отношениях с Ингой (которой он продолжал регулярно звонить и изливать свои горести, как самому близкому человеку), Веркой и ее дочкой Региной, Лева и бросился в этот дом отсидеться в одиночестве, хотя и помнил слова Гераклита, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но вроде бы и в самом деле поначалу было ничего. Соседи его не донимали. В трехкомнатной этой квартире одна комната стояла вечно запертая и пустая: там была прописана некто Ванда Габриэловна Картезиева, пожилая матрона, иногда наезжавшая с пятилетним внуком Осей, чтобы проверить, все ли в порядке, все ли сохранно, жила пару дней и уезжала. В комнате напротив входной двери жила молодая бездетная пара, все вечера глухо бранившаяся в своей комнате. Ссоры эти, как правило, кончались тем, что Марья, так звали молодую супругу, вытаскивала матрас и свою постель в ванную комнату и устраивалась там на ночь. Но поскольку санузел был отдельный, а на кухне тоже была вода, Лева это не мешало. Так что жильем своим Лева был доволен. Хозяйка оставила в комнате кроме тахты, стола, стульев и прибалтийской

гравюры, изображающей юную красотку с распущенными волосами, даже небольшой стеллаж с книгами. Книги, правда, были все больше по биологии: Мир животных. Мир растений — все это для Левы скучные многотомные собрания, трехтомник Брема для юношества, несколько детских книг и два собрания сочинений: пятитомник Карела Чапека и десяти томник А. Н. Толстого. Лева притащил сюда и несколько своих книг, вроде бы нужных ему для работы. Он собирался на основе своих статей составить книгу на актуальную тему, надеясь заработать на кооператив для себя и Верки. Тем более, что Верка ждала ребенка. Книга должна была называться «Социалистический образ жизни», и в ней он хотел провести прогрессивную, как ему казалось, идею, что образ жизни при социализме и социалистический образ жизни — разные понятия, и путать их нельзя, не искажая теоретического смысла. Но ему не работалось. Ничего толкового в голову не приходило, кроме вчерашнего пьяного сравнения жизни с калейдоскопом. Вчера, едуци к дому в машине, он, совершенно пьяный, решил, однако, что разовьет эту мысль о калейдоскопе — для себя, конечно, не для книги. Но встреча у входа в дом сбила его.

Вчера его напугало *нечто*. А Лева больше всего боялся (будучи человеком трусоватым, чего от себя не скрывал.) явлений несоразмерных, необъяснимых, так сказать, ирреальных и иррациональных, вроде маньяков, случайных убийц, генетических

преступников, «виктивных» женщин, которые навлекли несчастья на себя и на окружающих. Была у него однажды знакомая, такая вот виктивная, которая говорила: надо бояться людей с белыми глазами, поскольку они сами про себя могут не знать, что они потенциальные убийцы, но придет случай, и они неожиданно для себя совершат преступление. С ней, по ее рассказам, такие истории бывали: как-то один начальник отдела, приехавший к ней на именины с подарком, когда она вышла на кухню, принялся набивать ее лучшими книгами свой портфель, а поняв, что его клептомания обнаружена, попытался ее убить (причем «глаза стали как пуговицы»), бормоча: «Наконец я до тебя добрался. Я сейчас буду тебя резать на мелкие кусочки». Ее спасли случайно зашедшие соседи. И много такого она ему рассказывала, после чего Лева побоялся с ней общаться, потому что, по ее словам, она навлекала неприятности и на своих спутников. Да и память об одном случае, виденном им в детстве, когда выплеснулось из людей наружу нечто неуправляемое, иррациональное, страшное, тоже сидело в нем. Он отдыхал с отцом на теплом взморье. Они лежали на песке и наблюдали, как студенты или спортсмены — короче, группа ребят с руководителем — на каменистом склоне с криками «ура» подбрасывали вверх и ловили на руки одного из своих товарищей, видимо, в чем-то отличившегося. Он ослабленно и довольно взлетал в воздух и падал на руки товарищей, а четырехлетний Лева, лежа на пе-

ске, наблюдал эту сцену. Ликующие крики, желтый теплый песок, за спиной мелкое сине-серое море, и так приятно лежать, зарывшись в песок и пересыпая его с ладони на ладонь, при этом наблюдая жизнь «больших ребят». И вдруг при следующем, пожалуй, самом сильном броске вверх все (словно по команде, хотя ее явно не было, в этом Лева мог поклясться) отскочили в стороны, и парень тяжело спиной грохнулся о землю, грохнулся и остался лежать. Потом отец говорил, что мальчик сломал позвоночник и, если выживет, все равно останется калекой. Ребята не были его врагами, тем более не собирались убивать его, но что-то вот сдвинулось у них в сознании. «Интересно, в каком кругу ада им мучиться, — сказал Кирхов, когда Лева как-то рассказал ему эту историю, и добавил: — Понятно, что человек придумал ад, непонятно, как возникла идея рая». Даже сардонического Кирхова эта история привела в мрачное расположение духа. Вот таких сдвигов Лева и боялся больше всего. Они могли быть самого разного свойства — не только в сознании, но и в природе, в жизни, вообще во внешнем мире.

И вчера какой-то сдвиг произошел, только какой — Лева не смог понять. Хорошо, если в его сознании, а не сдвиг каких-нибудь там земных пластов или пластов жизни, если такие существуют. Лева вылез из машины, ввалился в подъезд, где было совсем темно, в доме стояла сплошная тишина, даже братья Лохнесские уже не гоняли свой магнитофон.

Лева зажег спичку, чтоб не запнуться о три маленьких ступеньки, ведших к входной двери (он жил на первом этаже). И вдруг кто-то, стоявший под лестницей, — такая высокая фигура, ее очертания успел уловить Лева, отличив от других предметов, наваленных и наставленных там же, — наклонился к нему и, дыхнув горячим дыханием, обжигающим руку, загасил спичку. После чего этот кто-то, эта огромная масса с горячим, смрадным дыханием, пахшая почему-то тиной, болотом, рыбой, какой-то слизью, загородила Лева путь и притиснула к стене подъезда, так что спиной Лева вжался в неровности стенной штукатурки, а руки и лицо уперлись в нечто холодное, мокрое и скользкое. Не трезвея, но мертвея со страха. Лева начал оседать, пока не соскользнул на пол. И вроде бы пасть, жаркая, смрадная, полная зубов, приблизилась к нему, а потом защелкнулась прямо перед его лицом, со звуком, напоминавшим коровье мычание:

— Му-у...

И лязгнула окончанием:

— Так!

Дальнейшего Лева уже не помнил: как встал, как возился с ключами, как открыл дверь, как добрался до своей комнаты, куда девалось чудовище, — все стерлось, исчезло из сознания. Воспоминания были дискретны, и Лева сейчас, с похмельной головы, не мог понять, было ли это привидевшееся «нечто» в реальности или в пьяном бреду.

\* \* \*

Они свернули около продуктового магазина, где иногда брали на закуску копченую скумбрию, и еще через пятнадцать метров уперлись в деревянный павильончик. Ребята уже были внутри и стояли в очереди.

— Берите Олю и идите занимайте места! — крикнул маленький Скоков. — Мы пиво принесем.

Трезвый Скоков был всегда обходительный, услужливый, но спьяну становился невыносим, выбрав себе жертву и обрушивая на нее поток желчи, где-то копившейся внутри, а утром снова каялся и переживал, причем искренне.

— И воблой займитесь, — добавил Шукуров.

С улицы было незаметно, что павильончик разбит на две части: крытую, где мужик в белом грязном халате разливал пиво, и открытую, где за длинными столами и набитыми перпендикулярно к забору, окружавшему это пространство, досками, которые тоже служили стойками, толпились мужики и пили пиво. Туча напоззала, но еще не напоззла, солнце светило, было жарко. Им удалось занять место у забора, протиснувшись между компанией военных — старлеев и капитанов — и плейбоев, очевидно студентов, в американских джинсах и импортных куртках, высоких спортивных красавцев. Саша принялся на газете чистить принесенную воблу, а Лева тоскливыми глазами искал, когда же среди алкашей и командировочных в темных костюмах проявятся знакомые лица.

— У тебя такой трагически-сосредоточенный вид, — заметил, усмехаясь, Саша. — как будто кружка пива — венец твоих желаний. Как у того мужика с золотой рыбкой.

— Какого еще мужика? — неохотно спросил Лева, голова была тяжелая, темная, больная, напрягать ее не было сил.

— Из анекдота, — напомнил, продолжая усмеяться, Саша. — Мужик один с такого же похмелья, как у тебя, пошел к пруду — воды хотя бы напиться — и случайно за хвост ухватил золотую рыбку. Та, натурально: отпусти, мол, а за это исполню три любых твоих желания. «Хочу, — говорит мужик, — стоять за стойкой, а в руках чтоб кружка пива и еще пара передо мной». Глядь — и впрямь стоит он за стойкой, перед ним пара пива и в левой руке тоже полная кружка. А в правой — рыбка. Рыбка ему и говорит: «Ну, а второе твоё желание?..» Мужик хрипит: «А второго мне и не надо» — и хлоп рыбку головой об стойку и принялся, как воблину, ее постукивать и обчищать. Вот так, — Саша постучал воблой по доске и, очищенную, аккуратно положил на газету.

Лева с трудом шевельнул пересохшими губами, изображая улыбку. Но тут он увидел Скокова и быстро пошел к нему навстречу, взял из рук, чтоб помочь, пару кружек и еще по дороге к стойке начал жадно пить. Утолил жажду, и в голове вроде бы немало посветлело. Боль отпустила.

## Глава II

### Повесть о Горе-Злочастии

Подошли Шукуров и Тимашев, каждый нес по шесть кружек. За оставшимися сходили Скоков и Саша Паладин. Наконец, устроившись и угомонившись, принялись за пиво. Первые несколько минут, как водится, пили молча, насыщаясь. Потом, выпив по кружке, отвалились, как насосавшиеся крови клопы, достали сигареты, закурили, и затеяли разговор.

— Хоро-шо! — похлопал себя по животу Скоков.

— Честно сказать, я после вчерашнего только сейчас в себя пришел, — помотал своей черной бородой Шукуров, одетый в красивую шерстяную кофту, вязанную очередной женой. Несмотря на прокламируемое им славянофильство, требовавшее крепости брачных уз, он оставался восточным человеком и женился уже в пятый раз — по специальному разрешению.

— А ты что, вчера тоже?.. — спросил Тимашев.

— Да мы с Сашкой вчера напузырились, — пояснил Шукуров. — К нему автор приходил, «Посольскую» водку принес.

— Ото! — завистливо воскликнул Скоков.

— Похоже, хорошо вам, сволочам, было, — глуповато заулыбался Лева.

— Да и тебе, похоже, тоже неплохо, — отозвался Саша Паладин.

Темноволосая Оля молча отхлебывала из своей кружки пиво, поглядывая исподлобья на них, и каж-

дый раз расцветала навстречу взглядам Тимашева, который морщился и старался на нее не смотреть. Судя по всему, думал Лева, она ему уже надоела. Тимашев был одет в джинсы и широкую куртку с большими карманами, в которой вечно таскал книги, даже когда они ходили в пивную. Он считался интеллектуалом, и сам себя таковым считал, и это раздражало Леву, потому что раз ты бабник, то и будь бабником, нечего изображать из себя интеллектуала. А раз женат (а Тимашев был женат) и имеешь ребенка, то не влюбляй в себя глупеньких девочек, трахайся с опытными бабами. Вот Кирхов — другое дело, он ведет разнузданный образ жизни и не скрывает этого, не то что Тимашев, который хочет все успеть: и науку делать, и по бабам шляться, и выпивать, и семьянином быть. «И рыбку съесть, и в лодку сесть», — подумал Лева смягченной до эвфемизма половицей. Хотя и у Кирхова, несмотря на всю его доброжелательность и обаяние, была черта, которая не нравилась Леве, — склонность к макабрическим шуткам. Как-то, с полгода назад, придя с ним к Верке и тоже поднапившись, Кирхов вдруг заметил за столом, когда Верка на минутку вышла из комнаты, что у еды, которой Верка кормит Леву, странный привкус, — наверно, Верка потихоньку травит его за то, что Левка пьет. «Странно, — сказал тогда Кирхов, — и года вместе не прожили, а уже решила отравить. Чем ты, Помадов, ей так досадил?» Лева и всегда-то был мнительный, а тут спьяну взревел и бросился вон из дому, решив умереть на помойке, раз его

травит любимая женщина и никому он не нужен. На помойке его и нашли. Таща его домой, Кирхов сказал Верке (это по ее рассказам) не без издевки: «Ну что ж, замечательный мужик! Его помыть, почистить, с ним еще жить можно. А вообще-то — типичная *помадовщина*». Вспомнив это и как на следующий день Верка с трудом сумела убедить его, что Кирхов шутил, да и сам оставшийся ночевать Кирхов сказал: «Ты чего, старик, совсем?» — Лева вдруг подумал, что, рассказав о вчерашнем существе, он даст всем лишнее доказательство своей повышенной мнительности. Поэтому, взгрустнув, он решил послушать, что говорят другие.

— Культура, — разглагольствовал Тимашев, — пусть даже материальная культура, осуществляет связь времен, она носитель и хранитель духовных ценностей, она заставляет меня понять, что я неразрывное звено в цепи ее существования и изменения. Но изменения внешнего, потому что внутренне мы такие же. Вот старые дома девятнадцатого века, с которыми мы сталкиваемся глазами, когда идем в пивную, они ведь как-то действуют на нас, заставляют вспоминать, что Кропоткинская — это Пречистенка, а Метростроевская — Остоженка!.. И Пушкина тут же невольно вспоминаешь: «Когда Потемкину в потемках Я на Пречистенке найду. Пускай с Булгариным в потомках Меня поставят наряду». Вот уже невольно мы соприкоснулись с высшей точкой русской культуры — с Пушкиным — и, хотя бы в именах только, с основным конфликтом его времени, основным проти-

востоянием: Пушкин и Булгарин как два символа извечного антагонизма русской культуры. И вот так — через здания — мы общаемся уже с Пушкиным...

— Ты с пивной кружкой общаешься, Тимашев, — рассмеялся Саша Паладин.

— Да и вообще ерунду говоришь, — сказал Скоков. — Это ты по себе меряешь. Ты про Пушкина, Булгарина, Пречистенку и Остоженку знаешь, а я, например, не знаю. Это я к примеру говорю. И получается, что ты укорил меня, что я мало книжек читаю, вот и все.

— Ты не прав, Вася, — промолвил, поглаживая черную бороду, Шукуров. — Илья тебя за дело укорил. Русскому человеку необходимо знать русскую культуру во всех ее проявлениях. Это только обогатит его. Русская культура самая богатая в мире, а мы, как говорил Пушкин, ленивы и нелюбопытны, а потому и бедны.

— Да нет, я это знаю, ты пойми, — схватил его за руку Скоков. — Я не то вовсе хотел сказать. Вот Илья, он внук профессора, а я из простых, у меня отец — плотник был, ведь Тимашев же должен предположить, что я чего-то могу не знать. И подумать, чтоб не обидеть меня.

— Ладно, Скоков, заткнись, — досадливо прервал его Саша. — Заладил! Ты еще не пьян. Представь себе, что Тимашев не гусар, как ты думал, а улан, и успокойся.

— Подожди, Саша, я только хотел у Ильи спросить...

— Да помолчи ты, — снова прервал его Саша. — Меня вот, например, интересует, чего это наш Лео молчит и что это за новая книжка у Тимашева в кармане...

— Ты, Саша, прямо как сенешаль — распорядитель за Круглым столом короля Артура, а мы все странствующие рыцари, — куртуазно ухмыльнулся Тимашев. — А вот и наша прекрасная дама, — и он погладил по плечу влюбленно посмотревшую на него Олю.

Сравнение с застольями короля Артура их пивных посиделок было придумано Тимашевым, но как же безвкусно часто он это сравнение эксплуатирует, подумал Лева раздраженно.

— Саша у нас, конечно, рыцарь, — засмеялся Скоков. — Паладин.

Это на самом деле была шутка Кирхова, который и объяснил Скокову, что такое паладин.

— А что? — отозвался Саша Паладин. — Быть может, в каком-нибудь другом измерении, в неведомом царстве-государстве я и был бы в самом деле рыцарем. — От этой мысли его безбровое, похожее на смятый хлебный мякиш лицо даже засветилось.

— Ничего! Твое происхождение от Афины Паллады не менее почетно, — заржал Лева.

— Все может быть... — сказал мистически настроенный Шукуров. — К тому же и Афина была воительницей.

— Я разве спорю? — ответил за Скокова Тимашев, доставая из широкого кармана нетолстую книжку. — А книжка замечательная. Я уже ее третий день с собой таскаю. Называется «Повесть о Горе-Злочастии». Семнадцатый век. Вполне подходящий материал для

размышлений о метафизике русской культуры. Могу прочесть.

И, не дожидаясь ответа, он открыл книжку:

— Всего только начало на пробу. Да и его достаточно.

А в начале века сего тленного  
сотворил Бог небо и землю,  
сотворил Бог Адама и Евву,  
повелел им жити во святом раю,  
дал им заповедь Божественну:  
не повелел вкушати плода виноградного  
от едемского древа великого.  
Человеческое сердце несмысленно и неумичиво:  
прелстился Адам с Еввою,  
позабыли заповедь Божию,  
вкусили плода виноградного  
от дивного древа великого;  
Господь Бог на них разгневался,  
и изгнал Бог Адама со Еввою  
из святого рая из едемского,  
и вселил он их на землю на нискую.

Не слабо? В начале не слово было, не дело, как мучился там некий Фауст. В начале был стакан вина. В чем был первородный грех? Не в том, что сорвали плод с древа познания и стали как боги, до этого мы не дошли, нет. А в том, что сорвали плод с древа виноградного и нажрались до поросычьего визгу. Так и осталось: не к духу стремимся, а с собой боремся, как

бы не нарезать. У тех — быть или не быть, а у нас — пить или не пить. Отсюда и «карамазовщина» вся.

— Зато Запад никогда Бога не знал, — вступился Шукуров.

— Ты что, одурел? — хлопнул его по плечу Саша Паладин. — Митя Карамазов Бога знал, а вот Гамлет нет! Так, что ли?

Но тут вмешался Лева, допивший уже вторую кружку и почувствовавший себя в силах говорить:

— Все это чушь, что говорил Тимашев. Россия не стремилась к Богу, но он в ней пребывает, поскольку в ней нет гордости. Она никогда не рвалась к личностному осуществлению. Был, конечно, эпизод — прошлый век, всякие там «профессорские культуры». Ну об них нам Тимашев понаписал. Хорошо написал, разве я что? Но Россия давно поняла, что жизнь есть калейдоскоп, и перетряхивать его человеку не дано. Была Остоженка, стала Метростроевская, как эта улица будет называться через сто лет, никто не угадает. Да каждый из нас по собственному опыту это знает. Была одна женщина, потом другая, потом третья. Мы, что ли, выбираем? Жизнь за нас выбирает, вот и меняется узор. Скажем, был Чухлов говном, а теперь Чухлов над нами начальник... — пытался Лева донести до всех и до самого себя пришедшую ему вчера в голову идею.

— Ну, наконец валаамова ослица заговорила. Оклемался? — спросил ласковым голосом Саша Паладин.

— Оклемался, — радостно отозвался на сочувствие Лева.

— Тогда должен понимать, что Клим Чухлов остался говном, — усмехнулся Саша.

— Мне все же непонятно, — свысока и иронически бросил Тимашев, — какой философский смысл Левка вкладывает в идею калейдоскопа. — и отхлебнул пива. А Лева подумал, что Тимашев так высокомерен к нему, потому что хочет самоутвердиться за его счет, списывая его как пьяницу из «серьезных» собеседников. И озлился.

— Жизнь — это калейдоскоп, — угрюмо повторил он. — Я пока не могу пояснить точнее. Представь себе только, как меняются узоры в истории, раз не видишь вокруг себя.

— Эй, — перебила их вдруг всех Оля, — а как это Горе-Злочастье выглядит? — Видно, все время разговора она думала о заглавии.

— Боишься? — ухмыльнулся Лева. — Правильно. Женщине нужно бояться.

Тимашев не отреагировал на его выходку, он листал книгу, а затем сказал:

— Странно, но никак. Поразительно мудро: оно принимает разные обличья, но является к молодцу, попробовавшему жизни кабацкой.

— Он все время на нас намекает, — сказал Скоков о Тимашеве.

Рядом раздался взрыв смеха. Смеялись плейбои.

— Ну и нормально, — говорил один. — Засадил я еще один стакан и обращаюсь к фраеру: «А теперь, сударь, после двух стаканов даю вам форы пять очков и все равно берусь у вас выиграть».



Лева отмахнулся и от них, и от Скокова:

— Тимашев, ты почему мне не отвечаешь?

— А чего говорить? В истории есть логика развития. Ты же все-таки философский факультет кончал, тебе ли не знать? Только понимать эту логику надо не примитивно. Продолжается процесс антропогенеза, человечество еще совсем недавно перестало быть диким и доисторическим, во внешних, по крайней мере, формах, слой цивилизации тонок, все время рвется. А в твоей идее, точнее, даже идее-образе жизни как калейдоскопа все берется вне развития. В таком случае смена динозавров людьми не закономерна, может быть и наоборот, если кто иначе перетряхнет твой калейдоскоп...

Он продолжал говорить, и Лева краем сознания ловил его речь, но его поразили вдруг слова «твоя идея», «твоя идея-образ». Быть может, наконец, к пятидесяти годам, он и на самом деле нечто настоящее и свое придумал, быть может, даже что-то вроде платоновской «пещеры». Надо только сосредоточиться, все продумать и попусту больше про это не болтать, не разбазаривать, пока другие не подхватили. Он медленно жевал кусочек воблы, допивая уже последнюю свою кружку, хотя остальные выпили по полторы пока.

— Ты нам лучше расскажи, Леопольд Федорович, чем мечтать, с чего это ты вчера так нарезался? Неужели из-за того, что Главный тебе выволочку устроил? А ты заперевживал... — заметил следивший за ним Саша Паладин. — И с чего ты такой задумчивый? Оппонента своего вызвал на разговор, а сам не слу-

шаешь? Вспоминаешь, может, простого рабочего парня и его мать? — Лицо у Саши сморщилось, он явно собирался разрядить ситуацию и потешить собеседников за счет Левы.

Темноволосая высокая Оля опять встряла в разговор:

— Ой, а я давно хотела вас спросить, почему вас так странно зовут — Леопольд Федорович? Отчество-то вроде наше, а имя какое-то нерусское... Вы от каких родителей?

Опять поморщился Тимашев, стараясь не глядеть на Олю. Лева-Лео-Леопольд тоже нахмурился. Как ей объяснить, дура, что такое двадцатые и тридцатые годы? Что такое горение, жертвенность, предощущение наступающего мирового братства?.. Как рассказать об отчине его матери, спартаковце Леопольде, бежавшем из Германии, поразительно добром и честном человеке, по рассказам матери? В его честь она и назвала старшего сына. И его отец, крупный тогдашний партработник (это потом он сел на мель), не возражал, чтоб сыну дали немецкое (или польское?) имя. Во время войны родные, правда, стали называть его Левой, даже хотели было имя переписать на Льва, но так этого и не сделали. Не объяснять же этой девице о хранимом в сердце, хотя и не действенном давно идеале, да и другим ни к чему. Разница в пятнадцать, а с Олей, пожалуй, в двадцать пять лет, больше чем в поколение очень даже чувствовалась. Об этом он мог только со студенческим другом своим Гришей Кузьминым говорить. Он был той же школы и того же воспитания.

«Мы с тобой одной крови, ты и я», — шутил раньше Гриша, повторяя «заветные слова джунглей» из «Маугли». Другим он не мог бы даже спьяну об этом рассказать, даже в исповедальном самобичевании. Это было святое. И хорошо бы съездить к Грише, подумал Лева. Бывал он у него теперь редко. С тех пор, как не удался один из его грандиозных проектов. Он так верил в Гришин талант, что решил развести его с Аней, его женой, даже комнату ему подыскал, где Гриша мог бы сидеть и творить. Но тот не сумел порвать с семьей, остался при жене и сыне Борисе, они с Гришей продолжали общаться, но Аня встречала его всегда с неохотой, уходила в свою комнату, хотя от дома ему не отказывала. И постепенно Левины визиты делались все реже, да и образ жизни у них был разный — домашний у Гриши и сравнительно вольный, гульной, «журналистский» у Левы. Да, поехать к Грише, родному Гришеньке, с ним поговорить, хотя он, наверно, презирает его за пьянство, но поймет, потому что близкие все же люди...

— Леопольд Федорович! — глуповато-настойчиво повторила темноволосая Оля. — Так от каких вы родителей?

Ответил рывшийся в своей книге Тимашев:

— Я скажу.

И снова прочитал:

Был оногде у отца, у матери,  
единый сын свято крещеный,  
и возлюбили его отец и мать,

учали его учить, наказывать,  
на добрые дела наставляли:  
«Милое ты наше чадо единое,  
послушай ты учения отцовского,  
послушай ты молитвы материнския,  
благословения родительского...»

Читал Тимашев хорошо, с выражением.

— Bravo, — сказал Саша. А Оля захлопала в ладоши:

— А какие наставления? — воскликнула она.

— Пожалуйста, — Тимашев опять открыл книжку:

Не ходи, чадо, в пиры и в братчины,  
не садися ты на место большее,  
не пей, чадо, двух чар за едину,  
еще, чадо, не давай очам воли,  
не прелщайся, чадо, на добрых красных жен...

— Ну ладно, хватит! — Лева протянул руку и взял у Тимашева книгу. — Дай почитать. Я сам разберусь, что тут к чему...

Все засмеялись.

— Лео, я на очереди, не тяни, — сказал Саша.

— А я за тобой, если Илья не возражает, — вопросительно посмотрел на Тимашева Шукуров.

— Да ради Бога, — ответил тот. — Пусть только Помадов ее не посеет спьяну...

— Не посею, — Лева зажал книгу под мышкой. — А тебе, настойчивая, — повернулся он к Оле, смо-

тревшей на него насмешливыми глазами, потому что чувствовала, что все слегка надлевой сейчас подсмеиваются, а Леве было обидно такое ироническое отношение от глупенькой девчонки-машинистки, и похмельное раздражение вспыхнуло снова, — я тоже скажу. Почему, спрашиваешь, так меня назвали да кто были мои родители? Не твоего ума это дело, девочка. Да и вообще что с тобой о прошлом говорить — все равно не поймешь. А вот не хочешь ли о будущем? О твоём будущем? В каком обличье на тебя, дуручку, твоё Горе-Злочастье накинется? Судя по лицу твоему и по дурацкой настойчивости, которая мужчинам не нравится, счастья тебе в личной жизни не видать. Никто тебя не полюбит так, чтоб надолго. Мужа хорошего не найдешь, не будет у тебя мужа. А если и будет, то изменять тебе будет на каждом шагу. Такие, как ты, для этого словно рождены и предназначены, — добивал взрослый мужик молоденькую девицу, повторяя уже однажды говоренное.

И добил. Она широко посмотрела на него, подбородок задрожал, она закрыла лицо руками и вдруг зарыдала самым настоящим образом, всхлипывая, вздрагивая, хотя и тихо, еле слышно, стесняясь чужих окружающих. Мужики переглянулись в смущении, а Оля быстрыми шагами пошла, почти побежала из пивной.

— Лео, это жестоко, — сказал Тимашев и пошел следом за Олей.

— Да, Лео, пожалуй, чересчур, — сказал Саша Паладин.

Лева и сам чувствовал, что поступил кое-как, нехорошо поступил.

— Ну и пусть, — с отчаяньем бросил он, — что мне теперь, удавиться? — В юности в такой ситуации он, может, и удавился бы, во всяком случае бросился бы наутек, страдал бы не один день, теперь же жизненный опыт подсказывал ему, что обойдется, образуется, рано или поздно, а образуется, ничего с собой из-за его слов эта Оля не сделает. — Надо мной смеяться можно, а мне нельзя, — продолжал тем не менее оправдываться Лева, напоминая себе, каким он был в детстве, когда, сбивши с ног противника, даже превосходящего его, он пугался, что противник ударился головой об пол и теперь непременно умрет, а причиною он. Лева, и это бывало особенно страшно, хотя его противники, мальчишки из коммунальных квартир и барачков, привыкли переносить и не такие удары, но об этом Лева тогда не подозревал, лишь спустя годы понял. — У меня, может, тоже неприятности, их у меня помимо всяких баб хватает. Я вчера в своем подъезде крокодила встретил, — вдруг добавил он, не переводя дыхания, внезапно осознав, кого напоминает ему это странное «нечто» вчерашнее, а осознавши, тут же и выпалил это, чтоб неожиданным этим сообщением отвести от себя упреки в жестокости по отношению к Оле.

— Ко-го? — переспросил Шукуров, взявшись за свою черную бороду и поверх Левиной головы сделал глазами знак Саше Паладину, что, конечно, слевой не все в порядке, но раздражать его не надо. Лева

заметил и ответный взгляд более пронизательного Саши Паладина, который означал: «Не суетись, давай послушаем».

И Лева, захлебываясь, добросовестно пересказал, что было.

— Ну это ничего, — похлопал его по плечу Шукуров, облегченно вздыхая, — спьяну чего только не привидится! Мог какой посторонний быть, — пояснил он, — а могло и никого не быть. Просто перебрал ты, вот чертовщина всякая и мерещится.

— Что же он тебя не съел-то, раз крокодил? — пошутил Скоков, тоже успокаивающе похлопывая Лева. — Или пьяных у крокодила желудок не принимает? — он засмеялся. — Понимаешь, я думаю, Игорь Шукуров прав, ты перебрал вчера, вот и результат. Ты похмелись сейчас и давай домой. Хочешь, я тебе еще пива принесу?

Лева видел, что ребята успокоились. И ему самому стало спокойнее.

— Ты, Лева, в этом случае напоминаешь мне обезьяну из известного анекдота про крокодила и обезьяну, — сказал Саша Паладин, анекдотом как бы подводя итог возможным волнениям: раз он рассказывает анекдот, значит, все в порядке. — Для невежественных рассказываю вкратце. Обезьяна с крокодилом нашли бутылку водки. Поспорили, кому достанется. Договорились, что тому, кто дольше под водой просидит. Вот крокодил нырнул, залег на грунт и ждет, чтоб времени прошло подольше. Минут через де-

сять — пятнадцать думает: «Ну уж столько обезьяне не высидеть!» Выныривает, смотрит, а обезьяна уже устроилась на верхушке пальмы, совершенно пьяная, и говорит: «Ну, зеленый, ты и ныряешь! Просто блеск!» А пустая бутылка под деревом валяется. Вот с тех пор крокодил эту пьяную обезьяну повсюду и ищет. И тебя, Лева, за такую и принял.

Все заухмылялись, и Скоков заторопился сказать:

— Дозвольте и мне встрять. Ты, Лева, как в другой раз увидишь крокодила, ты ему словами обезьяны из другого анекдота. Вот плывет крокодил по реке и видит, что в кустах обезьяна возится. «Ты что там ищешь, обезьяна?» — это крокодил спрашивает. А она отвечает: «Грыбы». «Какие тут могут быть грибы, дура ты!» — говорит крокодил. А она ему: «Грыби отсюда, говно зеленое!»

Снова все засмеялись.

— Дурацкая шутка, — ответил Лева, однако улыбаясь, успокаиваясь и радуясь, что на него не сердятся из-за Оли, значит, вроде бы выходку простили. — Крокодил или не крокодил, но кто-то болотной тиной всю одежду мне запачкал.

— В лужах не надо спьяну валяться, — сказал наставительно Саша Паладин и вдруг хлопнул себя по лбу: — Эврика! Что же касается крокодила, то я понял, почему он тебе померещился. Помнишь, мы вчера ходили к Симке Корешкову, ну художнику из «Крокодила», из журнала «Крокодил», не смотрите на меня, как на Лео, я здоров, ну что ты не помнишь,

ну тот, у которого в кастрюле двадцать семь бутылок было?.. Вспомнил?

— А? Да, — ответил Лева и захохотал своим обычным дурным басом.

Действительно, вчера они отсюда же и примерно в это же время отправились к случайному Сашиному приятелю, случайно же здесь встреченному, художнику, знакомством с которым Саша не то чтобы гордился, нет, но оно ему льстило — все же художник. Они так же зашли попить пива, только стояли не у забора, а за столом, а напротив них пил пиво маленький человечек в шляпе, чем-то похожий на Мандельштама, ноги у него под столом заплетались; вытащив пачку «Примы», он все никак не мог ее раскрыть, потом долго и упорно ронял сигарету на стол, поднимал ее, наконец прилепил ее к губе и тут обнаружил, что у него нет спичек, оперся о стол, мутными глазами посмотрел на стоявших визави Леву и Сашу и попросил прикурить. Тут Лева заметил, что Саша давно улыбается, глядя на маленького человечка. Оказалось, что они знакомы. Саша поднес тому спичку и спросил, где это он с утра успел так набраться, ведь еще нет одиннадцати. Семен Корешков ответил, что дома и что у него дома еще осталось целых полных двадцать семь бутылок. Ни Саше, ни Лева пить не хотелось, но двадцать семь бутылок произвели впечатление, и, переглянувшись, они решили, что распить на халяву бутылочку было бы неплохо. Да и вообще, сказал Саша, посмотришь, как живут художники, он здесь рядом, через дорогу.

И они пошли к художнику, страхуя его с обеих сторон, потому что того заносило то в одну, то в другую сторону, он спотыкался, ноги у него заплетались и переплетались, и было непонятно, как они вообще его по земле носят. Жил он и в самом деле в доме через дорогу, за магазином «Минеральные воды», в старом, видимо, когда-то доходном доме, «на первом этаже», как пояснил художник, путаясь в слогах. Но, войдя в подъезд, они увидели, что к первому этажу еще ведет довольно крутая лестница, один, но большой пролет. Семен поднимался, роясь в карманах, роняя ключи, грозя все время рухнуть спиной вниз. Наконец они попали в квартиру. Как и следовало ожидать, она оказалась коммунальной, но помещение художника состояло из двух смежных комнатенок-пеналов: прихожей и жилой. В прихожей, в дальнем углу, валялась кипа, состоявшая из разнообразной одежды: пиджаков, брюк, курток, рубашек и плащей, а также шапок, башмаков и сапог — на все времена года, сбоку лежали грудой газеты и журналы, разлохмаченные от времени. В жилой комнате стоял стол, очевидно, с остатками вчерашнего пиршества, пустыми тарелками, стаканами, отрывками хлеба и селедки. Вдоль одной стены висела полка — тоже с журналами и растрепанными книгами, над полкой были приклеены картины Семена Корешкова, написанные акварелью, как он говорил, «для души»: взяточники с кривыми ухмылками и змеиными телами, бюрократы в дубовых креслах, дядя Сэм, высокий, бородатый, прикрывающий свой

срам звездно-полосатым флагом, болото, в котором засела новая техника... На вопрос Левы, разве не опубликовал он эти картины в своем журнале и разве не на злобу дня они написаны, тот недоуменно пожимал плечами и соглашался, по-прежнему утверждая, что они написаны «для души». Под полками стояла узкая кушетка, прикрытая разноцветным одеялом. С другой стороны находился комод, на котором тоже были навалены груды книг. Наконец Саша сказал, что хватит разговоры разговаривать, пора бы хотя бы одну бутылку достать, и Лева тотчас почувствовал, как во рту и в желудке наступило приятное ожидание. Маленький человечек нырнул под стол и, побряхтывая, вытащил оттуда большую кастрюлю. Саша с Левой недоуменно переглянулись. А Семен сказал, что да, полно бутылок, целая кастрюля полных бутылок. Он открыл крышку, и Саша с Левой увидели, что она забита большими пузырьками с каким-то лекарством. «В-вот, — сказал художник, доставая один из них, — полная бутылка. Р-рекомендую. Настойка бояр-шника». Но они отказались пить с утра пораньше настойку боярышника и ушли, а теперь Лева думал, что вот уж кого воистину посетило Горе-Злочастье, но вчера, уже в дверях подъезда, сказал Саше, что у него от хозяина впечатление, что его «Крокодил» полностью использовал, съел, а отжимки, остатки, шкурку, шелуху выплюнул, что человека нет, одна оболочка осталась, которая живет только по видимости. «А мы чем лучше? — вдруг спросил Саша. — Пьем, что ли, меньше?» Лева похолодел:

«Ты что имеешь в виду? У нас все-таки духовные запросы есть!» — «Что имею, то введу, — рассмеялся Саша. — Семен думает, что они у него тоже есть. Он же для души все рисует». Да, теперь причина, по какой ему померещился крокодил, вроде бы прояснилась. Но грустно стало от этого воспоминания. И страшно.

«Вот уж воистину ненужный человек, — думал Лева о художнике Семене. — Не таким размышлять о жизни. Ненужный человек — это совсем не одно и то же, что лишний человек. Лишние люди были двигателями мысли, а потому и истории. А потом пришли новые люди, которые набросились на лишних людей за то, что те не умели работать. В этом проявилась их историческая неправота и ограниченность. Слишком утилитарный подход к действительности. А ненужные люди?.. Они были всегда. Это внеисторическая категория. Это что-то вроде люмпенов. А я? Я всегда считал себя из породы лишних людей, потому что отличался склонностью к рефлексии, к самоанализу, а это именно и есть их конститутивный признак. Всем нам отец шекспировский Гамлет. Но я сумел перебороть эту слабость, которую вот Гриша Кузьмин с большим трудом перебарывал. Я научился работать, делать, делать то, что надо, делать профессионально, на высоком уровне. Даже спяну я могу качественно выполнить любое задание. И начальство это знает и ценит», — горделиво подумал он. Да, в нем, в Леве, слились по крайней мере две тенденции, две линии, две ветви, два этапа русской интеллигенции: лиш-

ние люди и новые люди, лишние люди и желчевики, вспомнил он название статьи Герцена. Он и рефлекситрует, и работать умеет. А то, что пьет, это уже признак русской интеллигенции XX века. «Вообще, интеллигент в XX веке стал чем-то вроде пролетария, — думал Лева, — продает свои знания и мозг, то есть свою рабочую силу, прикладывает свои интеллектуальные усилия не к разрешению мирового целого, а к узкому участку указанной и предложенной работы, за которую он получает деньги, нужные ему для самовоспроизводства. Золотое время для интеллигенции, когда она была обеспечена и ни от кого не зависела, чтоб искать истину, либо когда ей платили за поиски истины. — это время кончилось. Золотой век всегда позади. Теперь даже лишние люди и те служат. Даже и ненужные служат...»

— Ты чего загрустил, Лео? — спросил Саша Паладин.

— Он, наверно, пива еще хочет. Я схожу, — предложил Вася Скоков.

— Нет, друзья, пора в контору, — сказал Шуков. — Может Главный нагрянуть. Да и дождь сейчас хлынет. Хотя, — спохватился он, — если у нашего друга есть потребность, то возражений нет.

Лева посмотрел на небо. Оно потемнело. Уже не было тучи, напозавшей на солнце, потому что и солнца не было, все небо было черно-синим, без просвета. Листочки на высоком тополе, стоявшем в пивном дворе, перестали колыхаться, замерли. Стало

душно, как в парнике, где произрастают тропические растения. Вот-вот должны были упасть первые капли дождя. Многие из пивших пиво, тоже поглядывая на небо, старались поскорее опорожнить свои кружки.

— Да, пожалуй, пора, — сказал Лева, и они вышли на улицу.

Прошелестели первые порывы ветра. Приятели ускорили шаг, но ветер задул им прямо в лицо, и они принуждены были идти, слегка наклонившись вперед. Когда они уже подходили к редакции, маленькому двухэтажному особнячку, стоявшему в переулке, на их головы посыпался дождь. Они побежали и успели вскочить в дом, не очень промокнув, и тут-то дождь хлынул потоком. Настоящий тропический ливень.

— Вовремя успели, — проговорил Шуков, всю дорогу бежавший впереди, размахивая в разные стороны руками. Он помотал головой, отряхиваясь, как собака, и от головы и с бороды полетели мелкие водяные капли.

— Надо это дело пойти перекурить, — сказал Саша Паладин. Он заглянул к секретарше Главного, но она сказала, что Главный будет не раньше чем через час, и редакционным коридором они двинулись, минуя зал для заседаний редколлегии, к заднему входу, где у окна на лестничной площадке было что-то вроде курилки. Раньше они курили в помещении. Главный несколько раз говорил им, что надо подумать о некурящих и «переломить ситуацию курения на позитивные рельсы», но перебороть вредную привычку

сотрудников не мог. Тогда Главный заявил, что раз они ведут себя, как школьники, и не понимают «культуру этики» (это было его любимое выражение), то он прибегнет к другим мерам, будет за курение в комнате — в приказе он сформулировал: «за превращение помещения в неподобающую функцию» — объявлять выговор. Эта мера подействовала. Теперь курили на лестничной площадке.

По дороге Саша заглянул в комнату к Тимашеву позвать покурить и догнал их уже на площадке. На подоконнике была набитая окурками консервная банка, заменявшая пепельницу; как всегда, лежали оставленные курившими здесь машинистками спички и пачка сигарет. Стояли два стула: на один уселся Саша, другой Скоков уступил Лева:

— Всегда готов уступить аксакалу и доблестному охотнику за крокодилами. А я пока пойду пепельницу опорожню.

Он шутил, но стрезва, как всегда, доброжелательно и услужливо. Некурящий Шукуров остался стоять. Саша слевой закурили. Вышел к ним Тимашев с сигаретой в зубах. Вернулся Скоков с пустой консервной банкой, поставил ее на прежнее место и тоже закурил. Минуту все молчали. За окном хлестал дождь, струи воды ударялись о стекло, застилали улицу.

— И вправду хорошо успели, — сказал Скоков.

Лева слушал беседу о дожде, а сам думал о калейдоскопе. «О чем только не говорится!.. А то, что приятель сменил образ жизни, никого не волнует. Или нет,

я не прав, об этом молчат из деликатности. А может, и то, что в их калейдоскопе я пока нахожусь на прежнем месте, у них узор не сменился, не нарушен. Я по-прежнему пью и якшаюсь со случайными бабами, я в той же системе. Это мне кажется, что в моем калейдоскопе узор нарушен. А что это значит?..»

Левины размышления прервал Тимашев.

— Скажи, Лео, — обратился он, выдыхая дым, — а если лев на крокодила налезет, кто кого поборет? Как ты думаешь?

Все засмеялись. Засмеялся и Лева.

— Смотря какой лев, — сказал он, — Р-р-р! И снова все засмеялись. «Продай, Саша, скотина, — думал Лева. — Смеются. Тема для шуток». Но не сердился, потому что и впрямь это было смешно, и смеяться было лучше, чем бояться. Лева подумал, что Тимашев на него за Олю не сердится, потому что ему на самом деле на Олю наплевать, а он. Лева, знает, с кем у Тимашева настоящий роман — с Линой Бицной, соседкой Гриши Кузьмина и племянницей Владлена Вострикова, с которым Лева в течение года как-то работал вместе и находился в полуприятельских отношениях. Тимашев отнесся к тому, что Лева знает про Лину, весьма серьезно. «Если будешь об этом трепаться, — сказал он просящим голосом, — то набью морду. А вообще серьезно прошу тебя, не смей никому и никогда о ней говорить». Тон был искренний и серьезный, взывавший к мужской чести, на такой тон Лева всегда отзывался и потому молчал о Лине, толь-



ко думал о том, как все в жизни перепутано и взаимосвязано, как все тесно, и еще злился на Тимашева, что он попутно прихватывает и других девиц, вроде Оли, будто ему мало жены и Лины.

— И как же это ты, Лева, друг мой, умудрился целую мысль в одном абзаце у Гамнюкова вычеркнуть? — прервал Левины размышления Саша. — Ведь в других абзацах у него, наверно, уж совсем ничего не было?..

— Да, Леопольд Федорович, не хватает вам еще культуры этики, — встрял и Скоков. — Уж Клим Данилович не преминет этим воспользоваться, он тебе вашу дружбу припомнит!

В редакции теперь все недолюбливали Чухлова, но были вынуждены ему подчиняться. Поэтому в этом маленьком конфликте все были на стороне Левы и, подшучивая над Левой, тем самым как бы выражали ему свое сочувствие. А Леву любили друзья, он это знал. Он вспомнил, как три недели назад, как раз в его день рождения, ребята повесили шуточный плакат, плакаты не каждому писались, и Лева плакат льстил. Он его взхлеб цитировал Верке, которая кисло улыбалась, но иронической любви друзей не приняла. Ей уже, как и Инге, хотелось, чтоб к Лева относились с пиететом, без иронии. А плакат был, конечно, на смешливый:

«Внимание!!! Разыскивается именованный (кличка «Лео»). Особые приметы: 1. Волос — пегий, длинный, нечесаный, лоб — с залысинами. 2. Глаз —

узкий, с прищуром, временами тоскливый. 3. Тело — атлетически-упитанное. Граждане! Будьте бдительны! Именованный особенно опасен в состоянии «завязал». Идеологически вооружен и при задержании может оказать сопротивление. Редакция тем не менее надеется, что после задержания именованный достойно отметит свой юбилей, чему мы и будем свидетелями еще сегодня». Но теперь вдруг он насупил, ему вдруг захотелось не иронической любви, а настоящей, такой, чтоб можно было притулиться, расслабиться, пожаловаться на жизнь, на начальство, чтоб тебя пожалели, поняли, это главное, чтоб можно было, не стесняясь, даже о крокодиле рассказать... «Кому сказать тоску мою? — думал Лева. — А все же некому, только Грише, только с ним поделиться, все свои огорчения и страхи ему рассказать. Он поймет!»

— Илья! Тимашев! — крикнула, заглядывая к ним па площадку, секретарша. — К тебе автор пришел.

— Ну что ж, поработали, пора и делом заняться, — сказал Скоков.

— Ну уж нет, делом мы после работы займемся, — поправил его Шукуров, щелкнув себя по горлу.

Снова все засмеялись, загасили сигареты и пошли работать. Лева ответил на несколько писем, разобрал наваленные на стол скопившиеся за несколько дней статьи. На одни после беглого просмотра он отвечал сразу: «Уважаемый Имярек! Редакция внимательно ознакомилась с присланной Вами статьей. Статья была также рассмотрена в отделе. К сожалению, по

общему мнению, она не отвечает требованиям, предъявляемым нашим журналом к публикациям подобного рода. Рукопись возвращаем. С уважением, зав. отделом Л. Помадов». Таково было клише стандартного ответа. Более подробные письма вызывали ненужную переписку с авторами, полагавшими, что они открыли новые законы, и цеплявшимися за каждую неудачную фразу редактора. Пару заинтересовавших его рукописей Лева сунул в портфель, куда перед этим уже упрятал «Повесть о Горе-Злочастии». Сейчас читать статьи внимательно он был не в состоянии и надеялся заняться этим дома, на досуге. Голова после вчерашнего была все же тяжелой. Но он был доволен, что, несмотря ни на что, он раскидал часть работы, сделал ту ее механическую, но необходимую часть, которая не требовала интеллектуального напряжения. Прикрепив скрепками свои ответы к рукописям статей, Лева отнес их в машбюро. Там была одна Оля. Она держала перед собой маленькое зеркальце и наводила марафет: подкрашивала ресницы и губы. На Леву она даже не взглянула, даже головы не повернула. Он тихо положил свои материалы в папку для печатания и тихо вышел.

Вернувшись в комнату, он услышал радостную новость, взволновавшую редакцию: звонил Главный и сказал, что ни он, ни его заместитель сегодня не придут, они на совещании, и вызвал на это же совещание и ответственного секретаря. Короче, начальства не будет, а времени два часа, и можно пойти

пообедать, и не просто так, а *со смыслом*, зайдя в ближайший магазин, — благо, принохиваться, не пахнет ли от них спиртным, сегодня некому. Да и дождь кончился. Все хорошо сходилась. Лева любил питье в столовой, когда вначале нужно было под каким-то предлогом набрать чистых стаканов, потом уже, сидя за столом, составить их в ряд, кто-то тихо лез в портфель за бутылкой, быстро открывал ее, остальные оглядывались, нет ли милиции, *прикрывали* приятеля, официантки делали вид, что ничего не замечают (им доставались пустые бутылки), водка быстро разливалась по стаканам, бутылка убиралась, стаканы расходились по рукам, поднимались в воздух, ими не чокались, только говорили негромко: «Ну, будем!» Водку выпивали и принимались яростно есть первое — своего рода закуска. Такое рыцарское братство сплоченных общей целью людей. Лева любил сплоченность и братство, оно грело его. Но сегодня он уже решил поехать к Грише, если тот не будет возражать. И, попросив приятелей подождать, пока он сделает звонок, чтоб понять, сможет он с ними пойти или нет, Лева вышел в коридор к телефону.

Трубку снял Гриша. Услышав его голос, Лева обрадовался, он боялся, что подойдет Аня. Голос у Гриши был тревожный, и Лева сообразил, что они не созванивались несколько месяцев.

— Гришенька! — говорил он так, чтоб Гриша не смог отказать. — Давно не виделись. Хочу тебя повидать. Поговорить надо. Очень надо. Как Аня, Борис?

С ними все в порядке? А у меня сложности. Ты же знаешь, я к тебе редко за помощью обращаюсь. А что, что-нибудь случилось?

— Ты понимаешь, Лев, — говорил Гриша, голос у него был не только тревожный, но и смущенный и тягучий, словно он хотел отказать ему в визите, но не знал, как это сделать. — Ты понимаешь, у Ани горе. Да нет, с нами все в порядке, и на работе все в порядке. Семейное горе, прямо злочастье какое-то. Племянник ее младший сын ее сестры Симы, ты ее должен помнить, мы как-то у них вместе были, так вот ее младший, двадцать семь лет парню, погиб позавчера. Сегодня похороны и поминки. Аня вся черная ходит. Жуть какая-то. Молодой парень, второй раз женат. Не знаю. А тебе очень надо? Отложить не можешь? Ну приезжай. Может, отвлечешь Аню. Только не надолго. Ладно? Прямо сейчас можешь выехать? Жду.

— Ну чего? — спросил Шукуров.

— Нет, не смогу с вами, — ответил Лева.

— Бабе звонил, — понимающе сказал Саша Паладин, — с похмелья на это дело всегда тянет.

— Да нет, — сказал Лева, беря портфель и перекидывая через руку плащ. Он пошел к двери, остальные за ним.

Наверно, крокодилу звонил, — пошутил Скоков. Все засмеялись. Вышли вместе. Но приятели пошли прямо, к магазину, а Лева свернул налево, вышел на Садовое кольцо и там сел в троллейбус.

## Глава III Самобичевание

В троллейбусе Леве посчастливилось сразу сесть — хотя и спиной по ходу движения, чего он не любил, лицом к входящим, того и гляди, что войдет какая-нибудь старушка, и придется вставать, место уступать. И все же хорошо, что хоть какое место. Троллейбусы по Садовому были всегда набиты сверх меры, словно автобусы-экспрессы, идущие от конечных станций метро во всякие там Чертаново, Медведково, Беляево, Лианозово, Орехово-Борисово... Леве везло, он всегда жил неподалеку от метро: минутах в пяти пешего хода.

Троллейбус тронулся, и тут же Лева испытал острое сожаление (даже будь возможность — выскочил бы), что не пошел с ребятами. Какого черта, в самом деле, его понесло к Грише?! Посидел бы спокойно с ребятами, выпили бы, потрепались—в этих посиделках самое приятное было чувство безответственности, словно попадаешь домой на мягкий диван в домашние шлепанцы. Только даже еще спокойнее. Бутылка сменяет бутылку, одна тема другую, все друг перед другом нараспашку, разговор оживляется все более и более, а утром есть что вспомнить, если, конечно, удалось избежать всяких гадостей и глупостей. Вот именно — если. Лева вспомнил вчерашнее и снова помрачнел. Нет, не будет он выходить на следующей остановке и догонять друзей. Хотя Кирхов всегда говорил, что Лева из тех людей, что сначала долго уходят, но потом все

же в компанию возвращаются, особенно если пьянка идет. Кирхов — вечный издеватель, сатана. Но — прав, так оно всегда и бывало. Вот они сидят в стекляшке, выпили, посидели, но у Левы срочная работа — опять какой-нибудь академик, начальство ему доверяет, да и академики привыкли, что именно он пишет за них статьи. «Еще одну, — говорит Лева, — и пойду». Кирхов хитро щурит глаза, хехекает и показывает на Леву пальцем. «Ты чего?» — спрашивает Лева. «Да нет, ничего, — отвечает Кирхов. — Ты, конечно, уходишь. Ты только скажи, сейчас за следующей побежим, на твою долю братъ?» — «Нет», — отчаянно-твердо говорит Лева. Выпивает «на ход ноги» и уходит. Но через квартал он понимает, что сегодня все равно работы не будет, а в кафе уютная компания, он колеблется, немного смущают насмешки красавца Кирхова, сардоническое выражение его насмешливого, удлинненно-породистого лица. Лева машет рукой и возвращается, проклиная себя за свою слабость, но домой просто не идет. Трудно променять вольное дружество на домашние тяготы. Он возвращается, Кирхов смеется и говорит: «Надо было с тобой все же на бутылку поспорить!» Лева терпеливо сносит приятельские издевки и остается с друзьями. Нет, все-таки я ужасно слабый человек, думал про себя Лева. Никакой верности однажды принятому решению... Вот тот же Федор Кирхов, он может, если ему надо, бросить редакционную компанию и уйти куда-то. Впрочем, с завистью подумал Лева, у Кирхова повсюду компании, причем

самые разгульные, — все хотят общаться с писателем! Тимашев, который почему-то стал конфиденнтом Кирхова, говорил, что тот и в самом деле большой писатель, может быть даже великий. Только для «тамиздата», здесь не пройдет. Во всяком случае, если говорить о последнем романе, там-де «все болевые точки нашей культуры». Все это было сомнительно! Когда Кирхову писать, если пьет он не меньше Левы!.. Да и вообще, что значит в наше время сам термин «великий»? Уже немало, если ты классный специалист, в данном случае — журналист «с пером и головой». Это да, это у Кирхова не отнять. То, что Кирхов *пишет прозу*. Лева знал. Но думал, что рассказы, то да се. А тут — романы!.. Где время взять? Не раздваивается же он? Хотя, хотя... все говорят, у него *похмелья не бывает*. Вот и находит время какое-то! Кстати, и сегодня его в редакции не было. Небось раньше всех узнал, что Главный не придет, и тут же сбежал. И никто на него не обижается, что не пошел с *коллективом*, его любят, чувствуют, что он, как и они, туда же направлен, что бы там Тимашев ни болтал, хоть и ярче всех, талантливее. А так — свой! Не то, что Тимашев!.. Этот — чужой. Иностраный какой-то!

Не талант отъединяет, думал Лева. Отъединяет нечто другое. Но что? *Индивидуализм*, вот что! Боязнь за собственную шкуру. Свои интересы — прежде всего! Кулацкая психология! Струсил же Тимашев, когда в переплет со всеми попал. Паладин рассказывал. Сидели, выпивали, в неполюженном, разумеется, месте.

Милиционер их застукал, капитан. Стал спрашивать, кто где работает. Тимашев с испугу не только себя назвал, но и Сашу, и остальных вынудил назваться. Сам он объяснял потом, что надеялся на испуг милиции перед журналистами. Действительно, не тронули, да и выхода другого не было, а все равно — некрасиво. «Мне-то все равно, — говорил Паладин. — Я переживу. А вот Тимашеву всю жизнь скверно будет». Ну, уж не так и скверно! Да и вообще, надо бы присмотреться к нему, какой-то, он слишком благополучный, будто еще какие источники энергии его подпитывают! Знаем, бывали такие случаи!.. Вроде бы и совсем даже ученый, профессор, а сам за товарищами приглядывает... Чужака не случайно в нем ребята чувят. Конечно, Тимашев вроде бы не приглядывает, даже наоборот — обособленно держится, и все же... «Впрочем, необоснованно нельзя подозревать, — сказал вдруг себе Лева. — Это уже в чернуху провал, «помадовщина», как сказал бы Кирхов. Надо быть реалистом. Я, например, для ребят «свой». А вот Гриша Кузьмин тоже всегда на особинку держался, без высокомерия, этого не было, но сам по себе». Его уважали, думал Лева, но «своим» тоже не считали. Один он, Помадов, оказался близок к Грише, дружески вошел в дом, потому что понимал и чувствовал, кто такой Гриша, что он может! Да, лет двадцать с гаком назад это было, они встречались, общались, спорили, еще за год до Двадцатого съезда они уже многое видели и понимали. А сейчас — семьдесят девятый на дворе, а что сделано? Что же сделано?

Лева поднял голову. Прямо перед ним, у кассы, стояла красивая блондинка с распущенными волосами, в джинсах и синей блузке. «Киска», как сказал бы Кирхов. Лева уставился на нее, забыв совсем, что он отнюдь не Кирхов и даже не Тимашев, смущая девицу пламенным, пожирающим взглядом. Она посмотрела на Леву, распатланного, с заметно опухшей физиономией, в малюсеньких очечках, рябоватого, широколицего, сидевшего раскорякой с портфелем на коленях и, очевидно, дышавшего перегаром; посмотрев, дернула презрительно вверх своим кукольно-ухоженным личиком и отвернулась. А Лева был не настолько пьян, чтоб не увидеть себя ее глазами, старого, потасканного, почти пятидесятилетнего мужика, совсем не «бобра», — престижного, вальяжного деятеля с положением, на которого могла бы клонуть такая девица. Деятели не так выглядят, да и в троллейбусах они не ездят.

Под пятьдесят уже, а что создал, чего достиг, в чем преуспел? Ни карьеры, ни науки — все мимо. А ведь это два единственно возможных (пусть и альтернативных) пути для современного интеллигента, желающего оставаться в рамках лояльности. Ну, на карьеру, положим, он никогда не ориентировался, в его систему ценностей она не входила. Слишком преходящи ее блага, слишком суетны и незначительны с точки зрения вечности. Только мелкие люди, полагал Лева, живущие сиюминутным, кидаются на карьеру. Хотя именно она дает устойчивость в жизни, которую только псих не оценит. Некоторым кажется, что они могут совме-

стить карьеру с наукой. Но это немыслимо, немыслимо по определению. Наука о сути говорит, а такой подход карьеристу противопоказан. Наука — святое дело!.. Когда-то он мечтал, что они с Гришей вдвоем, объединив свои усилия, философ и историк, нечто сумеют сказать важное о жизни. Он тогда просто жил у Гриши, считал его самым умным, самым талантливым, самым многообещающим, потом ругал фетюком, что тот так от жены и не решился уйти, потому ничего и не сделает, ставил себя в пример, свой сравнительно вольный образ жизни — не сидит бирюком, работает в журнале и может хоть как-то влиять на духовное развитие общества. А Гриша трудился над книжкой о русской общине, которая спустя двенадцать лет вышла — маленьким тиражом, для узкого круга специалистов. Никто ее, кроме специалистов, и не заметил. А ведь мог греметь. Теперь занимается уже больше десяти лет проблемой культурного архетипа — темой совсем дохлой, почти непроходимой. Что есть архетип русской культуры? Это и в древность надо лезть, и с Западом сравнивать — да это на всю жизнь хватит копать. А потом что? В стол? В стол Лева не умел писать. Статья, не предназначенная для печати, не имеющая конкретного прицела на какой-либо печатный орган, была для него почти что и несуществующей. Он был и в самом деле профессионал, не умел делать полдела, а текст, написанный ради текста, ради выяснения самому автору какого-то смысла, пусть даже истины, не казался ему делом. Надо ориентироваться хотя бы

на «тамиздат», как Кирхов. За это никто из интеллигентных людей не осудит. А писать просто в никуда?.. Он задумался. А как же Спиноза, опубликованный посмертно? Или Дешан? Или даже наш Чаадаев? Ну, это тоже надо, чтоб так повезло, чтобы рукописи не пропали, чтоб нашлись ученики, поклонники или хотя бы доброжелатели, которые захотели бы с этим возиться!.. Да в древности и писали-то единицы. Можно было надеяться, что рукопись не затеряется. А при нынешнем печатном буме? Когда и опубликованные тексты люди читать не успевают? На что рассчитывать?..

После смерти на что нам рассчитывать?.. Лева вдруг представил, что вот он умирает, его хоронят, начинают говорить, а что же он сделал, и никто не может вспомнить ничего, кроме того, что он редактировал хорошо статьи, будут говорить, что он был талантливый исследователь, но тут же прикусывать себе языки, потому что в опубликованных им статьях ничего, кроме ситуативной правоты, найти нельзя, их даже а книжку не собрать, он в этом сам сейчас убедился, пытаясь это сделать, реального предмета исследования нет... И что? Будут приятели вспоминать, как он с ними пил, какой был милый да смешной?.. Лева похолодел. Он попытался сравнить себя с Гришей. А что от Гриши останется?.. Все-таки какая-никакая, а книга, которая для специалистов будет интересна и через десять, и через двадцать, а может, и больше лет. Она хотя бы будет входить непременно составляющей в библиографии по вопросу об об-

щине... Да еще, глядишь, и рукописи останутся, а то и вторую книгу, дай Бог, удастся издать, пусть хоть через десять лет. Важно, что она пишется и, надо надеяться, будет написана...

А от меня, Леопольда Федоровича Помадова, что останется? Надпись на могильном камне? Больше ничего. Разве что какой-нибудь будущий историк культуры по моим статьям попытается восстановить определенный социально-психологический тип определенной эпохи... Утешение незавидное, хотя все же... Все же шанс остаться... Стоп! Но я же еще не умер!.. Есть же еще идея жизни как калейдоскопа... Она, конечно, пока выглядит не очень научно, но, может, это мифопоэтический образ, только надо его развить, и научно, и художественно. Кроме меня, это покамест никому в голову не приходило. А у меня есть талант, знания и вкус, чтобы эту идею обработать. Только куда ее пристроить? У нас — покажется бессмыслицей. Слишком ни на что не похоже. Там — их тоже только политика интересует. Надо будет с Гришей посоветоваться. Вот и в отношениях с Гришей — типичный калейдоскоп. Были ближе близкого, дня раздельно не проводили, всем делились, самой затаенной мыслью, а потом вдруг что-то нарушилось, кто-то потрянул мой калейдоскоп, и Гриша выпал из рисунка моей ежедневно протекающей жизни, хотя не исчез из поля зрения, то есть узор изменился, но не очень. А ведь мог составить совсем иной. И Лева тут в первый раз за все время, как пришла ему идея с калейдо-

скопом, вспомнил себя маленького и то, как дали ему трубочку, с одного конца имевшую стеклянное круглое окошко, а с другого — прикрытую матовым белым стеклом. Затем сказали, чтоб он приставил глаз к окошку и смотрел в трубочку. Маленький Лева посмотрел и ничего не увидел. Он всегда был тяжелодумом. Тогда ему сказали, что белым матовым стеклом надо трубочку направить к свету. Лева посмотрел и увидел узор из драгоценных камней: треугольник, взятый в кольцо. Он смотрел и боялся шелохнуться. Кто-то потрянул калейдоскоп, и рисунок вдруг изменился. Сначала Лева хотел разреваться, но новый узор был не хуже старого. И тогда Лева стал сам потряхивать трубочкой, восхищенно творя все новые и новые узоры из разноцветных драгоценных камней. Такое счастье продлилось несколько дней. А потом случилось то, о чем Лева не любил вспоминать. То ли по собственному любопытству, то ли по чьему-то совету, он отодрал крышку с белым матовым стеклом, надеясь получить в свои руки эти драгоценные камни и самому из них раскладывать узоры. Но там оказались не камни, а скучные, плохо отполированные разноцветные стеклышки. Больше у Левы в собственном владении калейдоскопа не бывало. Но, даже ставши большим и видя порой у детей своих приятелей эту трубочку, он не упускал случая прислониться глазом к маленькому круглому окошечку и, замерев на пару минут, посмотреть, как чередуются узоры. И если есть Где-то Кто-то, то, может, для Него человеческая жизнь, сплетение

судеб человеческих не более чем узор в калейдоскопе, конечно, только гораздо более сложном. Поймав себя на последней мысли, Лева тряхнул головой: нет, о калейдоскопе надо писать всерьез, не прибегая к дешевым приемчикам современной фантастики, спекулирующей на идее Высшего существа.

Да и к тому же, как совместить идею калейдоскопа с идеей человеческого предназначения? Одно исключает другое. Если я к чему-либо предназначен, то меня нельзя перетряхивать, как узор в калейдоскопе, я ведь должен осуществляться. Этого я хочу от себя, этого и от Гриши требовал... У Гриши, помимо рукописей и книг, еще Борис есть, это тоже осуществление... Я это не понимал. Вот Верка, может, наконец сына родит. Но мне-то уже почти пятьдесят!.. Всегда думал, что дети мешают. И Ингу заставил аборт сделать, потому что делавшаяся в тот момент работа (а какая, он уже и забыл) казалась во много раз важнее, чем ребенок. А потом Инга уже не могла иметь детей. Их ведь предупреждали, что первый аборт вреден. Но Инга делала все, как он хотел, слушалась малейшего его слова. Фу, сколько он плохого и непоправимого натворил в своей жизни! А главное, что не с собой, а с другими людьми!

Лева почувствовал, как на лбу у него выступает пот. Он поднял глаза. Люди грудились к выходу.

— Какая сейчас остановка? — почему-то хриплым шепотом спросил он своего соседа, толстощекого полковника, сидевшего неподвижно и важно, как скифская баба.

— Площадь Маяковского, — ответил тот, не поворачивая головы, не снисходя до общения с расхристанным, несобранным, неподтянутым и. Очевидно, закоренелым штатским.

— Извините, — вскочил Лева, подхватывая портфель. — Чуть не проехал. Разрешите пройти, — добавил он, видя, что сосед и не думает пошевелиться и пропустить его.

Лишь после этих слов тот медленно повернулся боком, выдвинув свои ноги из прохода, и Лева смог протиснуться. Влившись в толпу выходящих, он вскочил на улицу. Под жарким солнцем мимо Театра имени Моссовета, под прохладные высокие своды зала имени Чайковского и в метро, там вниз по широкой и глубокой каменной лестнице, как спуск в какую-то карстовую пещеру, превращенную в своего рода музей со всеми удобствами. Дальше, разменяв двадцать копеек, получив четыре пятака. Лева один из них опустил в автомат, прошел контроль, и вот уже он на эскалаторе едет вниз. В метро люди почему-то делаются спокойнее и цивилизованнее, заметил уже давно Лева, хотя, казалось бы, спускаются под землю, в чье-то неведомое чрево, и беззащитны перед землей. Но метрополитен чист, светел и надежен. Как это удалось — загнать все речушки, болотца, озерца под камень и гранит! Но — удалось! Вот в Нью-Йорке, говорят, метро — это самое страшное место, где люди действительно отрезаны от цивилизации, там — это страшные разбойничьи пещеры, где орудуют банды подростков и негров. Только са-



мые бедные и отчаянные там пользуются метро. Туда спускаться, наверно, так же страшно, как подниматься в конан-дойлевский «затерянный мир», где жили доисторические жуткие животные, против которых человек бессилён. Хотя все-таки спускаться страшнее: почему-то кажется всегда, что чудовища должны сохраняться под землей, в ее таинственных глубинах: порождения Геи, матери-земли, всегда были чудовищами. Древние греки это хорошо понимали — все эти сторукие великаны, тифоны, лернейские гидры, все из ее чрева вышли. Да и тут лет через двести, если метро устареет как транспорт, как средство передвижения, эти заброшенные, разветвленные шахты и подземелья в центре города наверняка станут пристанищем каких-нибудь хтонических чудовищ или хотя бы городских разбойников. Вот тебе и исторический калейдоскоп.

Лева втиснулся в подошедший вагон и, зажатый жаркими, потными телами, чувствуя горячее дыхание высокого мужика на своем затылке, глядя на полнотелую краснощекую девицу с прыщами или фурункулами (результат плохого обмена веществ в организме, к такой только спяну полезешь, с сожалением к девице констатировал Лева), он доехал до «Динамо», где с облегчением выскочил из переполненного вагона. Все-таки с похмелья было тяжело ездить в метро, да и вообще в духоте. Сердце как-то странно телепалось, то часто-часто колотилось, то вдруг даже приостанавливалось. Выйдя на улицу. Лева в киоске купил тем не менее пачку сигарет и спички, потому что разговор с

Гришей мог потребовать этих мужских атрибутов общения, а у Левы не больше двух сигарет оставалось.

К Грише можно было ехать либо на автобусе, конечная которого была тут же, неподалеку от метро, либо на трамвае, до которого надо было пройти минут десять мимо стадиона. Но у трамвая были свои преимущества: он подъезжал ближе к Гришиному дому и днем бывал менее набит, чем автобус. Да и прогулка по свежему воздуху мне не повредит, решил Лева, хотя, конечно, лучшим бы лекарством было выпить сейчас сто грамм водочки, и сердце тут же бы отпустило. В этом смысле, и только в этом — в медицинском (так сам себе Лева сказал), 'он пожалел, что не пошел с приятелями в «стекляшку», но делать было нечего, не возвращаться же назад. И Лева, не торопясь, пытаясь глубоко дышать, двинулся вдоль решетчатой ограды стадиона.

Навстречу ему, деловито, тяжело дыша, совершая Свою работу, бежали друг за другом в затылок спортсмены в импортных тренировочных костюмах и кроссовках «Adidas». Проходили мимо люди, одни к метро, другие из метро — эти обгоняли Леву, шедшего медленно, с опущенной по привычке головой. После дождя на асфальте стояли лужи. Спортсмены бежали, не глядя под ноги, и кроссовками разбрызгивали воду. В лужах, как видел Лева, копошились неизвестно откуда выползшие дождевые черви. Светило солнце, от луж поднимался пар, было жарко. Воздух был как в бане или закрытой ванной, но с добавлением за-

пахов асфальта, размякшей и раскисшей земли, промытой дождем зелени листьев. Лева вдруг вспомнил свое детское ощущение оранжереи — тяжелый дух, наваливавшуюся там на все тело жаркую влажность, душливый запах цветов, плававших в разогретых бассейнах. Самое время выползти каким-нибудь тропическим чудищам, думал Лева, стоя на трамвайной остановке. Но чудище не выползло, а подошел полупустой трамвай, и Лева с радостным чувством свободы выбора уселся на сиденье у окна.

Трамвай тронулся. Лева было обрадовался, что вот наконец последний вид транспорта и через двадцать минут он у Гриши, но тут же скукисился и почувствовал, как в душу ему заползает хандра, потому что кроме Гриши, дорогого по-прежнему Гришеньки, там будет Аня, и с ней придется общаться не меньше, чем с Гришей, если не больше. А для нее Лева чуть было не стал злым гением, разрушившим ее жизнь. Как разрушил и жизнь Инги, вдруг с тоской и беспощадно сказал он себе. Как и Веркину жизнь, наверно, разрушу. Он вспомнил, как переживала Инга, что не может больше иметь ребенка, а он, кретин, радовался этому обстоятельству, что может спокойно заниматься любовью, не думая о последствиях, и что кричащий, орущий, писающийся и постоянно болеющий ребенок не будет отвлекать его *от работы, от дела*. А потом отношения с Ингой стали приедаться, уже и влечения такого он к ней не испытывал, как раньше, все чаще манкируя супружескими обязанностями. Он заводил любовниц, но оставить

Ингу не решался, было совестно. Боялся лишиться Ингу своей особы. Как же, женщине плохо без мужчины, а без него особенно! Он же порядочный человек! Двадцать лет назад он было ушел от Инги, чтоб целиком посвятить себя работе, год с ней не общался даже. Но она его дождалась и приняла, когда через год он приполз к ней в двухкомнатную квартирку у метро «Кировская», прося прощения. И еще семнадцать лет прожил с ней, постоянно чувствуя виноватую благодарность, что приняла, что простила за неудачный аборт, что отмывала его пьяного, грязного, когда его приносили друзья или случайные собутыльники, что всегда перед всеми отстаивала его интересы, защищала как раз порой перед теми, кто знал, что Лева ей изменяет и с кем изменяет. От этого тройне становилось нехорошо. И бросить эту одинокую, уже глубоко за сорок, так преданную ему женщину! Конечно же это подонство!

А как безобразен он бывал спяну!.. Уже из одной благодарности, что она это переносила, он не имел права ее бросать. Что он только не вытворял! Она не вспоминала, вспоминали приятели. То, что они наблюдали. Как он в командировке хватал за руки Тимашева, еле дотащившего его из ресторана до номера и уложившего на постель, и рычал: «Дорогая моя девочка! Ложись рядом!» И аналогичная история повторилась с Кирховым, едва запихавшим пьяного Леву в такси, чтоб отвезти домой. Они сидели на заднем сиденье, и он лапал Кирхова за коленки, бормоча: «Дорогая моя девочка! Сейчас мы едем к тебе!»

Ребята смеялись, что спьяну Лева путает половые признаки и ненароком может мужеложством заняться. Что ни сцена приходила Лева на память, то она была кошмарнее предыдущей. Особенно почему-то ужасными представлялись ему две истории, произошедшие у Саши Паладина.

Саша давно ушел от жены, оставив ей двухкомнатную квартиру. Но поскольку он был Сыном, то не прошло и некоторого времени, как он вне очереди получил комнату в малонаселенной коммунальной квартире у Рижского вокзала. Комната мигом была обставлена — добротной и тяжеловесно: во весь пол улегся толстый ковер, около окна встал тяжелый четырехугольный дубовый стол, на нем массивная высокая лампа не лампа, а целая колонна, под абажуром с фестончиками; у одной стенки два книжных шкафа впритирку друг к другу (что говорило о внимании к Сашиним интеллектуальным интересам), у другой стены — диван, а над ним грузинский серебряный рог (кем-то подаренный Сашину родителю и перешедший за ненадобностью к сыну), простенок у входа занимал сервант с хрустальными рюмками, посудой и постельным бельем в нижнем отделении. Рядом с сервантом стоял огромный холодильник «Ока», время от времени наполняемый Сашиней мамой.

Стесняясь изобилия и материального довольства, не им созданного, Саша отдал комнату в распоряжение приятелей. И каких только пьянок и загулов тут не устраивали! Лихие, веселые, молодеватые, бо-

дрые, как гусары прежних времен (хотя порой и уланы, вспомнил Лева классическое противопоставление Скокова), они приходили, приносились в такси, врывались, вбегали, вползали, втискивались, вваливались, вламывались, входили, внедрялись в Сашину комнату и приносили с собой; да, как правило, у всех с собой уже было — бутылки, колбаса, хлеб. Из рюмок, разумеется, не пили, пили либо из стаканов, либо из граненых маленьких и прочных лафитничков — ровно на пятьдесят грамм. Выпивали и смеялись над иностранцами, которые во всяких там западных романах заказывают двойной виски с содовой, делают это грубоватые, настоящие мужчины, а двойной виски — это всего-то навсего сорок грамм. И Кирхов обычно резюмировал: «Что русскому здорово, то немцу смерть!» И зачем собирались? А просто. Просто посидеть, пообщаться, потрепаться, выпить. Производство форм общения ради самого общения — высшая, самая бескорыстная форма человеческого общежития! Счастливые были времена. Но вот Саша женился, стеклышки в калейдоскопе переменились, у него больше не встречаются.

Хорошие времена, почти былинные; но были в этой комнатке и кошмарные провалы в постыдные глубины. Не щадя себя, Лева вспоминал, как отправился к Саше с одной из тех женщин, что вечно крутились вокруг журнала (Инга называла их «маркитантками», обслуживающими сотрудников журнала по потребностям). Там они выпили, Лева отрубился, а потом уже в семейных трусах до колен, с распланными волосами, бес-

смысленной ухмылкой на лице (очки на столе), он то ковлял, то полз по ковру на четвереньках за девицей, протягивая к ней руки и бормоча: «Дорогая моя девочка! Сейчас тебе будет приятно!» А она, в одной комбинации, бегала от него и временами взвизгивала, когда Лева удавалось зацепить ее за ногу. Впрочем, вспоминал он не то, что видел и помнил сам, он видел и вспоминал это как бы отраженно: то, как Саша рассказывал и представлял в лицах, наблюдая сцену со стороны (девица была при этом одной из Сашиных любовниц). Да, далеко не все женщины даже спяну соглашались лечь слевой («пень красивее его», вспомнил он снова слова жены Тимашева), поэтому так прикипел он душой и телом к двадцатишестилетней Верке, которая была младше его на целых двадцать два года, а при этом вроде бы и любила его. Снова представив бегающую от него долговязую девицу в комбинации и себя, ползущего за ней по ковру с протянутыми руками, Лева даже застонал от омерзения к себе.

Не чище была и вторая история. Как-то Лева встретился со своим бывшим однокурсником, ныне доктором наук, Мишей Вёдриным, таким же толстым и невысоким, как Лева, но с более оформившимся брюшком, выпиравшим из брюк. Только если Лева носил свитера, то Миша Вёдрин имел пристрастие к водолазкам с искрой и костюмам красновато-фиолетового цвета. Женат он был дважды, с обеими женами развелся и жил сейчас со старушкой матерью в двухкомнатной квартире, а потому, как и Лева, в те поры страдал от

отсутствия помещения, куда можно было бы водить баб. Они посидели в кафе, немного выпили, бутылку — не больше. Там же они познакомились с бабой, такой же толстой, как они сами, лет под пятьдесят или сразу за пятьдесят, в кудряшках и в очках. Предложили ей стакан портвейна, она лихо его хлопнула — и понеслось. Лева бросился звонить Саше Паладину. Дозвонился, договорился, что тот на вечер уступит им комнату. По дороге баба уговорила их взять кроме бутылки портвейна (любимого напитка доктора наук) еще две бутылки имбирной. У Саши они выпили бутылку портвейна и принялись за имбирную (баба бабой, а выпивкой пренебречь они тоже не могли), а их собутыльница жаловалась им на свою незадачливую жизнь, рассказывала про сына-инвалида тридцати лет, которого женщины не балуют, если только она сама к нему не приведет и не заплатит из собственного кармана. Но когда Вёдрин полез ее лапоть и сдирать с толстых ляжек трусики, а Лева зарываться лицом в ее мясистую увядшую грудь, она вырвалась и сказала, что позволит им обоим, но что сначала она должна съездить к сыну и отвезти ему бутылку его любимой имбирной, что без этого ей будет беспокойно, а потом она конечно же вернется. Пьяные дураки ее отпустили, Дали бутылку, дали денег на такси, чтоб она скорее возвращалась, и принялись ее ждать, споря, кто будет из них первый, когда баба приедет назад. Разумеется, она не вернулась. Хорошо еще, что у Саши в холодильнике нашлась бутылка водки. Допить они,

правда, не допили, потому что вдруг вповалку уснули на Сашином диване. Утром явился Саша, разбудил их, они снова выпили, и Саша затеял разговор о высоком, смеясь над их рассказом о чадолюбивой бабе. «Может, это для нас благо, что она ушла, — хихикая, говорил Лева. — Мы бы иначе, может, не нашли водки в холодильнике». — «Понимаешь, ты не прав, — отвечал Вёдрин. — Водку мы бы так или иначе нашли, но еще бы и бабу получили». — «Так что же, по-вашему, благо? Я что-то не понял, — сказал Саша. — Поначалу мне показалось, что вы стремились к высшему благу — к любви. Потом выясняется, что водка — это тоже благо. Стало быть, надо установить иерархию благ — на платоновский манер. И прежде всего, что вы вкладываете в понятие блага. Вот баба ваша явно решила, что имбирная — это высшее благо, потому и сбежала от вас. Хотя нет, — задумался Саша, — имбирную она повезла сыну-инвалиду, а значит, и для нее любовь оказалась высшим благом. Короче, ее благо оказалось сильнее вашего. И следовательно, надо разобраться, что есть ваше благо и в чем его неподлинность». Саша тоже был изрядно пьян и слегка косноязычен. Тут-то и произошла грандиозная драка из-за проблемы блага у Платона, дрались Лева и Миша Вёдрин. А началось все довольно интеллигентно. «Мы устроим диалог, — сказал Лева. — Я буду Сократ, а Вёдрин — Филеб, что значит любитель удовольствий». — «Ну в таком случае, — ответил Вёдрин. — ты не меньший Филеб, чем я». — «Хорошо, — согласился Лева. — Я буду Филеб,

ты Сократ, а Саша — Платон. Он все потом резюмирует и опишет». Диалог их продолжался, однако, не очень долго. Уже через пять минут Лева всхлипывал от ярости, а Мишка Вёдрин все больше откидывался назад с высокомерной миной на лице. «Не-ет. — кричал Лева, — мы никто не способны достигнуть блага, потому что оно в любви истинной. А мы ее не имеем и никогда не будем иметь, мы ее недостойны, потому что мы распутники, сволочи», — плакал пьяный Лева. «Все наоборот у Платона, — менторски пыхтел толстый Вёдрин и потрясал рукой со сложенными в щепоть пальцами. — Любовь есть стремление к обладанию благом, но не само благо. Почитай, если не читал. Это в «Пире» у Платона изложено». — «Школьные зады! — кричал Лева. — Асмуса повторяешь». — «Ну и что? — отвечал Вёдрин. — Это добротный философ-профессионал. И он прекрасно показал, что идея блага есть наивысшая идея у Платона: не идея истины, не идея прекрасного, а именно блага. Все остальные идеи подчиненные и стремятся к благу, все вещи стремятся достигнуть блага, хотя — в качестве чувственных вещей — не способны его достигнуть. Но счастье, как разъясняет Платон, состоит именно в обладании благом. Поэтому всякая душа стремится к благу, все делает ради блага, но достичь его не может. Вот в чем парадокс и противоречие человеческой жизни. Все-таки жаль, Лео, что ты ушел в журналистику и забыл самые азы философии». — «Я-то их не забыл! — завизжал Лева. — А ты вот дальше азов не двинулся». — «Му-

дак ты, — сказал Вёдрин. — Жалко мне тебя». — «Ах так!» — и Лева с размаху влепил пятерней по физиономии Вёдрина. Поскольку удар получился несильный, он еще в завершение царапнул оппонента по щеке, оставив плохо подстриженным ногтем кровавую полосу. В ответ доктор наук ударил Помадова по очкам. Очки упали на пол, но поначалу даже не разбились на толстом и мягком ковре. Зато из носа у Левы закапала кровь; мазнув себя по лицу и увидев кровь на руке, он испугался, на секунду замер, а затем с криком «Негодяй!» вцепился левой рукой в волосы бывшего однокурсника, правой стараясь ударить того в лицо. Мишка Вёдрин уклонился и сам сумел ухватить Леву за его жидкие волосенки одной рукой, другой отводя Левины удары. Неуклюжие, пузатые, они топтались друг против друга, пыхтя и не имея сил даже на сквернословие. Мимоходом, во время боевого топтания, они раздавили Левины очки, в горячке боя не заметив этого. Саше с большим трудом удалось растащить их и заставить в знак примирения выпить по рюмке водки. «Надо сказать, — ехидничал он впоследствии, пересказывая эту историю, — к сократическому диалогу наши друзья, несмотря на свое высшее образование, оказались не готовы». — «Да все водка проклятая», — говорил Вёдрин, махая рукой. А Тимашев добавлял, то у нас нет привычки к таким диалогам, потому что не было ни софистических, ни схоластических споров. «Ну и что, — говорил Саша Паладин, — спор разрешился в национальной традиции — хорошим мордо-

боем». Лева тогда думал, что они подрались, потому что ни у одного не было своей идеи, к которой хотели бы привести противника, только простая склока схоластическая, и Тимашев не прав. Сейчас, вспоминая эту драку и ее предысторию — с имбирной водкой и толстой бабой, Лева поражался омерзительности своего поведения, удивлялся, что этого никто не заметил.

Он чувствовал, как замирает сердце, а лицо пунцовеет от холодного ужаса, что после *такого* он мог испытывать праведный гнев против Инги (а теперь против Верки), в чем-то упрекать ее! А в чем? А в том, что она знаменитостей любит, приглашает в гости бывших Левиных приятелей, ныне авторов модных книг, статей и скандально-шумных диссертаций, в том, что Леву пилила за пьянку, приводила в пример друзей и однокурсников, говорила, что даже с Гришей он перестал общаться, потому что Гриша что-то делает, а он, Лева, нет, а потому и почва для общения пропала. А ведь все это было оттого, что на самом-то деле она гордилась им, верила в него. Ему уже потом, после его ухода, рассказывали, как в случае каких-либо споров она сразу говорила: «Надо у Левки спросить, он все знает, он объяснит». — «Он что у тебя, в самом деле все знает?» — удивленно спрашивали ее. «Почти все, — с гордостью отвечала она. — А мне так кажется, что совсем все». Она ведь любила меня, думал Лева, да и до сих пор привязана. За совместные годы она привыкла, что он — есть, что все же в возрасте, когда друзей становится все меньше, они друг для друга надежная опора.

А как она с ним вместе выбирала ему костюмы, следила за ним, покупала рубашки, вязала свитера, вывязывая всевозможные сложные узоры! Как беспокоилась за него, когда его отправляли в дальние командировки, за его жизнь, за его здоровье! Как сама была нетребовательна по части всякого женского барахла, ничего на себя почти не тратила! И вот он бросил ее, она — оставленная жена!.. Это с ее-то гордостью и неустойчивостью внутренней! Он вообразил ее маленькую фигурку, худенькие плечики, длинное серое шелковое платье, ее любимое, опущенную голову с пучком волос на затылке — облик курсистки, народоволки, женщины духовного служения, не думающей о быте, и снова проклял себя, свою распушенность, расхристанность, пьянство, плотоядность, неумение собраться, отсутствие внутренней дисциплины и даже хоть маленького фермента карьерности, чтоб твердо стоять на ногах. Лева вдруг быстро открыл портфель, сунул туда руку и вытащил тимашевскую книжку о Горе-Злочастье. И прочитал, со страхом, чуя душой сходство ситуации:

Ино зло то Горе излукавилось,  
во сне молодцу привидялось:  
«Откажи ты, молодец, невесте своей любимой —  
быть тебе от невесты истравлену...»

Лева вспомнил злую шутку Кирхова, что Верка его подтравливает, с дрожью в руках и болью в глазах продолжая читать дальше:

«...еще быть тебе от твоей жены удавлену,  
из золота и серебра бысть убитому.  
Ты пойдя, молодец, на царев кабака,  
не жали ты, пропивай свои животы,  
а скинь ты платье гостинное,  
надежи ты на себя гунку кабацкую,  
кабаком то Горе избудетца,  
да то злое злочастие останетца:  
за нагим то Горе не погонитца,  
да никто к нагому не привяжетца,  
а нагому-босому шумить розбой».

Действительно, Лева боялся своего «золота-серебра» — стеснялся своего умственного превосходства, своей начитанности, своей культуры, боялся, что его более малограмотные одноклассники, а потом однокурсники будут ему завидовать, хотел опроститься, да, именно это слово: «опроститься». А они теперь кандидаты и доктора, по-прежнему ходят к нему за советами, он переписывает по старой дружбе их статьи, но они возвращаются на свои уютные кафедры и в свои высоконаучные сектора, в теплые квартиры к обожающим их глупые головы женам, а он, Лева, пропив на второй уже день ползарплаты, едет куда-то в снятую комнатенку на Войковской, с чужой мебелью, чужой постелью, чужим бельем!..

Лева в испуге спрятал книжку на прежнее место и захлопнул портфель, уставившись в окно. Но дома, Кулесты, мелькавшие за окном, он не видел, он переживал.

Как он любил в юности гусарство, удаль, быстроту и лихость загула и, напиваясь, казался себе таким же свободным, как лихие гусары, которые приходят во снах. И гитара!.. Но на гитаре играла и пела под нее тимашевская жена Элка, и это тоже раздражало Леву, усугубляло его неприязнь к Тимашеву: почему одному все, а другому и половины нет. У того и бабы, и веселая жена с гитарой, и статью нашумевшую о «профессорской культуре» написал, а Оля-машинистка небось ему еще и бесплатно его опусы перепечатывает... Как он успевает все!.. Как эти гусары и купцы чего-то успевали!.. Ведь после загула приходит похмелье, а после похмелья новый загул... Когда же дело-то делать? Впрочем, воевать да торговать, наверно, особой усидчивости, тем более книжной, не требовало!.. Лева понурился.

А сколько гадостей с похмелья наделаешь, потом сто лет не расхлебаешь, — мысль Левина прыгала с предмета на предмет, подчиняясь не логике, а каким-то внутренним эмоциональным зацепкам и связям. Зачем Олю обидел? — калялся он. Высокая, стройная, темноволосяя, с тонким лицом, длинными пальцами, она была рождена для лучшей доли. Кончила музыкальную школу, собиралась поступить в консерваторию (это Лева краем уха слышал), но пошла в машинистки. Почему? Ах да, отец умер, мать по инвалидности на пенсии, она поздний ребенок, пришлось идти зарабатывать — вот и попала по знакомству в редакцию. Хочется ей, конечно, замуж, под простыми, но искусно пошитыми платьями Лева сладострастно прозревал молодое плотное тело,

но замуж никто не берет, прямо Лариса Огудалова из «Бесприданницы»... Да и вряд ли она найдет себе мужа среди женатых мужиков в редакции. Наверно, она и сама это понимает, на судьбу обижена, а любви хочется, вот и крутится возле Тимашева!.. А он, Лева, ну не сукин ли сын! Брякнул ей, что мужа она не найдет, то есть то, что ей хоть на время забыть хочется!.. «Какая же я гнусь, — думал Лева. — Старый уже мужик. Должен же быть посприходительнее, мудрее, не меряться неудачливой судьбой с молоденькой девчонкой и не срывать на ней своего раздражения. Ведь я же мужик, уж мог бы сам себя воспитать». Нет, все же у него и впрямь распадное интеллигентское сознание, да, интеллигентское, с самого детства чувство вины перед всеми, потому и пил, чтоб стать таким, как все, стыдился выделиться, выйти из ряда. Но что-то двусмысленное было в его чувстве вины.

Он вспомнил, как в детстве мать оставила ему рубль, на случай, если придет слесарь чинить кран на кухне, чтоб отдать ему. Слесарь пришел, кран починил, но рубль Лева ему не отдал, справедливо полагая, что от тринадцатилетнего мальчишки тот денег не ожидает. Рубль же Лева зажал на свои мелкие расходы. Вечером пришла мать со своим братом, Левиным дядей, у которого старшая дочка тоже в честь отчима была названа Леопольдиной (в семье девочку звали Полей). Дядя был директором большого кинотеатра, был толст, важен, грубоват и прямолинеен. Мать спросила, приходил ли слесарь и отдал



ли ему Лева деньги. Зажимая деньги. Лева надеялся, что мать не задаст второго вопроса, потому что был не способен, не умел врать ни при каких обстоятельствах. Сейчас увидел он себя тогдашнего, маленького, дрожащего (он уже лежал в постели, укрытый мохнатым верблюжьим одеялом в белом пододеяльнике), увидел, как покраснел, похолодел, а потом сказал, из красного становясь бледным, что он *забыл* отдать рубль, потому что тот лежал на столе в комнате, а слесарь был на кухне, что, когда слесарь уже ушел, он схватил рубль, чтоб его догнать, но не догнал, и теперь рубль лежит в кармане его штанов. Мелкая ложь! Но все же не такая страшная, как если бы он утаил деньги. Лева даже привскочил, сказал, что сейчас оденется и пойдет искать слесаря, чтоб отдать ему этот рубль. Начал даже рубашку надевать. Но мама поцеловала его и остановила, а дядя, видимо не поверив ни единому Левиному слову, неприязненно покосился на него и махнул рукой: «Ни к чему! Это все интеллигентские выкрутасы и самооправдания, игра на публику, чтобы другие тебя оправдали. Ты это дело брось, Леопольд! Это плохая привычка. Украл, — ну ладно, не украл, утаил, — утаил рубль, так хоть перед нами не выдуривайся, а главное, перед самим собой. А то — бежать, говорить, извиняться-извиваться. Лучше сразу делать правильно, а сделав неправильно, неправильно исправлять делом, а не словами!» Дядя был зло прав, и Лева влез снова под одеяло, съежился и дал себе слово поступать всегда так, чтоб потом не

раскаиваться, во всяком случае не произносить потом горячих самообвинительных слов и не бить себя в грудь. Но всю жизнь только этим и занимался. Сначала делал и говорил гадости, а потом раскаивался и просил у обиженных прощенья. И все считали его при этом за порядочного, слабого, но в конечном счете нравственного человека, Лева от этого ненавидел себя еще сильнее.

За похмельным самобичеванием он чуть было не проехал нужной остановки. Но все же вовремя спохватился, выскочил. Огляделся. Уникальный деревянный павильон — прибежище от дождя для ожидающих трамвай — с ложными колоннами, прикрепленными прямо к стене, стоял там же и так же, как двадцать пять лет назад. Лева посмотрел на часы. Половина третьего. Он пошел между кустами, разросшимися за годы, что он сюда не ходил, дорожка привела его к пятиэтажному — «профессорскому» — дому, где жил Гриша. Он обогнул его со двора, вошел в знакомый широкий подъезд и поднялся по давно знакомой и, как ни странно, не забытой широкой лестнице с каменными ступенями. Знакомая дверь была все так же обита дерматином, только наискосок по дерматину шел разрез — очевидно, работа прошлой шпаны. Разрез был зашит суровой ниткой. Чувствуя тяжесть на душе от прошедших мыслей и противный, похмельный привкус во рту. Лева набрался духу (потому что немного боялся встретаться с Аней) и позвонил.

## Глава IV

# Душеспасательный разговор

После Левиного звонка в глубине квартиры послышались шаги, но направлялись они не к входной двери, а куда-то вбок. Потом из глубины, заглушенные, очевидно, дверями, донеслись малоразборчивые слова. Но открывать никто не шел. Лева подтянул брюки, проведя руками по своим выпирающим с обеих сторон толстым бокам, сожалея, что он в свитере, а не в пиджаке, хоть немного да прикрывшем бы его толстое, обвислое тело. Давно он тут не был. Он нервно зевнул, машинально прикрыв рот рукой, хотя никто не видел. К двери по-прежнему никто не подходил, словно бы и звонка не было. «Наверно, ругаются, — подумал Лева. — Выговаривает небось Грише, что он меня пригласил, — имени Ани Лева даже про себя не назвал сейчас от обиды. — Отвела его в комнату или на кухню и расшумелась-расшипелась, что-нибудь вроде: «Зачем его звал? Не тот момент! Сиди с ним сколько хочешь, но по возможности не в нашем доме! Опять заявился этот пьяница и бездельник! Поведется ходить — я тогда уеду! Пусть он тебе семью заменит! Ладно, раз уж позвал, то открывай, но ненадолго! Я буду в своей комнате. Когда через полчаса выйду, чтоб его не было. Уж не знаю как. Сам зазвал, сам и выкручивайся!» Лева даже стало казаться, что он слышит эти слова.

Да, Лева понимал, что с тех пор, как он уговаривал Гришу развестись с женой, эта самая жена его плохо переносит. Ну и дура, это только подтверждает ее ограниченность, потому что лично против нее он ничего не имел... Он о Грише беспокоился и заботился, чтоб тот мог творить. Лева полагал, что рано или поздно они все равно разведутся. Опыт показывал, что интеллигенты меньше двух раз не женятся. Взять хотя бы его, Леву. Как раз тогда он ушел от своей второй жены, так он про себя в то время именовал Ингу. Время было тогда такое, не только для них с Гришей, для всех — время социальных надежд, пятьдесят пятый. Два года едва прошло после смерти сатрапа, а как все зашевелились и задвигались — работать надо было, я не в семейной кастрюле вариться. Лева вспомнил бесконечные истерические ссоры между Лидией Андреевной, Гришиной матерью, и Аней, какое-то изломанное письмо-исповедь, которое писал Гриша!.. Нет, он и впрямь тогда был в плохом состоянии, так что драв был Лева, стараясь его освободить от семейных склок, от домашних скандалов. Лева помнил и тот вечер, когда отнес Ане его письмо и убеждал ее своей волей дать Грише развод — из высших соображений, что творческому человеку нужна свобода. И почти получилось. Аня в ярости расколотила фотопортрет свекрови после Левиного ухода из комнаты, а для Левы это оказалось лишним аргументом, но тут, в тот же вечер (бывает же так, что в один вечер сходятся все противоречия и разрешения!) заболел десятилетний Борис, думали

все, что не выживет. И Гриша, естественно, остался, вся Левина работа пошла прахом. Да, из-за ерунды, из-за несвоевременной болезни сына. А в дальнейшем поднять разговор на эту тему до такого накала Леве уже не удавалось. Конечно, конечно, Лева понимал, что и после ухода мужчины может вернуться — вот как он к Инге. Но это он теперь только понимал, а тогда такое соображение и в голову ему не приходило.

Лева вспомнил, как он вернулся к Инге, как они оба плакали, целовались и снова плакали, как клялся он, что всю жизнь проведет у ее колен, как они оба обещали друг другу быть вместе навсегда и снова плакали. Непонятно даже, кто первый начинал плакать, у обоих глаза были на мокром месте. Он ожидал, что она будет его отталкивать, прогонять, а она только покорно льнула к нему, и ее худенькое, маленькое, миниатюрное тело было безропотно в его руках. Вот только детей у них не получилось после дурацкого аборта, а теперь сына — он надеялся, что будет сын! — собирается ему родить Верка. И все равно — воспитать его сможет только Инга: в духе стремления к высокому, жизни во имя идеала. Нет, Верка тоже была интеллигентной женщиной, но более земной, простой, бытовой, что ли. Крепкотелая, полногрудая, страстная, она приковала к себе неудачника в любви Леву, но духовная, «астральная», как он сам говорил, связь у него оставалась с Ингой. И как-то (выпив, разумеется) он стал убеждать беременную Верку, что, когда она родит и выкормит их сына, его необходимо будет отдать на воспитание Инге. Верка онемела

и ничего не сказала, а Лева, уверенный, что она просто обдумывает его предложение и не может в результате не согласиться, потому что много резонов он привел за это решение, поехал убеждать Ингу. И гордая, независимая, одинокая Инга снова плакала, а он на сей раз не плакал, но с пьяной твердостью и настойчивостью требовал от нее согласия, напирая на то, что они были не только и не просто муж и жена, но еще и друзья, настоящие друзья, и друзьями навсегда останутся. Говорить такое покинутой женщине, да, это не слабо, думал Лева, обливаясь холодным потом при одном воспоминании об этой сцене. Инга совсем уже разрыдалась и указала ему на дверь. Лева вышел на холодную лестничную площадку, хотел было уйти, но пьяная спесь не позволила. Он позвонил, она не открыла, вот как сейчас прямо. Тогда он сел на лестничную ступеньку под дверью и принялся упорно ждать. Через большое время Инга успокоилась, умылась, открыла дверь и увидела его: он сидел у самой двери и спал, уткнув голову в колени. Она затащила его снова в квартиру, напоила горячим чаем и сказала, что согласна, если его нынешняя жена не возражает и отдаст сына. Конечно, не возражает, куражился Лева. А вся крохотная фигурка Инги дрожала от горя, боли и обиды. Лева стукнул себя кулаком по лбу, отгоняя видение, прогоняя эту картину из головы, потому что вспоминать все это было мучительно стыдно. Леве опять хотелось каяться, истово, со слезами. «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — прощен не будешь», как любил повторять один старый пре-

подаватель древнерусской литературы, с которым Лева был шапочно знаком, потому что бегал с философского на интересовавшие его лекции по всему университету.

Лева снова нажал кнопку звонка. Снова прозвучал где-то в глубине злой шепот, потом шаги к двери, и щелкнул замок. Дверь открыл Гриша, не спрашивая, кто там, хотя всегда, как помнил Леопольд, спрашивал. Увидев Леву, он сделал шаг назад, словно все же надеялся увидеть другого человека, такое выражение было у него на лице. Затем качнулся вперед, словно не то собираясь прикрыть собой Леву от взглядов сзади себя, не то думая вытеснить его нажимом всего тела из дверей, но тут же отступил вбок и сказал:

— А, ты все же приехал? Я уж было подумал... — Он тут же перебил себя: — Понимаешь, Аня... — и добавил: — Да ты не стой у порога, проходи, проходи прямо ко мне в комнату. Там и посидим.

На его горбоносом, породистом и худом лице промелькнула растерянность, даже испуг какой-то, отягощенный недовольством собой.

Лева обидчиво пожал плечами.

— Не напрашивался, — соврал он, веря, что говорит правду. — Могу и уйти, если помешал.

И, зная, что Гриша примется сейчас лепетать что-то оправдательное, Лева двинулся в комнату направо от входа, на которую Гриша указывал рукой. Это была бывшая комната Лидии Андреевны. Так же во всю правую стенку от пола до потолка стояли четыре книжных стеллажа, тот же около них круглый стол, у окна, как и

раньше (так, чтобы свет падал слева), находился письменный стол, только этот был поменьше, чем старый; за ним еще один книжный стеллаж, бельевик, тахта; между книжной стеной и дверью вмещался старый платяной шкаф. Все то же, да не совсем то. Исчезли собрания сочинений Лысенко, Мичурина, материалы партконференций, задвинуты куда-то бесчисленные сборники архивов о партячейке в Юзовке: теперь стояли сочинения классиков художественной литературы, всякие там Бальзаки, Стендала и Толстые, пятнадцать томов С. М. Соловьева и десять томов его сына В.С. Соловьева, восемь томов Ключевского, четыре тома Покровского, трехтомник Костомарова, тридцатитомник Герцена, пятнадцать томов Чернышевского — короче, то, что называется «россикой».

Лева хотел было усесться за стол, в деревянное кресло (на столе стояла пишущая машинка с запровленной в нее страницей, какие-то напечатанные и писанные от руки листы бумаги лежали рядом, и Леве очень любопытно стало запустить в них глаз: что теперь пишет Гришенька?), но Гриша опередил его, сам сел за стол, чистую бумагу отодвинул, исписанную перевернул белой стороной кверху, а Леве указал на кресло, стоявшее перед столом у окна. Кресло было старинное, мягкое, с высокой спинкой, изгибающимися подлокотниками, в доме Кузьминых его называли «вольтеровским», его подарили Лидии Андреевне ее друзья, какие-то старые большевики, бывшие с ней вместе в эмиграции. Это было ее кресло, а лет ему, наверно, не меньше ста.

Лева уселся, сиденье мягко подалось вниз, голова Левы оказалась чуть выше стола, возникло неприятное ощущение, что Гриша *возвышается* над ним — не то чтобы судья, но какой-то более правильный. Лева всем телом вдруг почувствовал холодноватую отчужденность Гриши, в горле у него снова пересохло, словно вернулось похмельное утро, когда от сухости в глотке он слова не мог вымолвить. «Да, давно здесь не был. И зачем напросился? Гриша небось уже жалеет, что согласился на мой приезд». С чего-то надо было начинать разговор. А Лева по дороге, за своими размышлениями и самобичеваниями, совсем забыл, что там такое у Гриши случилось. Он попытался вспомнить, но мозги отказывались напрягаться. Лева сделал глотательное движение, оно у него не получилось, и он испугался.

— Слушай, ты мне стакан воды не дашь? — жалостно хрипнул он. — Извини. Набрался вчера. Знаешь, как иногда интеллигентного человека черт несет!..

— Сейчас принесу, — вместо слов сочувствия, соболезнования и сострадания коротко ответил Гриша. И Лева снова показалось, что он посмотрел на него как-то сверху. Как на пропащего, слегка высокомерно. Да и выходить ему, видимо, не хотелось: на кухне Аня наверняка чего-нибудь злое скажет. Когда дверь за Гришей закрылась. Лева потер себе лоб, пытаясь вспомнить: «Ах ты черт! Что же у них случилось? Надо же так глупо забыть! Фу-ты! Просто позор! И сам-то чего приехал? Что за неотложная срочность была? — Теперь, сидя в большом, уставленном книга-

ми кабинете, Лева никак не находил оснований для своей просьбы во что бы то ни стало повидаться именно сегодня. — Сказать, что Главный меня не ценит, а Чухлов — скотина? Так Гриша про Чухлова и слыхом не слыхал. Что мне хочется куда-то бежать, но что от себя не убежать?.. Ничего не скажешь, свежая мысль!.. Поведать идею калейдоскопа?.. Но, не сформулированная, она может показаться мелкой, пустой, неосновательной. Про крокодила?.. Но что, если и в самом деле : это бред? У меня — бред, а у Гриши и в самом деле какие-то *настоящие* неприятности... Какие только? Позор! Уж лучше бы с ребятами в кабак пошел...»

Гриша принес стакан воды. Лева принял его, припал с жадностью, но пил с осторожностью, медленно, чтоб все во рту освежить. И полстакана на всякий случай не допил, зная, что вскоре горло опять пересохнет, а гонять Гришу за водой все время неудобно. Самому же ему, похоже, лучше на кухню не показываться. «Отчего только в дороге жажды не было?»

— Плохой я человек стал, Гриша, даже в медицинском смысле плохой, и, наверно, прежде всего в медицинском, — начал Лева, желая переползти к своей забывчивости, но не решился, сказал другое. — Пью, понимаешь, не могу остановиться. С кем попало пью. Затянуло меня наше российское, восточное, интеллигентское, карамазовское, слабое. Не могу сказать «нет»!..

— А ты пробовал? — спросил Гриша тоном, близким к суховато-ироничному, но глаза были растерянные, не умел он быть жестким.

— Пробовал, — махнул рукой Лева. — Но ты же знаешь, старик, что российский интеллигент слаб по определению. Ему необходимо дружество, единение. Я человек общественный, натура социальная, создан для форума как рыба для воды. А где ты видел у нас общественную жизнь? А? То-то. А водка сплывает, — но увидев иронически поднятые брови Гриши, страдальчески-недоуменное выражение его лица, торпливо добавил: — Я понимаю, конечно, что водка — это суррогат. Но ведь ты ж понимаешь, что дружеское общение заменяет нам социальную жизнь! Не на собраниях же мне юбилейную аллилуйю петь! Знаешь анекдот, как пьяницу поднимает милиционер: «Как тебя зовут?» — «Не знаю». — «Где живешь?» — «Не знаю». — «Где работаешь?» — «Не знаю». — «А год у нас какой?» — «Юбилейный». — Гриша усмехнулся. Лева, довольный, забормотал: — Вот так-то! Мы, Гришенька, если хочешь знать, устали от юбилеев. Это своего рода протест, мое пьянство, — после этих слов Лева внутренне немного приосанился и даже сам себе стал казаться благороднее.

Гриша снова поморщился, хотя и постарался это сделать незаметно, но не получилось, Лева заметил, сжался, а Гриша, не глядя на него, глядя в стол, сказал:

— А по-моему, ты уж не сердись, пьянствуя, вы тоже вполне выражаете все то же юбилейное сознание. Ликование неизвестно по какому поводу. И никакой это не протест, а распущенность — в помощь все тем же юбилеям.

Лева совсем не чувствовал в себе сил для спора, а потому сразу перебрался на жалостливый тон:

— Наверно, ты прав. Но я ж говорю, что российский интеллигент слаб по определению. Природа у него такая. Будь он даже из мусульман, как наш Шукуров Игорь, водка все равно всех перебарывает. А сколько было замыслов, планов! В этой самой комнате, помнишь, как мы тебя с Лидией Андреевной уговаривали заняться *делом*, уговаривали *писать*! Молодые были, наивные, двадцать с гаком лет — не шутка! Я тогда первый раз от Инги ушел. Мы уже шесть лет прожили, думалось — огромный срок, хватит. И не думал, что вернусь. И еще вместе сколько лет протрубим. А вот на тебе! Казалось, через двадцать лет будем если и не мировыми знаменитостями, великими учеными, то хотя бы в своей стране на первых ролях, определяющими духовную атмосферу... И что же? Едва заметная составная часть этой атмосферы, не больше, — с исповедальной навязчивостью бормотал быстро Лева. — Ничего-то из нас не вышло толкового. Как и из мушкетеров Дюма через двадцать лет. Кто чем был, тем и остался. Мелкие должности, написано преступно мало. Можно было по крайней мере в пять раз больше!.. Эх!

Гриша кивал головой, мрачней. И хотя Лева понимал, что по отношению к приятелю не совсем прав, а выходило по большому счету, что и прав. Но тот молчал, ничего не говорил.

— Ты вот, например, почему у нас не печатаешься? — ляпнул Лева, не подумав. Но тут же сообразил,

что его тут вина, хоть вначале и пытался он привлекать Гришу, пару раз ему даже конъюнктурные темы предлагал, *нужные для журнала*, но Гриша тогда отказался, потом еще делал попытки Лева привлечь его с пользой для дела, но Гриша отнекивался, а собственные Гришины статьи не лежали в русле *нужных* тем, да и встречаться они с Гришей стали все реже и реже...

— Действительно, почему? — ответил вопросом Гриша.

Смущенно Лева затрепыхался, забормотал:

— Ты понимаешь, наш Главный губит журнал, приличных людей и статей не дает печатать, печатает только «нужников», ну, нужных ему людей — из начальства, академиков, цековцев, набирает сотрудников себе под статью, а сам говорить правильно не умеет, честное слово! Ребята за ним все его словечки и выражения записывают: «Я делаю первый выбор», «о чем я призываю», «окрутить» и «проправить» — это значит «обвести» и «отредактировать». А его перл: «Учение о развитом социализме имеет все черты настоящей теории!» Короче, как говорит Райкин, главным редактором он в состоянии не быть. Помнишь, там у него был образ лектора Степы, у которого сила в словах была, только расставлять он их правильно не умел. А недавняя фразочка, что «в журнале наблюдается небольшой прогресс вперед!» Или: «необходимо взвешенно оценивать!» Это же нарочно не придумаешь! А если не начальство печатает, то все равно нужников — всяких там Гамнюковых, Пустьяковых, Лизоблюдовых! —

Поскольку Гриша слушал молча, то Лева отпил еще глоток воды, желая хоть какой-то нейтральный жест сделать, чтобы, говоря словами Главного, «переломить ситуацию на позитивные рельсы». — Он себе в замы Чухлова взял, вопиющего хама, — продолжал Лева, — а старая гвардия уходит. Ушел из журнала Орешин, ушел Боб Юдин, говорят, Кирхов скоро уйдет, — сыпал Лева именами, которых Гриша наверняка не знал. Но так звучало убедительнее. Гриша все равно молчал. — И в семейной жизни сплошные неурядицы, — пожаловался Лева, не зная, что еще сказать.

— Так ты что, от Инги все-таки ушел? Мне говорили, что у тебя молодая жена. Или ты и с ней не ужился? — спросил Гриша. Вежливо, но как о ком-то постороннем.

Лева почему-то был уверен, что у Гриши с Аней жизнь по-прежнему немирная, но поскольку Гриша об этом молчал, то и говорить было нечего. Приходилось о себе говорить. Лева снова протянул руку к стакану, стоявшему на краю стола, подержал воду в пересохшем рту, даже прополоскал рот незаметно, хотелось и горло прополоскать, но постеснялся и только медленно-медленно проглотил воду, чтоб лилась долгой и тихой струйкой. Еще бы от одной кружки пива он сейчас не отказался. Но надо было отвечать, и Лева сказал:

— Не знаю, как тебе и сказать... Ты сам подумай. Инга мне больше, чем жена, она товарищ, ты ведь ее знаешь. Но она не жена. Не могу я с ней. Понимаешь? Желание пропало. Я уж старался, но не могу, — гово-

ритель о себе было легко и приятно, а интимность темы придавала только остроту разговору. — Я перед ней, с ней — как с самим собой. Мои болячки, привычки, дурость — все она знает, все прощает. Я перед ней голенький и слабенький, как больной перед врачом или медсестрой, когда стыдиться не надо. Это важно. Это только годами совместной жизни дается. С Ингой все мое — мое. Я ведь на Ленке в двадцать один год женился, — шептал он громким шепотом. — До нее у меня женщин не было. Она у меня первая женщина была. Такое, брат, воспитание оранжерейное. Мы же интеллигенты, так нас воспитывают наши дурацкие родители, это мы потом распускаемся и до всяких безобразий доходим. Но я и после пяти месяцев с Ленкой был почти как нецелованный, и до Инги у меня снова женщин не было, то есть посчитай, да, до двадцати трех лет. Ты с нынешними-то сравни. Такие ли они? Сексуальная революция, она и у нас произошла. А я и после Ленки считал, что целовать девушку без любви нельзя, хотя и знал, что все так делают. Ты представь себе интеллигентного тихого студента, который пошел провожать девушку домой с вечера Назыма Хикмета, увлекшись разговором; в темноте он осмелел, да и девушка оказалась умненькой, понравилась ему, он и поцеловал ее на прощанье — ничего больше, клянусь тебе, ничего больше! Но она на поцелуй ответила, она меня, как выяснилось, давно отмечала, и я ей нравился, вот почему она меня тоже поцеловала. А вечером, вернувшись домой, а особенно наутро этот интеллигентный студент-

недоросль считал, что обязан после поцелуя жениться, хотя даже не мог понять, нравится уди ему, как полагается, эта девушка или нет. А уж в том, что любви тут нет, он был уверен и потому терзался ужасно. Терзался таким пустяком! И это, заметь себе, после пяти месяцев семейной жизни, развода, двух холостяцких лет!.. Он потом снова с ней встретился. Думал, что как-то загладит свой *проступок*, извинится. Он даже не понимал, что женщин такие встречи; только больше разогревают, лучше было б, если хотел порвать, вовсе не встречаться. А она и не сердилась, оказалась такая хорошая, добрая, умная, жалко ее. Вот так он и женился. Полюбил только потом Да и полюбил ли? Может, привязался только? А привязанность — вещь не менее сильная, чем любовь. Может, и более. Да, все правда, так я и женился на Инге.. Ты не знал?

— Не знал, — ответил Гриша. — Не знал. — Глаза его помягчели, увлажнились, проскользнуло в них сочувствие. — Ты же хороший, Левка, редкого ума человек бил и есть! Зачем себя губишь? Зачем пьешь?

Лева знал, что у Гриши бывают такие восклицания Искренней душевной сентиментальности, это отличало его от многих. И у самого Левки бывало это странное российское желание умилиться и все разом забыть и простить, но теперь такое состояние приходило чаще спяну, было просто-напросто другой стороной «*помадовщины*»... Ведь вроде бы то же чувство, а совсем не то. Раньше он умилялся *чисто, светло*, потому что верил своим мечтам, в свое буду-



шее... Университетские все же годы! Бегали с Гришей на диспуты, концерты, лекции, бродили ночной Москвой, трепались, говорили, обсуждали, переживали, толковали на все лады каждое событие... И все это в памяти связывалось с песней юности и надежды: «Друзья, люблю я Ленинские горы, там хорошо расцвет встречать вдвоем...» Университет на Ленгорах еще только строился, но почему-то, хотя спроектирован был еще в предыдущее время, казался символом обновления всей жизни. Было это, было.

— Гришенька, голубчик, думаешь, я не понимаю? Я больше скажу. От этого и духовные ценности девальвируются. Распад культуры происходит. Есть у нас в редакции местный остряк, Илья Тимашев. Ты его, может, знаешь, читал статью о «профессорской культуре»? При этом, как мне кажется, весьма малосимпатичный тип. Не удивлюсь, если он и еще где работает. Слишком смело порой высказывается. Так вот он тем не менее как-то хороший анекдот рассказал. Идет по улице пьяный. Видит — стоит памятник. «Кому?» — спрашивает. «Великому русскому писателю Чехову», — отвечают прохожие. «А-а, — бормочет пьяный, — это который «Муму» написал!..» — «Да нет, — говорят. — «Муму» Тургенев написал». Тут пьяный взрывается: «Вот всегда у нас так! «Муму» написал Тургенев, а памятник Чехову поставили!» Потрясающий анекдот, верно? Впервые, кроме «Муму», выговорить и вспомнить ничего из русской культуры мы не в состоянии, а во-вторых, и в самом деле забыли, кто что сделал. Все как в тумане.

не. Честно говорю тебе: сколько раз пробовал остановиться, слово себе давал, Инге давал, но не сдерживал, ничего не получалось. А знаешь, как на тебя женщина начинает смотреть, когда ты ей раз за разом обещаешь, а не держишь слова? Как на жалкого слабака! Ты и сам так на себя начинаешь смотреть! Все надеюсь, что вот Верка родит — брошу пить, завяжу. Тогда ответственность появится, особенно если сын будет.

— А перед самим собой ответственности недостаточно?

— Гришенька, это ты мне мои слова двадцатилетней давности возвращаешь!.. Я тогда тебе тоже все об ответственности перед самим собой говорил, говорил, чтоб ты бросил все и занялся наукой. А ты все на сына, на Бориса кивал, что не можешь его оставить, что у Тебя перед ним ответственность есть. Вот я себя проиграл, потому что не о ком заботиться было, а ты все же хоть кое-как, а держишься. Ну извини, старик, может и не кое-как, а как следует, не в этом дело. А в том, что я тоже хочу воскреснуть, остаться на земле хоть как-то, сын мне поможет.

— Я не знаю твою Верку, — Гриша произнес эти слова медленнее. — Я знал, что ты Ингу оставил, но про Верку знаю только, что она есть. Давно, однако, мы с тобой не виделись. И кто она?

Вопроса этого Лева, не признаваясь себе, все же почему-то боялся. Ребята знали Верку, видели Левку каждый день, его жизнь, его эволюция, его связи и поступки были им понятны без объяснений, а Грише

слишком надо много объяснять. «У него моя жизнь не очень-то перетряхнута, — думал Лева, — в его калейдоскопе. И это очень хорошо. Я там все еще присутствую, пусть слегка меня очертания — от близкого друга до почти бывшего друга. И надо сделать так, чтоб там остаться, с другой женой, но остаться. Нет ничего страшнее, если перетряхнут калейдоскоп твоей жизни, и ты куда-то вывалишься».

— Верка? Она очень хорошая. Тебе что, ее социальный статус? Ну невысок. Среднее образование, работает машинисткой. Но в этом разве дело? Разве дело в образовании? Понимаешь, она умная, красивая, добрая, почти как Инга, и, самое главное, она тоже своя. Это ведь самое главное! Ты согласен? Есть и еще, чего мне в Инге не хватало, старик, а это очень важно, то, что я сейчас скажу, без этого мужчине с Женщиной не жить, это даже не постель, хотя постель очень важна, чего скрывать, но это важнее: она меня *уважает* и *почитает*, я для нее нечто *значу*, не просто как мужик, а как *выдающаяся фигура*, Она с такими раньше не сталкивалась, это лестно, старик, это приятно, это надо, чтоб тебя в твоей семье уважали. А Инга за долгие годы потеряла веру в меня, перестала уважать. А это силы отнимает, вера же в тебя силы придает. Ты извини, что я так все вываливаю, мне давно хотелось с тобой поговорить, исповедаться, что ли... Исповедь возникла же не случайно. Она душу очищает, спасает, лечит. Исповеднику, конечно, тяжело чужую грязь видеть. — Лева выпил снова глоток воды, но скорее

автоматически, потому что, несмотря на длинный разговор, сухость в горле и жажда прошли.

— То есть, — перебил его Гриша. — ты хочешь сказать, что в вашем разводе виновата Инга?

— Не так прямо, Гришенька, не так прямо. Вон у тебя Владимир Соловьев на полке стоит. Там стихи его есть? Ну, неважно. Инга все любила повторять его строчки. Это она говорила, что человек сам творец своего несчастья. Я согласен с ней. Каждый сам в своей жизни виноват, это понятно ведь. Она обычно цитировала из Соловьева вот что. Стихи, правда, шуточные, но ничего.

— Да ты прочти лучше, чем рассуждать.

— Читаю. Если, конечно, правильно помню:

Своей судьбы родила крокодила  
Ты здесь сама.  
Пусть в небесах горят паникадила —  
В могиле тьма.

Понял? Каждый человек рождает крокодила своей судьбы... — на этих словах Лева поперхнулся и замер, уставившись на Гришу. Перед глазами всплыла в мутном таком ракурсе вчерашняя длинномордая высокая фигура, вчерашний кошмар, но все-таки одно дело стихи и рассуждения, другое — реальность жизни. Да и ребята его утром успокоили, посмеялись.

— Ты чего? — спросил Гриша. — Призрак увидел?

— Х-хе, — тоном Кирхова попытался ответить Лева, то есть тоном, как казалось ему, выражающим

абсолютное презрение к вопросу и абсолютную же независимость (интонациям Кирхова многие подражали в их конторе). — Не говори чушь! — И тут он почувствовал такой позыв к мочеиспусканию, что, чудилось, еще секунда и разорвет мочевого пузырь. «Пиво проклятое», — подумал Лева. — Ты извини, — вскочил он. — Мне надо... надо выйти.

— Куда? — не понял Гриша.

— В туалет. Надеюсь, он у вас на том же месте?

— Разумеется. У нас все на том же месте, — в ответе был намек на Левин так и не разыгранный как следует вопрос о Гришиной жизни. — Ты географию квартиры помнишь?

— Угу. — Приплясывая, Лева высочил в коридор, бросив мимоходом: — Надеюсь, Аня меня по дороге не съест?

В коридоре никого не было. Лева быстро прошмыгнул мимо деревянных полок с журналами и книгами, занимавших все коридорные стены, и тоже — от пола до потолка, показалось даже, что добежать не успеет. Но успел. Выйдя оттуда и чувствуя огромное облегчение, способность воспринимать окружающий мир, он услышал движение и шепуршание в Аниной комнате: похоже, что она куда-то собиралась или чего-то делала. И тут Лева вспомнил снова, что Гриша ведь говорил ему, что с Аниными родственниками, или нет, с одним из родственников что-то случилось. Но что? Надо было скорее пройти к Грише в кабинет, спросить, в чем у них дело, пока

ненароком не вышла Аня. Однако не удалось. Дверь Аниной комнаты открылась, на пороге стояла Аня. За двадцать-то лет она погрузнела, потучнела, хотя и не сильно, носила очки, по-прежнему делала себе перманентную завивку, чтоб волосы кучерявились, и по-прежнему взгляд, обращенный на Леву, был суров и неласков. Хотя было в нем сейчас некое ожидание.

— Здравствуй, Анечка, — пробормотал, согнувшись, Лева.

— А ты руки после туалета теперь не моешь? — явно она хотела что-то другое спросить, эта фраза вылетела от раздражения, это Лева почувствовал.

— Мою. Я туда и шел. — Он метнулся в ванную комнату и через минуту уже снова стоял перед Аней.

— Ну и что скажешь? — Тон ее стал мягче, отчасти даже виноватый, а лицо было почему-то белое, ни одной живой черточки.

— По поводу?.. — переспросил Лева, не среагировав и сразу, и оторопел, увидев, как отшатнулась от него Аня, с недоумением и возмущением во взгляде.

— То есть ты имеешь в виду тот вопрос, по поводу которого мне по телефону говорил Гриша? — неуклюже завертелся Лева, переминаясь с ноги на ногу и пытаясь к Гришиному кабинету.

— Если *это* ты называешь «вопросом», то говорить нам с тобой, конечно, не о чем! — запунцовела вдруг разом Аня. До этого она казалась старше Гриши, старее даже, а теперь снова помолодела. — Где Гриша? Гри-ша! — позвала она, сжав на груди руки.

— Ты держишь на меня зло и не любишь меня. Я понимаю, — сказал Лева самым гадским и оскорбительным своим голосом, который он всегда выпускал, когда попадал в безвыходное положение и собирался прибегнуть к хамству. — У нас с тобой старые счеты.

— Лева, остановись! — крикнул подошедший сзади Гриша, хватая его за плечо.

— Ничего, Гришенька, родной!.. Я молчу. Просто Ане не нравится, что я пришел к вам в дом. Боже мой! Да я сейчас уйду. Пожалуйста, — он видел, что лицо у Ани стало в тон ее ярко-красному байковому халату, тонкие губы плотно сжались.

— Ребята! Лева! Аня! Остановитесь! Вы что! — говорил, а то даже и восклицал миролюбивый Гриша. — Как вам не стыдно! Такой день сегодня грустный, тяжелый! Надо всем вместе быть и не ссориться. Жизнь слишком коротка, чтоб ее на такое тратить. Пошли все на кухню. Это даже хорошо, что Лева приехал. Мы же с тобой, Анечка, об этом говорили уже. В такой ситуации мужчина всегда может понадобиться, хотя бы гроб нести или венки...

— Мужчина, может быть... — сказала Аня презрительным, но тихим голосом, приоткрывая дверь в свою комнату. — Я пошла собираться. Тебе тоже пора, если, конечно, ты хочешь со мной ехать. Можешь в конце концов и со своим другом остаться. Вам наверняка есть о чем поговорить... Но *об этом* я тебе говорить запрещаю. Это меня касается. — И она закрыла за собой дверь.

«Так и не простила, — подумал Лева. — Все же ограниченность и злопамятность женского ума поразительны».

Он повернулся к Грише. Тот стоял понурившись и задумавшись.

Как только еще в разговоре с Аней Гриша помянул о венках и гробе, Лева сразу вспомнил то, что говорил ему Гриша по телефону, о Горе-Злочастье, которое явилось к Аниным родственникам, об Анином погибшем племяннике, иными словами, думал он, ему пофартило, повезло, что не пришлось сознаваться в своей забывчивости, теперь надо только делать вид, что он и раньше помнил, и упрек может быть только один — в грубости сердца, в невнимательности, в эгоизме. Неприятно, но перенести почему-то легче, чем упрек в забывчивости. И Лева забормотал:

— Прости, старик, собственная жизнь замучила. Поэтому вместо того, чтоб Аню отвлечь или развлечь, я, похоже, только усугубил. Ты расскажи, что там случилось, какой совет от меня надо, я постараюсь, может, чего в голову и придет.

— Пойдем в комнату, я буду переодеваться, — ответил сумрачно приятель. Все же его угнетала размова с женой, Лева это видел.

Они вернулись в Гришин кабинет. По тому, как, надулся Гриша, Лева понял, что рассказывать он ничего не будет.

Лева тоже надулся: что он, хуже всех, что ли?! 'Он хотел всего ничего — исповедаться, поплакаться, о

душе поговорить и тем самым от скверны очиститься. К кому же и пойти было, как не к самому старому другу, которого хранишь на дне души на крайний, последний случай?! И вот он чувствовал нараставшее Гришино отчуждение, и это было ужасно, потому что сам был в этом виноват. Внес лишнее напряжение и фальшь в дом, где и без того все непросто. И вся ситуация стала невозможной. Аня небось и так с трудом перенесла его приезд, но смирилась, понадеявшись, что он, Лева, посоветует что-нибудь, посочувствует хотя бы. А он только о себе и помнил. Грише первому говорить было неловко: он дал Лева излиться. А теперь в дело встряла Аня, обиделась, видите ли, а Гриша как был подкаблучником, так им и остался, — зло думал Лева.

Лева исподлобья смотрел, сидя на диване, как Гриша достает из шкафа старый черный костюм: по фасону видно было, что костюм еще Гришиного отца-профессора. Потом Гриша на секунду повернулся к нему, и Лева с раскаянием увидел на его лице боль и сразу вспомнил, что Гриша всегда мучился и просто физически уставал от фальшивых ситуаций. Лева понимал, что это от возникшей дисгармонии при столкновении душ, разнотонно настроенных. Жена просила не рассказывать, друг назойливо просит рассказать, думал о себе в третьем лице Лева, — ситуация безмерно дурацкая. При первых звуках фальши Гриша и всегда-то съезживался как мимоза, а сегодня что-то уж особенно. Лева заметил выражение мешковатой смущенности и искусственно натянутой улыбки на его

дрожащих губах. Следующий этап, если нескладница будет расти, как несложно было догадаться, — улыбка уйдет, он потускнеет и вообще окаменеет. Тут бы и уйти, но это Лева казалось сейчас унижительным. И он остался сидеть, упрямо-выжидающе глядя на Гришу.

— Ну что ты смотришь? — вдруг раздраженно сорвался Гриша. Это его раздражение Лева чувствовал каждой клеточкой тела и души. — Помочь все равно не поможешь. Любопытство гложет? Тогда изволь!..

Лева хотел было обидеться на эти слова, но то, что рассказал ему Гриша, а потом добавила подошедшая и слегка успокоившаяся Аня, привело его в оцепенение. Человек — ничтожная пылинка, игралище бессмысленной судьбы, думал Лева, слушая рассказ. А может, и не бессмысленной, но земным умом этого не понять. Может, Инга права, что человек всегда сам творец своего несчастья. А ведь и он, Лева, человек, значит, и с ним может нечто подобное случиться в любой день. И как предотвратить?

Гриша рассказал, что Анин племянник Андрейка, двадцативосьмилетний парень, второй раз женатый («Как и я», — отметил про себя Лева), инженер, вполне прилично зарабатывал, от первого брака одна дочка, от второго — две, пошел позавчера с приятелями купаться на пруды у Ждановского метро, их почему-то называют «отстойники», при этом, наверно, подвыпил, нырнул и головой в тине увяз, ногами подрыгал, а пока все смеялись, он и захлебнулся. Это вечером сообщила по телефону его жена.

— Откуда ж такие болотистые пруды в Москве? только и спросил Лева.

— «Москва» — значит болотистая, с древнебалтического. — сказал сухо Гриша. — Здесь же раньше древние балты и угро-финны жили. Все величие наших с тобой предков в том, что на месте болот построили великий город, Белокаменную. Но топь-то осталась. Не все еще цивилизовано. Да не в том дело.

Действительно, как рассказал он дальше, затем началось нечто странное. Выяснилось, что принесли Андрея посторонние якобы люди, приятели куда-то исчезли. Хотя откуда посторонние узнали его адрес? Какие приятели приходили к нему в гости, никто не видел. Жена с младшей дочкой была в поликлинике, а старшая почему-то весь день проспала, никого не помнит, кто и приходил. Потом его мать, Анина сестра Серафима, вспомнила, что и вообще Андрейка не любил в незнакомых местах купаться, потому что плавать не умел. Тут все заговорили, что компания, с которой он последнее время якшался, была какая-то нехорошая: карты ночами напролет, какая-то мелкая спекуляция, стали подозревать убийство, допытываться у жены, что у них были за приятели. Та вначале отнекивалась, что, мол, не знает, а потом вдруг сказала, что обнаружила Андрейкино предсмертное письмо, в котором он сообщает, что покончит жизнь самоубийством. «Было ли что или не было, — сумрачно произнес сентенцию Гриша, — никто сейчас доказать не может, но игры с темной силой до добра не доводят».

— А чего сомневаться — все было, — слышался фуг от двери Анин голос. — Не мог он с собой покончить: мамсик был всегда. Это, конечно, Сима его разбаловала. Но ее можно понять. У мальчишки в пять лет нашли порок сердца. И она его на себе с пятого этажа на улицу, а с улицы на пятый этаж на закорках таскала. А потом уж, естественно, всячески оберегала, лучшие куски в тарелку подкладывала, всем похуже, ему получше, старший его брат Витя был в большом из-за этого загоне, но очень уж добродушный парень, нисколько не сердился. Хотя, как мне кажется, Андрейка хоть и был мамин баловень, которому многое позволено, но он как-то и для себя, и не для себя жил. Он, знаешь, Лева, был из тех, что норовят, что называется, «все в дом». А дом там, где жена и дети. Все для них, не для родителей, не для брата, да и не для первой жены с дочкой. Сима говорит, что с компанией он «какой-то связался, в карты играл. Ну и что? Ну не в карты же он себя проиграл. Чуть какая-то. Проиграл, а проигрыш означает самоубийство, так, что ли? И совсем странно, как все это произошло. С работы ушел рано. В два часа зашел к родителям, пообедал, он любил вкусно поесть, а жена, видимо, не очень-то готовила. Был веселый, как всегда ласковый, в три пошел домой. Сима ему с собой еще здоровенную треску упаковала. Он ее взял, в авоську сунул. Настоящий семьянин. Все в дом. А в полшестого или в шесть уже позвонила его вторая жена Людмила (первую, кстати, так же звали) и сказала, что Андрей утонул.

Лева обернулся, внутренне обрадованный, что с ним разговаривают, к нему обращаются. На пороге комнаты стояла Аня в черном платье, черном платке. Она не могла, как и надо было ожидать от женщины, не интересоваться разговором, который ее затрагивал. А Лева во все время рассказа продолжал испытывать цепенящий, непонятно от чего берущийся ужас. Люди, которые заставляют проигравшего топиться, люди, играющие в карты на жизнь, были из запретного, маргинального мира, с которым Лева хотя и ходил обок, но никогда, в сущности, не соприкасался и старался не думать о его существовании. Ведь то, о чем не мыслишь, как бы не существует. Ему бывало не по себе даже от ночных криков, хохота и ругани, доносившихся сквозь зарешеченное окно в его комнатке на Войковской (на окно поставила решетку сдавшая Лева комнату хозяйка — все-таки первый этаж; правда, она рассказывала, что какую-то ее шаль даже сквозь решетку удочкой подцепили и выкрали). Но это стрезва. Спьяну он как бы вступал в другое измерение, ему любое болото было по колено. Сейчас Лева был скорее трезв, чем пьян, и ему было страшно.

— Ты б ее видел, — добавила Аня, — худенькая, тощая, как ящерица или болотная змея какая, глаза как у... у... какого-то зверя, чужие, недобрые. А голос приветливый, даже ласковый, просто мороз по коже. Она себе чисто алиби устроила. Муж утопился, а ее дома в этот момент не было, не знала даже, что он купаться ушел. Так разве бывает? И дочка не знала, спала,

не видела, приходил ли кто к отцу. Я говорила Коле, что у девочки надо кровь взять на анализ, анализ на снотворное. Теперь они время, конечно, упустили. Я думаю, она старшей снотворное вкатила, с младшей ушла, а кому-то свои ключи передала. Они пришли, бандиты эти. Уж что они с ним делали — не знаю. А потом с собой увели. Я не верю, чтоб Андрейка сам утопился. Кто-то над ним это сделал. Письмо заставили написать, а потом убили.

— И что там? — неуклюже подскочил к Ане, трясая своим толстым боком, Лева. — Предсмертное письмо?! И что, что там?..

Почему-то его ужасно взволновало возможное содержание письма. Как завеса из другого мира приоткрылась. Ключ, ключ ко всему!..

— Гриша, ты помнишь точно? — спросила Аня. — Ну да я сама помню. Дорогие мама и папа. Так он начал, — пояснила она. — Люся... Потом это слово зачеркнуто. Людмила ни в чем не виновата. Ее ни в чем не вините. Я ухожу из жизни по своей воле. Не ищите никого ради своих внучек. Я сам так решил. Никого не вините. Побеспокойтесь о Людмиле и внучках. И никакой подписи.

— А почерк его? — почти выкрикнул Лева.

— Его. И Коля, и Сима признали его руку.

— И после такого письма вы думаете, что это самоубийство?! — завопил Лева. — «Не ищите никого ради внучек!»! Да это же прямое указание, что надо искать!

— Экспертиза признала отсутствие насилия, — глухо и устало проговорила Аня.

— А письмо все-таки странное, — сказал Гриша, тиская рукой подбородок. — Словно под угрозой чего-то написано. Но чем они ему могли угрожать, кроме смерти? А ведь на смерть он, судя по письму, готов. Значит, чем-то более страшным.

— Могли угрожать убить жену, детей, пытать детей! — предположил Лева и вдруг невольно сам поверил в свое предположение и с замиранием сердца, но живо представил себе компанию глумливых молодых насильников и убийц, которые угрожают несчастному отцу то убить детей, то приставляют нож к его собственному горлу, то к телу спящей глубоким беспмятным сном пятилетней девочки, пока не вынуждают написать под диктовку предсмертные слова, выгораживающие убийцу, реальную убийцу — собственную жену жертвы. А то, что нет подписи? Это или знак, который он родным оставил, что не сам писал, раз не подписался, или еще страшнее: может, кто из убийц, одурев от незащитности жертвы и собственной безнаказанности, потащил его на пруд, не дав дописать письмо. Лева почувствовал, вообразив все это, что сам обессилевает от ужаса, как жертва, лишаясь всякой способности к сопротивлению. «Но Гришу-то, мыслителя, почему эта посторонняя смерть так волнует. Он же не общался с покойным, да и с родней его тоже не очень-то. Небось из-за жены!..» — вдруг зло и холодно подумал Лева и посмотрел на нее.

Аня, понуриив голову, так и стояла у порога:

— Кажется, что угодно можно пережить, чем такое. Особенно матери. Для любой матери лучше, чтоб с ней все это произошло, чем с сыном. Почему ж ей не думать, что невестка сгубила сына? Раз не сумела защитить, значит, сгубила. Тем более что и подозрения есть серьезные, — она говорила, а Лева про себя отметил, что у Ани так и остались просторечные интонации в речи, которые он помнил еще с разговоров двадцатилетней давности. — Мало ли какие в этой шайке были правила?! У этой Людмилки и татуировка, на-колка, как она называла, на руке есть. Она не случайно все в платье с длинными рукавами ходит. Сима вначале даже умилялась: вот, дескать, девочка стесняется школьной глупости. А кто это в школе татуировки делает! — об этом и не подумала. Лагерная она или просто блатная. Теперь Сима думает, что Андрейка или в карты много денег проиграл, а расплатиться не сумел, или чего хотел об этой компании рассказать куда надо, жене признался, а она этим и донесла.

— Да, второе похоже на правду, — сказал Гриша, а Лева понял, что он не только из-за Ани, а и в самом деле огорчен и принимает случившееся близко к сердцу, и что все варианты уже не раз были здесь обсуждены, и что в его присутствии просто уточняются оттенки в надежде, что вдруг что-то упущенное вспомнится и прояснится.

— Человек, который собирается покончить самоубийством, — продолжал в который раз, видимо,



перемалывать это соображение Гриша, — не идет спокойно к матери обедать, не берет домой треску... Этот предсмертный визит в родительский дом как раз и наводит на самые большие сомнения!.. Но чтоб жена!.. Мужа, отца двоих детей, кормильца, в конце концов! Мужика, которого с таким трудом отбила от первой жены... Если это все же так, значит, какие-то глубинные недра всколыхнулись, чтоб такая нечисть на поверхность вылезла, какие-то безжалостные доисторические твари, холоднокровные пресмыкающиеся!..

Они говорили, а Лева чувствовал, как по спине катится пот, холодный, липкий. Вот так уйдешь из жизни, и ничего про тебя, кроме разговоров, как ушел, как дуба врезал или сандалии откинул.

— Вот что значит выйти из своей колеи, — не очень впопад разговору, но выговаривая собственные страхи, выпалил Лева. — Мы уже немолодые, а все не можем понять, что слова: «связался с дурной компанией», «не нашего круга» — очень точные слова. Нельзя попадать в чужой круг. Нельзя, чтоб в твоём калейдоскопе Щи калейдоскопе твоих друзей менялся узор жизни.

Гриша посмотрел на него вопросительно и с любопытством при словах о калейдоскопе, но Аня оборвала его речь:

Ладно, хватит разговоры разговаривать. Нас к четырем ждут, а сейчас без десяти четыре. Я одна пошла.

Одетый уже в черный костюм Гриша заторопился:

— Я иду, я уже иду.

— Я тоже с вами поеду, я тоже, — засуетился и Лева, опасаясь, что сейчас будет унижение: давай, дружок, езжай домой, тебя не возьмем, это внутри-семейное дело. А что дома делать? — Я все же Симу с Колей знал, — добавил Лева быстро. Костюм его, правда, оставлял желать лучшего: свитер и брюки с бахромой. «Хорошо ли мое чадо в драгих портах? А в драгих портах чаду и цены нет», — вспомнил он неожиданно строчки из «Горя-Злочастья», мелькнувшие сегодня перед глазами. «Что за черт! Привязалась ко мне эта фигня! Подумаешь, пьянство! Тоже мне метафизика! Это Тимашев хватил. Главное, что социального смысла в ней нет. Так, частность, медицинская проблема... И словечками об архетипе культуры тут не поможешь», — думал Лева, следя при этом жалкими глазами за Гришей и Аней.

— Это правда, — сказал Гриша. — Тем более, может, помощь какая понадобится. Мы ж говорили..

— Мне все равно. Только давайте скорее.

Гриша открыл дверь. Лева подхватил плащ и вышел на лестницу, за ним Аня с Гришей. Гриша запер дверь на два оборота ключа.

Они спустились по лестнице и вышли из дома. На Улице все так же было жарко и парко. Они вышли к шоссе и пошли вдоль по обочине, пытаясь остановить машину. Но только когда они дошли до бензоколонки у Тимирязевского парка, им удалось взять такси.

## Глава V Поминки

И опять Леву несло куда-то, к чужим людям, в чужой дом, да еще и в чужую беду. Но от такого бокового движения по жизни он чувствовал облегчение: казалось, что чем-то занят, не впустую проходит день. Остаться один на один с собою было страшнее: Лева принимался слоняться по комнате, перекладывая листки бумаги, писал две или три фразы, потом начинал рыться в книгах, думал о том, сколько книг им не прочитано, брал сразу две, три, а то и четыре книги, карандаш, блокнот, укладывался со всем этим на продавленную кушетку, зажигал хозяйский торшер (который раздражал его своей аляповатой тяжеловесностью), листал одну, вторую, третью, выхватывая из каждой случайные абзацы и строчки, втайне понимая, что для серьезного чтения нужна целенаправленность и целеустремленность, регулярность занятий, другой образ жизни. Он начинал грезить о библиотеке, о когда-то любимом третьем зале Ленинки, о старых толстых журналах и книгах, которые он бы листал, читал, никуда не торопясь, делал выписки с указанием года, места издания и страницы, ходил бы в буфет, в курилку, затем возвращался, слегка бы вздремывал за столом, положив голову на руки, потом пробуждался, встряхивался и вновь принимался за чтение. В этих мечтах он засыпал. Просыпался часа в четыре утра, изломанный, не отдохнувший, обнаруживал, что

лежит одетым на кушетке, книги так и не были прочитаны, — в общем, плохо.

Зато сейчас на душе было покойно. Машина его везла куда-то, он не прикладывал никаких собственных усилий, рядом Гриша, можно привалиться к дверце легковушки и подремать. Аня и Гриша молчали всю дорогу, и Лева и в самом деле задремал. Ему снился сон. Он идет по зеленому лугу. И во сне понимает, что луг — это символ человеческой жизни. Но жизнь прожить — не поле перейти. Поэтому луг — это только начало жизни, понимает так Лева во сне. Птички порхают и свиристят в синем ясном небе, солнце яркое и жаркое светит и сияет, синие цветочки разбросаны по зеленому лугу, и желтые тоже, и красные. Парко. Ноги утопают в зеленой мякоти травы, приятно пружинящей при ходьбе, ну и, конечно, разноцветные бабочки порхают, за которыми Лева с сачком бегаёт. Потом уже сачка у него в руках нет, зато ногой Лева проваливается куда-то, выдергивает ногу и чувствует, что промок. Вот уже почва стала хлопать под догами, и скоро оба сандалета Левины наполнились водой и отяжелели, носки совсем мокрые, и он уже принужден ногой нащупывать корневища кустистых трав, чтоб не чапать по воде. По-прежнему трава зеленая, влетают бабочки и стрекозы, шуршат совсем рядом своими крыльями, краснеют, синеют, желтеют цветы, но постепенно и незаметно для себя Лева осознает, что скачет с кочки на кочку, а под ногами у него болото с «окнами», затянутыми ряской. А тут и вовсе разглядел он просветы с

чистой водой. Лева стало не по себе. А все равно надо куда-то прыгать, все вперед и вперед, назад почему-то не повернуть, а впереди цели никакой не видно. Кое-где вода в «окнах» была бурой или желтой, а вокруг почти из-под каждой кочки что-то хлюпало, хляпало, хлопало, всасывало и извергало, мычало, рычало, ворчало, рыгало, плямкало, хюкало, пускало пузыри и струйки пара, сопело, шипело и квакало. Теперь Лева стало жутко, он почувствовал отчаяние, хотелось куда-нибудь на сушу, на твердую поверхность. И вдруг вдаль заметил он островок, на нем скособоленную хибарку или сараюшку, а может, и барак, в котором жил раньше рабочий люд, кривую, накренившуюся к болоту сосенку на пригорке островка с толстыми выступающими из земли корневищами, издали заметными, и еще более кривую березу у самого берега. Вроде бы и цель появилась — к островку надо было идти. Но в этот самый момент Лева испытал непреодолимое желание освежиться, плюхнуться в одно из этих болотных «окон», пока окончательно он не расплавился на солнце. В конце концов, теперь цель видна, можно и расслабиться. Конечно, он знал, что опасно в болоте варзгаться, затянуть может, всовать, не выдерешься. Но хитроумный Лева решил в таком из «окон» окунуться, где полузатопленное бревно плавает. Таких бревен много на болоте Лева видел: лежит на воде древесный ствол, корой покрытый, и не шевелится. А кругом хляп, хлюп, хлоп. И в ум не пришло подумать: откуда здесь древесные стволы, у когда кругом — ни деревца,

кроме той кривой березы с сосенкой. Нашел он такое «окошко», за кору ствола ухватился и сполз тихо в воду. А бревно вдруг шевельнулось, и увидел Лева повернутую к нему внимательную морду аллигатора. «Купаться нельзя. Аллигаторов тьма. «Неправда», — друзьям отвечает Фома», — вспомнил во сне Лева детские стишки. И очень отчетливо мелькнула мысль (он ее сразу со стыдом вспомнил, как проснулся): «Может, он кого уже съел, сыт и меня не тронет? Может, даже он меня примет за своего и мы подружимся?» Крокодил зевнул, поднявши верхнюю челюсть, нижняя оставалась неподвижной. Холод пронизал Леву от низа живота до горла. И он проснулся.

Машина, вздрогнув, затормозила и остановилась. Лева закрыл глаза и снова открыл. Он был в машине. Глаза увидели обычную картину за окнами: кусты, песочницу, детей, два столба с натянутой между ними веревкой, на которую тетка в расстегнутой кофточке, за трапезной юбке и домашних тапках на босу ногу вешала белье, — типичный быт окраинного городского района.

— Борис когда приедет? — услышал Лева Анин голос.

— Сказал, что прямо из библиотеки сюда. Думаю, часам к пяти, — это отвечал Гриша. Говорили они о своем сыне. Это Лева понял. Открывать глаза ему не хотелось. Он переживал свой коллаборационизм по отношению к чудовищу, ведь надо же понимать, укорял он себя, что с этим прямым потомком доисторических гадов договориться невозможно. Фу, мерзость!

Видимо, он опять задремал, потому что второй раз открыл глаза на словах Ани:

— Зачем было брать его? Не понимаю. При этом Гриша пытался трясти его за плечо и тащить за рукав из машины. Шофер подпихивал его с другой стороны.

— Я сам, — Лева вылез из такси, чувствуя себя, не смотря на ясный день и жару, вечерней развалиной. Его даже познабливало.

Дом, к которому они подъехали, был блочный, еще хрущевских времен: пятиэтажный, с низкими потолками, а потому и невысокий, почти по уровню третьего этажа, если сравнивать с Гришиным домом, производил впечатление барачного строения слегка модернизированного типа. У дома было три подъезда, перед каждым — лавочки, на которых обычно сидят старухи и судачат либо вечерами спускаются в летнюю пору мужики в тренировочных брюках, майках-безрукавках и шлепанцах посидеть покурить, поглядывая на небо и во двор. Под окнами первого этажа высажены кустики и деревца, образующие своими чахлыми телами запланированные прямоугольники зелени. На улице толпились очками жильцы. Перед подъездом, где они остановились, народу было больше обычного. Пожилые толстые женщины в темных платьях, мужчины разных лет в черных костюмах, столь же мрачно одетые девушки и парни. По обеим сторонам подъезда были прислонены к стене и к скамейкам венки из смеси живых и искусственных цветов, повитые траурными лентами.

Когда они двинулись к подъезду, из толпы старушек и пожилых женщин им навстречу выбралась одна мерной плюшевой жакетке, припала к Аниному плечу и запричитала:

— Племяша, родная моя! Вот как свидеться-то велось! Хорошо, Антон не дожил, царствие ему небесное. Он из внуков-то, ты уж прости, не Борю твоего, а Андрейку больше всех любил.

Аня похлопывала ее по спине ладонью, успокаивая:

— Ладно, тетя Паша, ладно тебе. Как там Сима сегодня?

— Покрепче, крепче, чем вчера.

Уже на лестнице, узкой, с короткими пролетами, плоскими и низкими ступенями, где рядом не поместиться, Лева спросил:

— Кто это подходил?..

Гриша, шедший на ступеньку впереди, обернулся, приотстал от Ани и ответил шепотом:

— Сестра Антон Гаврилыча, покойного Аниного отца.

Они поднимались на четвертый этаж. По дороге, на втором этаже, слышалась приглушенная музыка, шум, вдруг донесся крик: «Горько!» «Надо же, чтоб в том же подъезде, — подумал Лева, — смерть и свадьба. Шутки жизни, бесконечный калейдоскоп смертей и рождений». Видимо, о страшном, противоестественном сочетании подумали все поднимавшиеся, потому что Гриша вдруг повернулся:

— Непонятно, для кого это страшнее. Для тех, кто внизу или кто наверху. Маяковский как знал, ког-

да сравнивал, помнишь? «Страшнее, чем смерть на свадьбе». То есть страшнее трудно придумать.

У дверей квартиры на лестничной площадке, а также на пролет ниже и выше стояли молодые, как казалось Лева, парни в черных костюмах и курили. Было им лет по тридцать, очевидно, ровесники покойного Аниного племянника. Среди них оказался и его брат, как догадался Лева. Невысокий парень с широким лицом, в очках, с темной родинкой на щеке, подошел к Ане:

— Здравствуйте, тетя Аня, пойдете.

Она взяла его за руки, и они поцеловались. И Аня снова спросила с беспокойством:

— Как мама, Витя?

— Ничего, она вас ждет.

Лева умом понимал, что ему надо бы уйти, что не ждут его здесь, не до него, что он навязался мягкосердечному Грише, что не место ему среди горя, но жуткое чувство тоски и вдруг проснувшегося почти животного одиночества заставляло цепляться за Гришу, апеллируя к их прежней дружбе. А здесь какая ни ситуация, а все же люди, голоса, разговоры.

— Он с нами, — сказала Аня о Лева, испуганно мостившемся рядом. — Мы думали, Витенька, вдруг мужчина понадобится.

— Да нет, мужчин хватает, — ответил Виктор, поцеловался с Гришей и сказал Лева: — Пойдете. Хотя помощи не надо, но спасибо за предложение. Посидите, пожалуйста, с нами, помянем Андрейку.

Голос у него прервался, и он повел их в квартиру. В квартире было суетно, хлопотно, заплакано. Женщины с красными, зареванными лицами накрывали в большой комнате стол, уставляя его блюдами, носимыми с кухни. Мужчины стояли у окон, черные как мухи. На подоконнике стояла пиала с водой. «Для обмыва души», — пояснил один из мужчин на недоуменный Левин вопрос. Семья из деревни, несмотря на долгую городскую жизнь, сохранила старинную обрядовость, об этом Лева и раньше догадывался по Гришиным рассказам. Из разговоров Лева понял, что отец Андрея и его вторая жена уехали в морг, зато в комнате была первая жена, оставленная, пухлая молодая блондинка, в окружении бывших одноклассников, молодых мужчин и женщин. Временами она принималась плакать и тереть глаза маленьким белым платочком. Ее тут же начинали гладить по спине, по плечам, утешали. Покрутившись по комнате, едва не разбив локтем стекло серванта, чувствуя, что всем мешает, Лева поплелся на кухню, куда еще раньше скрылись Аня с Гришей.

Кухня была крошечная. Одну стену занимали белая электрическая плита, кухонный стол и раковина. Над столом висела белая крытая полка с посудой, над раковиной — сушилка для посуды. Простенок напротив двери целиком был занят окном. Сейчас там, у окна, стоял Гриша с каким-то мужчиной и о чем-то говорил. У противоположной стены стоял шкафчик, тоже белого цвета, а рядом стол, очевидно предназначенный для кухонных трапез. За ним сидела Аня

и толстая женена в ситцевом платье, очках с золотой оправой, кудельками на голове, такой же «шестимесячной», как и у Ани. По ее толстым мягким щекам прямо из-под очков текли слезы. Лева догадался, что это и есть Сима, Серафима, мать Андрея и Анина сестра. Сестры резали лук, огурцы, селедку, красную рыбу, а заходившие на кухню женщины уносили все это в комнату на стол. Пожилые женщины все были в теле, корпулентные, толстые, очевидно, думал Лева, из того «социального слоя», где женская красота виделась в толщине, пухлости, обилии тела. Он и фразу одной из этих женин, его мысль подтверждавшую, услышал: «Вот Андрейка взял за себя худеньку — и что вышло! Худенькие, они недобрые, себе на уме». Раньше, встречая таких толстых баб в автобусах или трамваях, где они занимали своими мясами почти по два места либо вмертвую перегораживали проход, Лева замечал про себя, что такая толщина антиобщественна, антисоциальна. Теперь же он подумал, что, может, и вправду зато толстые добрее. И тут же, словив эту мысль, решил, что одурел окончательно, раз оказался способен на такие умозаключения.

И озлобился. Вспомнил старую неприязнь к Аниной родне: «Что меня сюда занесло?! Мещанское болото! Здесь сразу как-то тупеешь. Смерть — великое таинство, а они о чем говорят? О чем они вообще могут говорить?.. И Гриша, Гриша, мыслитель, интеллигент во втором поколении, как сказал бы прежний зам Главного!.. И в самом деле, ведь Гришин отец — профессор,

а его куда занесло?! Как он может с этими мещанами общаться? Как ему времени не жалко? А я? Я чего поехал? — И с неожиданной резкостью самобичевания, которое сегодня одолевало Левину душу, сказал себе: — Погреться у чужой беды — вот чего. Дом чужой горит, а я сбоку притулился, греюсь. Чтоб одному не оставаться. Так не лезь, не злись. В конце концов, сам-то ты что из себя представляешь? Неужели Главный лучше? Или Чухлов? А ведь общаешься с ними. Или новые мои соседи — Иван да Марья? Они, что ль, интеллектуалы? А вчера — с кем пил и что вытворял?! Ф-фу! Расслабься. Всюду жизнь. Будь проще».

Сима плакала, резала снедь и говорила:

— Не знаю, как все произошло. Не могу представить, что это произошло. Еще позавчера он пришел днем, веселый такой, ласковый, пообедал у нас. И треску я ему с собой завернула. Он же был такой домовитый, запасливый. А вечером уже звонит Людмила, что он утонул, утопился... — Она отложила в сторону нож, сняла очки и закрыла глаза правой рукой, левая, вздрагивая, осталась лежать на столе.

Все замолчали, не зная, как помочь, только Аня встала, склонилась к ней, обняла за плечи, прижавшись к ее широкой спине. Сима вытерла слезы, надев очки и продолжила работу, пробормотав:

— Ладно, Ань, ты меня прости, никак не могу сдержаться.

Одна из сновавших туда-сюда пожилых женщин сказала:

— Ты бы шла, Сима, переделась, прибрала себя. Сейчас Андрейку привезут, ты же должна с ним ехать, А мы здесь с Аней уж как-нибудь все подготовим. Ты хоть этим себя не беспокой.

Сима дала увести себя за руки, а ее место сразу заняла подошедшая женщина. Никого-то здесь Лева не знал, а Аня с Гришей были заняты исполнением родственных обязанностей. Лева вернулся в комнату. Из дальней комнаты, ковляя, показалась старушка в платке, уже кривобокая от старости, согнутая, опирающаяся на палку. Слезящимися глазами она никого не видела. Распухшие ноги были в тапочках с разрезанными задниками.

— Такой уж он ласковый был, почтительный, Андрейка-то, — говорила она в воздух. — Почти как Борюшка Анин. Как же это он над собой такое сделал?! Грех какой! А все потому, что с первой женой развелся. Нехорошо это было. Как уж взял жену, так и держись.

В противоположном углу навзрыд заревела оставленная жена. К старушке подошла Сима:

— Мама, иди к себе в комнату. Когда Андрюшу привезут, я тебя позову, — и она почти силком потащила мать в комнату.

— Лева увидел рядом с собой Гришу.

— А Анина мама разве с Симой живет? Я думал — отдельно.

— Они как раз перед смертью Антон Гаврилыча съехались, чтоб отдельную квартиру получить. Тут

тоже свои страсти были, — ответил Гриша и опять куда-то исчез.

«Как же так получилось? — думал Лева. — Жил парень нормально. Школа, армия, после армии женитьба на однокласснице, которая дождалась, потом институт заочный, работа по специальности, так бы и жить ему с этой одноклассницей, блондиночкой пухленькой. Задумал вдруг все перестроить, перестроил. Новая жена, новые дети — и на тебе. Нарушил узор в своем калейдоскопе. Интересно, что же за бабу он нашел, что так резко его узор переменяла? А это каждый раз чревато неожиданностями, всякий переход в другую жизнь. А в этой другой жизни — шутки, пьянка, гулянка, карты, веселье до утра: иллюзия свободы. Знакомо все это, ох, знакомо. И всю эту замечательную компанию притащила его жена. Конечно, за это он в ней еще больше души не чаял. Не то что скучная и пресная Людмила-первая! Людмила-вторая оказалась компанейской, огневой, душой общества, но, как теперь выясняется, душой дурного общества... А если и со мной тоже самое происходит, — холодея, думал он. — Нет, — думал он, — я в карты не играю, не фарцую, не спекулирую, деньги не проигрываю, да их у меня и нет, живу безбзтно. Не мешанин я, вот что главное! На чем меня поймать злой силе?..»

Лева вышел на лестничную площадку покурить, чтоб хоть как-то занять себя и не скитаться неприкаянно. Дверь была не заперта, и народ свободно циркулировал с лестницы в квартиру и из квартиры на лестницу. Закурив, Лева присоединился к одной из мужских

группок, став рядом. Там обсуждалось сплетение свадьбы и поминок в одном подъезде. Высокий, широкоплечий, арийского типа блондин, с открытым, породистым лицом, белозубой улыбкой, носивший черный свой костюм с элегантно небрежностью, паясничал:

— Если, конечно, гроб наверх понесут, черт знает что выйти может. Как в анекдоте. Представьте, други: идет свадьба. Все веселятся, кричат «горько», желают молодым счастья и долгих лет жизни. Ну, как положено. Тут звонок в дверь. Думают, что это либо опоздавшие, либо поздравительная телеграмма, — посылают открывать жениха с невестой. Те открывают. Вваливаются спиной в дверь два амбала, руки чем-то заняты, за ними еще два. И вносят... гроб. Невеста в обмороке. А амбалы хрипят: «Извините. Мы на минутку. Нам бы только развернуться. Уж больно у вас лестницы узкие».

Все было засмеялись, но тут же смолкли, уставившись куда-то. Лева обернулся и увидел, что по лестнице поднимается худенькая, бледная женщина в зеленом платье и почему-то синих перчатках. Рядом с ней седоватый мужчина, стриженный ежиком, невысокий, сухощавый, ладный, с военной выправкой. Ни на кого не глядя, они вошли в квартиру.

— Привезли, — выдохнул кто-то сзади. Лева загасил о каблук сигарету и прошел следом. Сухощавый мужчина что-то отвечал на вопросы, кивал головой, пожимал руки. Увидев Гришу, двинулся к нему и, отведя ладонь, затем хлопком поздоровался с ним. Они поцеловались.

— Здравствуй, Гришенька, спасибо, что пришел. Аня-то звонила, что будет. А Борис приедет?

— Скоро должен быть.

— А Андрейка наш уже никогда... — он махнул рукой, отвернулся и неожиданно заплакал. Но сдержался, вытер слезы. — Извини. Это твой товарищ? — спросил он о подошедшем Лева. — Вы нас извините, если что не так. Спасибо, что пришли. Посидите с нами. Андрейка любил гостей, — он говорил почти как автомат, но видно было, что только потому и держался.

Вышла Сима, под руку ее поддерживала Аня, следом две пожилых женщины вели Настасью Егоровну, старуху в тапках с разрезанными задниками, бабушку Андрея, мать сестер. Все принялись спускаться вниз по лестнице друг за другом, цепочкой. Перед подъездом на каком-то возвышении стоял открытый гроб. Около него дежурили старший брат покойного и несколько парней с хмурыми лицами. Люди подходили и опускали в гроб цветы. Неподалеку ждали два похоронных автобуса, в них сидели равнодушно-терпеливые шоферы.

К гробу подошел отец, посмотрел на сына, поцеловал его, подняв голову, обвел глазами собравшихся, на невестку в зеленом платье (на ней кроме синих перчаток был еще теперь черный платок) ни он, ни старший его сын старались не глядеть. Зато пухлую блондинку он мимоходом погладил по голове, а мать покойного прижала ее голову к своему плечу. Уткнувшись в плечо бывшей свекрови, первая жена опять



начала плакать. Вторая глядела немного затравленно, но твердо, и твердо встала у изголовья гроба.

— Кто остается и на кладбище не едет и кто хочет, подходите и прощайтесь, — сказал отец, еще раз поцеловал сына и отошел.

Первыми к гробу двинулись родственники. Вид Андрея был страшен. Лицо его казалось неестественно вытянутым и плоским, он был до подбородка укрыт белым покрывалом, так, чтоб не видно было горла. И все равно охватывала жуть при взгляде на него. Вся левая сторона лица была черно-синяя, словно гигантский синяк с уже почерневшим кровоподтеком. И хотя лицо было восковым, земляным, как у всякого умершего человека, из которого улетела душа, на лице отпечатлелось недоумение и страдание. К изголовью подошла Сима, склонилась, гладила лицо сына, целовала, что-то шептала, потом шепот перешел в громкие причитания:

— Сыночек, солнышко мое, мальчик мой золотой! Маленький мой, деточка моя! Не уберегла тебя твоя мама! Не устерегла, на ком женился, с кем связался!.. Все-то ты от матери скрывал и таился! Сама, сама должна была догадаться, сердцем почуять!.. Золото мое ненаглядное! Как я кудри твои расчесывала, на руках носила!

Ее увели, а ее место заняла деревенская тетка, которая встречала Аню у подъезда, и заголосила, к удивлению Левы, что-то старинное, с плачем и придыханиями:

И как от батюшки было от умного.

Да и от матушки да от разумное,

Зародилось чадушко безумное,

Безумное чадо неразумное,

И унимает тут чадушко родна матушка:

— И не ходи-тко, чадо, на царев кабак,

и не пей-ко-сь, чадо, да зелена вина,

и не имей союз со голями кабацкими,

и не знайся ты, чадо, со жонками со блядскими,

и что ли со тема со девками со курвами. —

И не послушал тут чадо родной матушки...

Ай тут ведь к добру молодцу да Горе привязалось...

Кто-то тронул Леву за плечо. Он отвлекся и обернулся. Сзади стоял полный мужчина с портфелем, беспокойным широким лицом, слегка раскосыми глазами в детских очках, небольшими рябинками по красноватому лицу (словно Лева увидел себя в зеркало) и шептал с прямою труса и эгоиста, беспокоящегося только о себе:

— Такой молодой. Отчего он умер? Рак, наверное?..

— Нет, — неохотно и оторопело ответил Лева, чувствуя неожиданно себя причастным к близким людям умершего, а потому раздражаясь на праздное любопытство постороннего. А оттого, что был незнакомец на него похож. Лева старался даже тоном отделить себя, храброго и хорошего, от него, трусливого и плохого.

— Тогда сердце?..

— Нет, — тон Левы стал еще суше.

— Желудок? Печень?

— Нет, сказано вам!

— Что-нибудь заразное? Не грипп?.. — не отставал тот.

— Да нет!

— Слава Богу! — совершенно неожиданно воскликнул мужчина с портфелем, будто ему надо было сейчас прощаться и целовать покойника в лоб или губы, а он боится заразиться.

— Он покончил с собой, — жестким голосом сказал Лева, чтобы пресечь этот неуместный радостный вопль и показать, что он, человек, близкий к покойному, испытывает неприязнь к своему собеседнику и осуждает его.

— А-а! Ну это не страшно, — нисколько не смутился незнакомец. — Уж этого-то я не сделаю, — самодовольно заметил он. — Я в карты не играю, не фарцую, не спекулирую, второй жены у меня нет. Меня так просто не поймашь. — И, сделав шаг в сторону, он словно растворился в толпе соседей и случайных любопытных.

А Лева думал, что незнакомец прочитал его тайные мысли. И холодок пробежал искоркой по плечам: он вспомнил из какой-то книги, что увидеть двойника — к смерти. Тут же он отругал себя за суеверие, чтоб не страшно было жить дальше, и окончательно решил стать рационалистом.

— Придется вас сызнова знакомить, — услышал он рядом Гришин голос и повернулся. Гриша подвел к нему парня лет тридцати пяти, со шкиперской бородкой, глаза его были грустны и улыбочивы одновремен-

но. Выглядел он робким и не очень уверенным. — Это Борис. А это дядя Лева.

Они пожали друг другу руки и двинулись к гробу. Подойдя ближе, Лева вдруг поймал на себе взгляд второй жены покойного, худенькой девицы в зеленом платье, черном платке, с остренькой мордочкой. Она держала у глаз беленький платочек, как и первая жена, но не плакала, а, прикрываясь платочком, зыркала по сторонам острыми глазками. «Очевидно, знает, в чем ее подозревают, и ищет хоть одно сочувствующее лицо», — решил Лева.

Стали рассаживаться по автобусам. В первый сели родные, во второй — все остальные, в том числе и Лева. Сзади него на сиденье оказался арийского типа блондин, видимо, душа маленькой компании, окружавшей его. К нему сразу перегнулись двое со следующего за ним сиденья и повернулся лицом, а спиной к движению Левин сосед. Не поворачивая головы, Лева стал прислушиваться. Автобусы покатали.

Глядя в окно, Лева слушал речь белозубого блондина, при каждой его фразе, произнесенной с хорошей дикцией, так и воображая его прямой нос, крепкую челюсть, серые глаза, зачесанные назад волосы, чистое лицо и белозубую улыбку.

— Ну, други, — ясным голосом говорил тот, — сам читал. В сборнике «На суше и на море». Реальный факт. Черт знает какая история! Не хуже этой. Ну, короче, други. Контролер канализации в Нью-Йорке, звали его, кажется, Дин Конвей, здоровый мужик,

опытный обходчик, бывший вояка, попал в аварию, в автокатастрофу. Три года по больницам, а на его место пока другого не брали. В мире чистогана это тоже бывает, ценят специалистов.

— Это у нас не ценят, — сказал Левин сосед.

— Ну, это ты брось, — отрезал твердо блондин. — Настоящих специалистов везде ценят. — Слово «настоящих» он подчеркнул. — Короче, через три года выходит он на работу. Одевает свой костюм, спускается в канализацию. А надо сказать, что без него обходили только центральные стволы, в боковые не ходили. Он этого не знал. Думал, что встретит все и везде привычное. А жизнь, други, как известно, штука коварная и изменчивая.

— Да к чему ты это рассказываешь? — снова перебил его Левин сосед, на сей раз голосом отчасти даже подхалимским: дескать, блесни, покажи, на что способен.

— А к тому, что в жизни все может быть. Вот как с Андрейкой получилось. Мы ж с ним вместе на вечернем учились. Такой был правильный мальчик, даже старостой курса был. Все думали, что жизнь его сложится так, а она взяла да сложилась совсем эдак. Неожиданно все повернулось. Короче, взял этот Дин Конвей свой фонарь и отправился на прогулку, добрал до самых отдаленных штреков. И что-то странное ему показалось там. Полная тишина. Только внимания он этому не придал. Потом только сообразил, что не слышал ни писка, ни шороха, ни воркотни, ни шуршанья. Короче, в канализации крыс ведь полно, всё туда спускают, они и жрут.

— Твари не из приятных, — передернул плечами Лева, невольно вступая в разговор.

— Это только так кажется, — ответил уверенно рассказчик. — Крыса — животное умное, способное к научению и сопоставлению. У них своя общественная структура существует, строгая иерархия. Впрочем, долго рассказывать, да и не об этом речь. По сравнению с тем, кого он там встретил, крысы — это простодушные и безобидные существа. Короче, други, идет он себе дальше, фонарем дорогу освещает и вдруг видит, как прямо на него ползет, сопя, какое-то зеленое чудище. Как пищет этот журналист, ну, автор заметки, этот мужик сначала не поверил глазам. Дело в том, что на него полз... крокодил.

Лева вздрогнул, но промолчал, чувствуя, что сегодня ему везет на рассказы о крокодилах. «Так и свихнуться недолго».

— Откуда в канализации крокодил? — продолжал свое повествование холеный рассказчик с правильными чертами. — Это потом только выяснили, что какая-то семья купила во Флориде крокодилчика, привезла в Нью-Йорк и выпустила в свой бассейн. Крокодилчик там плавал, плавал, а потом исчез. Позвали рабочих, спустили воду и обнаружили дыру в канализационный сток. Но никому не сообщили, думали — погиб крокодилчик. А он и не погиб. В канализации прижился, ел крыс и всякое, что туда бросали, может даже человеческие трупы, которые туда скидывали гангстеры. И за несколько лет вырос в здорового пятиметрового крокодила.

Откашлявшись, белозубый повествователь промолвил:

— Надо запить, а то горло пересохло.

Лева слегка повернул голову и увидел, как блондин вытащил из бокового кармана пиджака импортную блестящую флягу, очень плоскую и даже изящную, отвинтил колпачок, вытащил пробку, налил что-то в этот колпачок, выпил и пустил флягу по кругу. Лева отвернулся. Через минуту его похлопали по плечу:

— Может быть, присоединитесь? Одну рюмочку. Это «паленка».

Лева выпил рюмку и почувствовал вдруг в голове полную ясность. «Вот чего не хватало с самого утра. Теперь я здоров». Он вернул рюмку, а красивый блондин продолжил прерванный рассказ:

— Короче, крокодил приучился видеть в темноте, а свет его немного ослепил. Это и позволило обходчику опомниться, и он бросился наутек. Но через пару минут он понял, что крокодил его преследует и даже нагоняет.

— Да они же еле ползают, они же рептилии, — сказал кто-то.

— Там написано, что крокодил может обогнать кавалерийскую лошадь. Вот и вообразите, други, эту гонку. Мужик этот, канализационный контролер, вроде бы воевал, был не трус (там, у них, тоже ведь встречаются храбрые люди), но тут, как он сам потом рассказывал, испугался безумно. И не просто смерти, а то, что в этой нечистой канализационной трубе его сожрет грязное чудовище, и никто никогда не узнает,

как он погиб, причем погиб бесславно и позорно — в желудке пресмыкающегося.

Лева слишком даже живо вообразил себе этот канализационный тоннель, темный, зловонный, пустой и гулкий от пустоты, с шумом спускаемых временами нечистот, мокрыми стенами, стоком журчащей воды вдоль одной из стен, а также человека, который бежит, задыхаясь в этом мепфитическом воздухе, скользит, спотыкается, падает, варазгается в грязи, а его догоняет длинное четырехлапое чудовище с огромной пастью, способной перекусить его пополам. И он все время помнит об этом, каждой клеточкой тела ощущает его приближение. И быть сожранным заживо, в клоаке, крокодилом — с ума можно сойти от ужаса, ведь никто даже не догадается, где ты пропал. В окно Лева видел, как автобус вышел уже на прямую дорогу к показавшемуся вдалеке кладбищу. Ехали недолго, минут двадцать пять. А за рассказом и вообще времени не заметили. Меж тем холеный блондин заканчивал свой рассказ, эпически повествуя, как Дин Конвей никак не мог попасть в отсек с выходом на улицу, но не сдавался, боролся до конца; как он потерял свой фонарь, а только его свет и останавливал крокодила; как наконец нашел отсек, взлетел по лестнице, но люк не открывался — на нем стоял автомобиль; как он несколько часов просидел, сжавшись, на верхней ступеньке, вцепившись в нее руками и обхватив ее ногами, а чудовище щелкало зубами в нескольких сантиметрах от его тела. Все же он выбрался.

Автобус остановился у домика перед воротами кладбища. Шедший впереди автобус уже стоял там. Около него ходили люди. Они курили и чего-то или кого-то ждали. Лева и его попутчики тоже вышли из своего автобуса и тоже закурили. Из домика рядом с воротами появились Николай и Виктор, то есть отец и старший брат покойного. Рядом с ними шагал какой-то ширококостный толстый мужик с равнодушным лицом и грубыми движениями. Мужик выкатил из находившейся рядом сараюшки катафалк на колесах, на него поставили гроб, мужчины, взявшие венки и большой фотопортрет покойного, возглавили шествие, и процессия направилась на кладбище.

Лева был среди тех, кто катил катафалк. Катил или делал вид, что катит. Когда народу много, понять это трудно. Состояние духа у Левы было смутное и тяжелое. Непрестанное появление крокодила в его мыслях, рассказах и случайных словах окружающих казалось ему не очень нормальным. Он, правда, утешал себя тем, что, когда не хочешь про что-то думать, оно тебе и является непрестанно. Это одно объяснение. Другое — и этот феномен Лева наблюдал в своей жизни тоже не раз — это то, что можно назвать направленным вниманием и интересом разума: стоит, скажем, четко обозначить себе тему исследования, как во всех книгах, статьях и явлениях жизни ты начинаешь замечать нечто, относящееся к твоей теме, что раньше — даже в неоднократно читанном — проходило мимо глаз. Лучше постараться принять это между прочим. Вот есть разгово-

ры про крокодила, есть про Андрея, есть про похороны, вот идут люди меж оград по асфальтированной дорожке, катят катафалк, несут венки, вот вырытая могила, двое рабочих с лопатами и толстой веревкой; в стороне, прислонившись к могучему дереву, курит третий, тоже в брезентовой запачканной землей робе, с брезентовыми рукавицами, торчащими из кармана куртки. Лица у рабочих привычные ко всякому, равнодушные, деловые, ожидающие момента выполнить свою функцию в протекающей церемонии, получить из рук родственников свою десятку и пойти ее спокойно пропить.

Потом опять голосили женщины, укладывали гроб цветами, снова подходили прощаться, говорили «На кого ж ты нас оставил?!» и «Спи спокойно», потом закрыли гроб крышкой, рабочий поправил покрывало, чтоб не высовывалось, и заколотил гвозди в крышку, затем гроб на веревках опустили в глубокую могилу, все бросили вниз по комку земли, и рабочие, взяв лопаты, начали закидывать яму землей. Скоро вырос маленький холмик. Несмотря на массу сырой земли и холод, долго веявший из глубины ямы, погода по-прежнему казалась ясной и жаркой, а день — хорошим летним днем. Деревенская родственница в черной плющевой жакетке обошла всех с железной миской, давая всем оттуда по чайной ложке кутьи — риса с изюмом. Лева первый раз ел такое. Потом отец и старший брат покойного укрепили в изголовье фотопортрет и дощечку с фамилией и датами жизни, чтоб впоследствии на этом месте стоял памятник. И все,

разбившись на группки, двинулись опять к автобусам. Автобусы тронулись, и еще через час Лева с прочими оказались в квартире, где приступили к поминкам.

Они сидели за уставленным яствами столом. Но вначале подали блины. После блинов начали есть кто во что горазд. Произносили речи, вспоминали о покойном. Каждый рассказывал о своих встречах и разговорах с ним. Выступали по очереди. Вставали, поднимали рюмку, говорили, выпивали. Молчала только вторая жена. Отец кивал, глаза у него были набрякшие от внутренних слез.

— Пейте! Ешьте! Не стесняйтесь! — временами обращался он к сидящим за столом. — Андрейка любил поесть. Он вообще все это любил, — и отец обводил рукой обильный стол.

Так получилось, что Лева оказался рядом с Борисом Кузьминым. Напротив них сидела молодая вдова Людмила в зеленом платье и черном платке, наброшенном на плечи. Свои нелепые синие перчатки она уже сняла. Она посматривала на них, один раз Лева даже показалось, что она подмигнула не то ему, не то Борису. Но потом он решил, что это ему померещилось. Правда, она, наклоняясь через весь стол, ухаживала за ними, подкладывала им в тарелки салат, буженину, осетрину, копченую колбасу, семгу. На руке ее, повыше запястья, Лева углядел (когда она протягивала руки к их тарелкам) синюю татуировку: цветок болотной лилии, а под ним слова: «Попробуй сорвать». Ничего особенного, но после всех рассказов об этой женщине Лева в этих

словах почудился эротически-зазывный и одновременно угрожающий смысл. А в Людмиле-второй и в самом деле была некая порочная привлекательность того типа, когда мужчина начинает хотеть женщину, забывая об условностях и пренебрегая приличиями. «Даже за поминальным столом», — испугался вдруг себя Лева. Но и опасность исходила от нее, как от какого-то болотного существа, от зеленой ящерики, зеленой змейки, зеленой кикиморы болотной — красотишки с длинными волосами, заманихи которая заманит и погубит. Да, Лева испытывал, глядя на нее, странное двойное чувство: желание распоясаться и лягушкой, жабой, раздевшись донага, запрыгать ей навстречу, а также страх — как бы не проглотила.

Лева искоса глянул налево и направо, не читаются ли его чувства у него на лице — ему было от них жутко и стыдно. Он вспомнил, как раскорякой прыгал на четвереньках за долговязой девицей в комбинации, визжавшей и уворачивающейся от него, прыгал по мягкому ковру в комнате Саши Паладина. Висели на стене рога в серебряной облицовке, а сытый Саша, который с этой девицей уже наверняка спал, с ухмылкой наблюдал Левины прыжки. Но и тогда он так не хотел ту женщину, как эту теперь. Он даже сжался от неловкости, стараясь не смотреть на нее, но все же изредка взглядывал косыми, глупыми взглядами. А она, казалось, совсем не испытывала скорби о покойном. Когда се отговорили, она тоже встала и сказала, но не об Андрее, а о его сиротках, своих дочках:

— У Андрея остались дочки. Давайте выпьем за них, чтоб им было хорошо, чтобы дедушка с бабушкой их любили.

Этот тост был воспринят всеми отчасти враждебно, хотя все и выпили. По общему мнению, он означал, что «она за дочек горячится», как сказала деревенская родственница громко, и тем самым говорит родителям покойного мужа: не отвертитесь, голубчики, все равно внушкам помогать придется. «Неужели она и в самом деле соучастница?..» — цепenea, думал Лева. А молодая вдова тем временем смотрела «завлекающим» взглядом вовсе не на Леву, как тому сначала показалось, а на его соседа со шкиперской бородкой, на Бориса Кузьмина. Где сидел Гриша, Лева не видел.

— У Эдварда Лира, — вдруг наклонился Борис к Лева, — есть стихотворение «Джамбли», помните? — И он прочитал:

Где-то, где-то вдали  
От знакомой земли  
На неведомом горном хребте  
Синерукие Джамбли над морем живут,  
С головами зелеными Джамбли живут...

Вот она прямо из-за этих морей и горных хребтов, — он украдкой кивнул на вдову в зеленом платье. — Так мне, во всяком случае, кажется. Просто непонятно, как она попала в эту уютную мещанскую квартиру. — Лева согласно закивал головой, а Бо-

рис сказал дальше: — Мне лет десять назад почему-то хотелось все фантазмагорическое, невероятное этим именем называть. Так и осталось.

Хотя стихотворение Лева не помнил, но что-то фантазмагорическое в этой худенькой женщине в зеленом платье и вправду было: влекущее и отталкивающее. Но и притяжение и отталкивание имели какой-то животный характер.

— Действительно, прямо настоящая Джамбль, — шепнул он в ответ, видя с некоторой плохо осознаваемой обидой, что Людмила не в него целит. Стало опять щемяще на душе и одиноко.

Хозяин повторял, разводя над столом руками:

— Вы ешьте и пейте. Андрейка любил поесть. Сидели, пили, ели, курить выходили на лестницу. Бабка Андрея (мать Ани, Симы и толстого мужика в полосатом черном костюме, брата Ани, то есть, Гришиного шурина) все повторяла в перерыве между речами:

— Мне уже восемьдесят лет. Пожила. Хватит. Пора помирать. К деду хочу. Ждет он меня. А Андрейка меня опередил. Устала я. Хочу к деду в могилку.

Наконец Сима прикрикнула:

— Мама, перестань. И без тебя тошно. Иди в свою комнату.

Старушку, с трудом ковлявшую на своих распущенных ногах, одетую в коричневую полушерстяную кофту поверх темной юбки, подхватили под руки и повели две подвыпившие, а потому чрезвычайно осторожные в своих движениях пожилые родственницы. Лева встал,

чтобы пойти покурить, но как-то невольно увязался за пожилыми женщинами и заглянул в комнату, где жила Настасья Егоровна, бабушка Андрея. И умилился. Высокая кровать на пружинах, с блестящими никелированными спинками у изголовья и в ногах, белое покрывало, в изголовье три подушки, уложенные пирамидой. Буфет с резными дверцами и цветными расписными стеклышками в верхнем отделении для чайной посуды. Круглый стол, два стула. На столе чашка, сахарница, тарелка с баранками. На стене, прямо напротив входа, висела икона божьей матери, написания масляными красками по доске. Лева, пивший на поминках немного, «придерживавший», боявшийся в чужом месте опозориться, увидел, что икона, скорее всего, девятнадцатого века, «новодел». Но это и было умирительно. Старушку усадили на стул и захопотали вокруг нее, а Лева вернулся в комнату. Говорил Гриша — о том, что жизнь есть тайна, об Андрее, которого он знал с младенчества, о том, что жизнь не исчезает, не уходит, что, пока мы живы, жив и любимый нами человек, потому что сильнее любящей памяти нет ничего на свете, и все в таком же духе. Гриша всегда в любом человеке мог найти что-то светлое. Идя на лестницу покурить, Лева в коридоре вдруг наткнулся на молодую вдову в зеленом платье, шедшую в кухню. Увидев Леву, она глубоко вздохнула и, проходя мимо, на секунду прижалась к нему телом так, что Лева телом же ощутил ее маленькие мягкие груди: бюстгальтера под платьем у нее не было. Опустив глаза долу, зеленая Джамбль пошла дальше. А Лева шаг-

нул за ней, но тут же так испугался, что, чувствуя себя не активной жабой, а трусливой лягушкой и уж отнюдь не суперменом, готовым переспать с женщиной, только что ставшей вдовой, тихо подхватил портфель, плащ и, не прощаясь с Гришей и Аней, выскочил за дверь. И поскокал вниз по ступенькам.

## Глава VI Похабство

Домой ему хотелось, домой. К себе, на Войковскую. Под корягу. Выпил он сегодня немного, как раз чтоб хватило энергии на такой рывок. Опыт подсказывал ему, что это возбуждение скоро перейдет в сонливость, потому что и маловыпитое легло на старые дрожжи. Вот и хорошо. Только бы добраться до своей комнаты. Забыться в нее, лечь в постель и чтоб никого не видеть, не слышать, только чтоб все справлялись о его здоровье, жалели его, приносили еду, питье и лекарство, но тут же уходили, чтоб было тепло и уютно. Возможно ли это в чужой, нанятой комнате, без телефона, без уютной библиотеки с Диккенсом и Львом Толстым? Все казалось ему возможным.

Выскочив из подъезда, он натянул плащ (все-таки уже был вечер) и посмотрел на часы. Начало девятого. Совсем немного времени прошло с тех пор, как приехали, а уже он убежал. Вполне можно было бы еще посидеть, выпить. Но, вспомнив Джамбль, Лева



обрадовался, что удалось убежать. Еще было совсем светло. Вечер казался тихим-тихим, очень летним, каким-то даже радостно тихим. Он сунул руку в карман, вытащил кошелек. Деньги еще были. Не так чтоб очень много, но на такси должно было хватить. Скорее домой. Еще бы на такси в магазин заскочить и купить что-нибудь на утро пожевать: хлеба, кефира, масла, сыра, колбасы. Простой пищи. И бутылку пива на всякий случай. Завтра суббота, на работу не идти. Можно и почитать, подумать. Но не кидаться на все сразу. И не думать о доходных статьях, о книге. Честно, честно работать. Выбрать тему. А чего выбирать! Она есть. Надо разработать *теорию калейдоскопа*. Посмотреть наброски, которые делал сегодня утром с похмелья. В кои-то веки пришла в голову настоящая и самостоятельная мысль, о таких он раньше только в книгах читал, думал, что у нас такое сочинить невозможно, тем более ему, потому что он привык размышлять только в том направлении, как его в университете учили, как на работе требовали, как *надо*. А если эту мысль продумать как следует, записать, *оформить*, литературу по этому вопросу подсобрать, во всяком случае под углом этой проблемы просмотреть ранее читанное, ведь наверняка найдется многое, что он пропускал мимо глаз. А теперь полезет навязчиво, как тема крокодила полезла. Главное — заострить внимание на данной теме.

Надо вспомнить, кто из великих нечто сходное говорил. Платоновская «пещера» сюда явно не годится... Быть может, Вико, его *corsi ricorsi* то есть при-

ливы и отливы, его теория всеобщего круговорота?.. Нет, теория калейдоскопа — это нечто другое. Надо идти методом различения с прежними теориями. Скажем, экзистенциалисты говорят о хаосе истории, о беспорядочном, броуновском движении человеческих судеб и устремлений, а я добавляю и исправляю: история и жизнь — это не хаос, а калейдоскоп, в котором узор меняется, но в каждую данную историческую ситуацию он четок и кажется неизменным, более того, когда меняется только хоть один компонент, то меняется и вся структура, хотя поначалу этого могут и не замечать, но потом становится ясным, что возникла принципиально иная картина мира. Это специфическая система наблюдения и анализа. Потому что калейдоскоп не материальное тело, а философское, — Лева аж задохнулся от удовольствия точной формулировки. — Так изменение производительных сил меняет в конечном счете производственные отношения, а затем и надстройку, то есть всю духовную жизнь. Таким образом, кстати, я не выхожу за пределы Марксова материализма, диалектики. И я смело отказываюсь от идеи, муссируемой снобами и пижонами сегодня, от идеи Бога, который якобы управляет миром. Калейдоскопом управлять невозможно. Его можно только наблюдать и пытаться уловить Закономерность смены узоров. Сюда следует, пожалуй, присобачить и «морфологию культуры» Шпенглера, где всё в одном ряду для объяснения мира: и тексты, и утварь, и одежда, и архитектура, и нравы, и полити-

ка, и экономика, и искусство. Из этой морфологии и создайся калейдоскоп культуры, эпохи. Но тут-то мы его и поправим, хихикнул про себя Лева. Он не видит изменяемости мира, не понимает диалектики этого изменения. Короче, что-то наклеивается, вырисовывается нечто. Короче, тему надо столбить, параллельно же начинать ее серьезную разработку.

А если ее удастся оформить и сформулировать, разлетелся от счастья Лева, то она наверняка останется. *Останется.* Даже когда его не будет. Пусть не напечатают про это. Можно и с докладом выступить. Лева тут же вообразил зал Ученого совета Института и себя на трибуне перед микрофоном с бумажками и стаканом воды. Конечно, его теорию не примут, но все о ней будут говорить, а поскольку она будет достаточно сумасшедшей, то никто из начальства не захочет присвоить его идей, как обычно делалось, когда Лева писал за высоких людей их статьи. Эта работа вхолостую, на чужого дядю, когда при этом и собственных мыслей развернуть нельзя, приучила Леву не додумывать до конца пришедшее в голову. Их паразитизм рождал и его духовное безволие. Все равно все ухало в болото и никому ничего не было надо. Самостоятельного не было надо. А было надо, как надо. Нет, здесь он напишет для себя, свое. Пусть потом говорят. «Слыхали, какую идею Помадов выдвинул?» — «Да, совершенно сумасшедшая». — «Сумасшедшая-то сумасшедшая, да в этом что-то есть». — «Верно. Во всяком случае, поразмыслить заставляет». Лева довольно про себя улыбнулся, представив эти разговоры. Одно

дело в пивной про калейдоскоп ляпнуть, другое — *теоретически* эту идею обосновать. В пивной ее только Тимашев и оценил. И то наверняка забудет. А *статус* теоретической идеи она может получить только после *научного* выступления.

После дождя и жары в воздухе стоял аммиачный запах, точно на уроках химии. Лева шел к шоссе, размышляя и помахивая портфелем, в котором лежали «Повесть о Горе-Злочастье», старая «Иностранная литература» с рассказами Кафки, которые Лева нашел в хозяйской библиотеке на Войковской и до которых у него уже третий день не доходили руки. И то и другое надо бы прочесть. Вот ведь жадность. Имел что читать, а все же книгу у Тимашева выцыганил. Теперь две читать придется. А времени мало. Впрочем, может, их удастся использовать как материал для его теории. Может быть. Это было бы хорошо. А то куча дел, и надо стараться, чтоб попусту время не тратить. За квартиру еще платить. И за комнату. Да Верке, когда родит, коляску и кровать надо. Остальное ее мать купит, а это вроде бы мужская обязанность, раз он порядочный человек. Хорошо людям типа Морковкина, мастерам жизнеустроения собственного. Пьет с нужными людьми, и не просто пьет, а умеет подружиться, у него есть машина: и чуть что — ах, куда же нам без Морковкина, а он безотказен, его машина к всеобщим услугам, и весельчак, и гитарист, и за пожилыми женами пожилых друзей ухаживает, предоставляя тем временем пожилым друзьям свою квартиру для

встреч с любовницами, этакий жиголо, и пишет неплохо, пишет то, что нужно, но живо, живо, и с престижными цитатами из Аверинцева и Бахтина, зато от своих любовниц, которые собираются рожать, он умеет полностью устраниваться: я-де был против, сама решила оставить ребенка, сама и расхлебывай, и сравнительно честно все это, и снова он свободен и независим, в любую компанию на своей машине, усатенький, худенький, гибкий, подвижный, и с деньгами. «Эх». — Лева вздохнул. Конечно, на коляску и кроватку деньги отложены. Не так много и надо. Рублей сто вместе с доставкой. Да, а потом лишнего не будет. Пожалуй, придется рецензию написать, все-таки рублей сто она принесет. И книжка вроде бы ничего, да и рецензия с гарантией пойдет.

С такси Леве не повезло. Машины с зеленым огоньком, сколько Лева ни поднимал руку и ни выбегал даже на шоссе, не останавливаясь проносились мимо, даже не притормаживали. Зато шли какие-то автобусы номера которых были Леве неизвестны, как и их маршрут. Наконец, уставши ловить машины, Лева подошел к передней дверце подрулившего автобуса и крикнул обращаясь к шоферу и к двум-трем случайным пассажирам, семейной паре, очень благопристойной на вид, и парню с гитарой:

— Куда едем?

— Машина только до Савеловского, — сказал в микрофон водитель, услышав Левин вопрос, а, увидев, что к задней двери двинулись еще двое (парень

с девицей), повторил: — Граждане, машина следует только до Савеловского. Затем в парк.

— Мне подходит, — бормотал Лева, влезая и устраиваясь у окна. — До Савеловского, а там на трамвае до Войковской, как раз.

Он сел у окна, поставив портфель на колени. От выпивки, тянувшейся со вчерашнего вечера, Лева теперь чувствовал усталость во всем теле, хотя сонливости рока не было, он еще держался, потому что на поминках не усердствовал. Да и Джамбль-Людмила вовремя его спугнула. А то бы наверняка сорвался. Да еще бы к кому из женщин полез. Нет, все к лучшему. А с этой вдовой, ну ее к черту. Он снова вспомнил, как с Мишкой Щедриным они подцепили откровенную на разговоры бабу, у которой оказался сын-инвалид. Вспомнив, пожалел об имбирной, которую они отдали бабе, и о нелепой драке из-за проблемы блага у Платона. Нет, дураки они были, что отпустили бабу. Не отпустили бы, и драки бы не было. Тогда про Платона и не вспомнили бы. Нет, тогда он не боялся женщины. Но эта Джамбль, ну ее. Слишком зазывная, чересчур. Хорошо, что он сбежал. Жаль только, Гришу не предупредил. Да догадается, надо надеяться.

Леву трясло, он подскакивал на сиденье, обнимая руками портфель, и старался сосредоточиться на чем-нибудь серьезном. Уже давно Лева решил, что спать в транспорте не будет, но каждый раз принимался за книгу: во-первых, чтоб продержаться дорогу, чем-нибудь завлечь свое внимание, а во-вторых, чтоб

наверстать упущенную за время пьянки возможность интеллектуального усилия. На сей раз Лева, прежде чем прибегать к помощи чтения, решил вспомнить, где и когда он мог читать о калейдоскопе в художественной литературе. Мысленно пробежать ряд возможных книг, в которых хоть что-нибудь об этом говорилось. Но ничего не мог припомнить. Даже обидно стало. Вот о крокодилах — сколько угодно. Тут тебе и «Крокодил Гена» Эдуарда Успенского, и «Крокодил» Корнея Чуковского, и «Крокодил» Достоевского, а уж поминается он в разных стихах детских по многу раз. Целая *крокодилиада*. И почему так в стране, столь далекой от жаркого пояса, где люди крокодилов видели только в зоопарках? Что за тяга? Он вспомнил слова Тимашева, что русский философ Василий Розанов называл Волгу «русским Нилом». Но на Ниле, как известно, крокодилы водятся, а на Волге их в помине нет. Какая же связь? Может, дело в том, что крокодил — потомок древних ящеров. А ящеры здесь были. Это Леву в свое время поразило, когда он читал книгу академика Рыбакова «Славянское язычество». Оказывается, как глубока народная память. Ведь стишок «Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом» вырос из древнего заклинания «Сиди, сиди, ящер, под ореховым кустом, грызи, грызи, ящер, орешки каленые, милому дареные». Орех — он тоже какими-то волшебными свойствами обладает. Ящера заклинали ореховым кустом. А ящер сидел и ждал жертвоприношения. Вот жуть. Потом все забылось, и ящер стал невинным Яшей из детской песенки.

Хотя крокодил тут, наверно, ни при чем. Древнее остается в слове, а тут слово другое, нерусское.

Лева вздохнул и, щелкнув замками, раскрыл портфель. Склонился над ним задумчиво. Все равно о калейдоскопе ничего не вспомнилось. «Повесть о Горе-Злочастье» доставать не хотелось. Хватит с него сегодня и горя, и злочастья. Лучше «Иностранку» с Кафкой. Кафку образованному человеку надо знать. Хотя, как спьяну говорил Шукуров, все на свете читавший как «интеллигент в первом поколении» (Лева завидовал цепкости этих первооткрывателей культуры; где он проходил мимо, питаясь слухами, надеясь на общую эрудицию, они усердно штудировали, пытались разобраться, причем в наиновейших течениях, которые Лева презрительно игнорировал; им это было надо, у них не имелось *базы*, семейной *основы*, все самим приходилось добывать), «в сочинениях Кафки нет просвета, Потому что — и это видно из его текстов — для него Бог умер». «А на самом деле Бог не умер?» — спросил в ответ Саша Паладин. «Да его просто нет, — сказал Вася Скоков. — И не было». — «Надоели мне эти псевдовыяснения псевдовопросов, на которые всем на самом деле наплевать и только все интересничают своим глубокомыслием, — высокомерно провещал Тимашев и тут же заискивающе обратился к лидеру: — Ты что скажешь, Кирхов?» Но Кирхов ухмылялся своей мефистофельской ухмылкой: мол, о чем тут говорить, все чушь и детские игрушки. Он поднял кружку, прищурился, глядя на

нее, отхлебнул пива, все ждали решающего слова, но он засмеялся и ничего не сказал все же. А Лева тоже молчал, но был отчасти согласен с Тимашевым, что Богом нынче «пижонят», хотя идея это глубочайшая возникла не случайно; сейчас, конечно, Бога уже в сознании людей нет, потому что он не нужен. Хотя, разумеется, человечество с трудом отказывалось от этой идеи, боясь потерять нравственность, чему пример творчество Ф.М.Достоевского с его альтернативным сложением: если Бога нет, тогда все позволено.

Лева отлистнул страницы журнала и принялся читать Кафку, рассказ «Превращение», про Грегора Замзу, обратившегося в насекомое: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, а верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами». Но, в отличие от проснувшегося героя рассказа, глаза у Левы стали слипаться, как всегда с детства с ним бывало: когда что-нибудь неприятное наступало его, он засыпал, а здесь еще и алкогольная сонливость, да в сочетании с малоприятным рассказом этого самого Кафки, — и Лева заснул. Журнал выскользнул у него из рук, и он лбом стукнулся о никелированный поручень передне-

го сиденья, блестящего (как отметил Лева, еще только усаживаясь на свое место), как никелированная спинка кровати в комнате Настасьи Егоровны, Аниной матери. От удара Лева очнулся, подхватил с грязного пола журнал, расправил замызганные страницы, постарался стереть грязь, но только ее размазал. «...Нет, читать я не могу», — сказал он себе и сунул журнал обратно в портфель, И вспомнил почему-то идиотскую шутку Кирхова, прервавшего в тот раз (когда говорили о Кафке) этой шуткой свое ироническое молчание: «На ваш прямо поставленный вопрос, есть ли Бог, отвечаем утвердительно: да, Бога нет!»

— Савеловский вокзал. Дальше не поедем, — объявил шофер.

Лева собрался с силами и вышел. Толстая старуха с черными волосиками на подбородке, усиками и шишкообразным носом, похожая на ведьму, оттолкнула Леву, собираясь лезть в автобус.

— Он дальше не идет, — пояснил Лева.

— Но мне нужен именно этот автобус, — злобно окрысилась старуха.

— Я вас уверяю, он дальше не идет, — вежливо повторил Лева.

— Как ты можешь в чем-нибудь верить, когда ты сам про себя ничего не знаешь! — пренебрежительно (что было обидно от такой неприятной старухи) сказала она, влезла в автобус, двери закрылись, и автобус куда-то покатило, хотя шофер и говорил, что дальше не едет.

Лева изумленно посмотрел вслед автобусу, досадуя на свою всегдашнюю неприспособленность и культяпистость: может, надо было понастойчивее поговорить с шофером, хотя, с другой стороны, куда ему-то дальше ехать на автобусе, ему на трамвае теперь надо. Но неужели у него на физиономии написана этакая интеллигентская растерянность, гамлетизированная нерешительность, что даже дурацкие грубые старухи замечают это с одного взгляда? А от гамлетизма и пьянство, и все остальное, потому что не может он, чтоб «да» у него было «да», а «нет» было «нет». Вечные экивоки, вечные «может быть»... Инга привыкла, прощала, а Верка («Века», как, ластясь, она сама себя называла -своим детским именем), не смотря на обожание и преклонение, плохо восприняла его вчерашний запой по поводу выговора. Он ей утром по дороге на работу позвонил, хотел исповедаться, но она трубку бросила. Сволочь Главный, сам велел Гамнюкова сократить, а козлом отпущения оказался Лева, исполнитель. Впрочем, Верка уже пару месяцев как стала смотреть на него с вопросом, без восторга и обожания, задумываясь, похоже, о судьбе их будущего ребенка. Это и добило Леву, довело до комнаты на Войковской. Не слова, не ругань, а взгляд, в котором перестало светиться обожание, а лишь недоумение и сожаление, что он оказался так нерешителен и слаб, что она не может им гордиться. А человеку надо, чтоб им кто-нибудь гордился! Отчего это на Западе кто Гамлет, тот непременно действу-

ет и решителен чрезвычайно? А у нас кто склонен к рефлексии, тот уж непременно запьет вроде Мити Карамазова, а уж действовать — ни в какую, как бы начальство чего не сказало! А об этом даже Грише не сказал — о выговоре, о том, что с Веркой поцапался, на Войковскую перебрался, и хоть уже и помирились, и о кровати Лева думает, а Верка только о будущем малыше, а все-таки Лева уже живет отдельно от всех. Почему Грише не рассказал то, что все ребята в редакции знают, понять он не мог, ведь рассказал то, о чем никто не знает, что так поздно женщин узнал — в двадцать один год, всем же всегда рассказывал про свои еще школьные любовные похождения, как же, мужская гордость! В такой интимности признался, что жуть. Но тут же с трезвой, непонятно откуда взявшейся беспощадностью сказал себе, что и самобичевания его, и это интимное признание, самообнажение должны были показать Грише, что внутреннее ядро у него все же чистое, что он не испорчен, и вызвать эти-ми признаниями похвалу себе. А про выговор и запой в результате выговора Гриша бы не понял, а то и осудил бы. Да, каждому свое, каждому надо рассказывать «свое», то есть то, что слушателю доступно. Но все равно про начало сексуальной жизни Грише тоже не надо было рассказывать, даже чтоб хвалил. Похмелье проклятое! Сколько лет знакомы — он ни разу про это не сказал, а тут распустил язык!

Размышляя так, Лева не двигался с места, бессмысленно глядя на булочную, находившуюся прямо

перед ним. Так он и стоял, пока проходившая мимо веселая троица парней не захохотала ему в лицо, а один, самый наглый, не постучал костяшками пальцев Леву по голове со словами:

— Эй ты, забыл, как ноги передвигаются?!

Был этот парень плечист, с квадратной челюстью, похож на Джека Лондона. Одет в ковбойку с короткими рукавами и расстегнутым воротом, на широкой груди топорщились мышцы, белая рука была огромной и мускулистой, а на кисти ее Лева увидел татуировку: «Цветы цветут в садах, а юность вянет в лагерях!» Поистине татуировки преследовали его сегодня. Лева испугался и замер, заморгав глазами. Но компания просто веселилась и, не тронув его, двинулась дальше. За ней, очнувшись от столбняка, потащился и Лева. Он спустился в подземный переход, но шел медленно, стараясь не нагонять этой компании. Парни вышли направо, а Лева, наоборот, налево, в сторону магазина «Восход». Ему-то надо было направо, в сторону телефонных будок, обогнув которые он как раз и выходил к трамвайной остановке. И теперь, увидев, что компания уже изрядно удалилась, Лева уже по поверхности собрался было двинуться к телефонным будкам, как к нему подскочил, подмазался, подрулил, подобрался мужичонка в затерханном пиджачке с прорехами, с маленькой головенкой и обратился с вопросом, почему-то вполголоса произнесенным:

— Слышь? На двоих не будешь? А то у меня не хватает.

Видно, судьба следовала за Левой по пятам, и противостоять ей он не мог. А облик его, расхристанного после вчерашней пьянки, хотя и похмелившегося, вызывал на подобные вопросы. Лева не умел отказывать в таких просьбах (многолетняя привычка сказывалась), особенно «человеку из народа». Контакт, контакт с народом нужен русскому интеллигенту, любой ценой! Омыться в его простоте и чистоте, самому опроститься тем самым. И Лева сразу в ответ:

— А что, разве еще дают?

— Да здесь магазин до девяти. Водки нет, бормотухи тоже. Одна «Плиска» семирubleвая. А у меня только трешка. Думал, бормотуха есть, вино, одним словом, а там только «Плиска», — объяснил, сокрушаясь, мужик.

— А сколько времени? — спросил сам себя Лева, глядя на часы. — Давай пошли, можем не успеть.

Лева почувствовал, что в нем сразу проснулась активность, энергия. И еще он почувствовал, что он тут главный, что он нужен, что без него не обойтись. И с ребятами он в кабак не пошел, и на поминках тоже придерживал, а тут словно прорвало, словно в струю попал, и его понесло. И не с друзьями, а с каким-то малознакомым, малорослым мужичонкой. Это как приключение, но не в джунглях, а в городе. Откуда взялись и живость, и бодрость, и задор, и быстрота движений, и резкость реакции! Они пошли быстрыми шагами, почти побежали, обгоняя прохожих.

У дверей магазина, на сером, истоптанном грязными башмаками асфальте, где валялись осколки случайно разбитой бутылки и виднелось неотмываемое и невыводимое пятно от дешевого вермута, именуемого в просторечии «краской», толпились мужики. Они малоразборчиво и не очень уверенно кричали, что еще-де пять минут по закону в магазин можно пускать, что нет такого права за десять минут до конца работы закрывать магазин, что пусть запустят хотя бы одного ходока, представителя от всех, хотя бы одного, ну, будь человечком. Но здоровенный кудлатый детина в ватнике и синем халате поверх ватника держал дверь на тяжелом крюке, временами снимая его и выпуская из магазина посетителей, отягощенных товаром, самодовольно прокладываящих путь сквозь толпу жаждущих. Мужики лезли к стеклянной входной двери, умоляюще прикладывали руки к груди, показывали на часы, на деньги, но страж был почти неумолим. Почти, потому что у некоторых он деньги сквозь щель брал, на секунду исчезал и возвращался с бутылкой.

Новый Левин знакомый сказал:

— Это Витюша, я его знаю. Два рубля сверху надо. Есть у тебя?

Лева протянул две трешки. Мужичонка схватил их и протиснулся к двери. Кудлатый детина пропустил его внутрь, и неожиданный Левин знакомец исчез с трешками, будто его и не было. «Два сверху» — это значит, радо было деньги мужику при входе дать,

а раз он пропустил, то... нет, непонятно. Лева принялся ждать. Он ждал пять, десять, пятнадцать минут. Было ему обидно и жалко денег, но оставшийся в нем разумный человек, сидевший где-то глубоко внутри, говорил, что это хорошо, что не надо жалеть денег, что здоровье дороже, что зато он теперь не нарежется и за это еще бы стоило приплатить и что надо бы тихо чапать себе к трамвайной остановке и ехать себе на Войковскую подобру-поздорову. Ведь были же у него хорошие планы на ближайшие дни, а если он выпьет, то все пойдет прахом и не скоро он тогда снова соберет себя. А ведь главное — начать, вработаться. Он даже уже приподнялся, но словно чародейная сила держала его на месте, нет, не большого дьявола, а так, какого-нибудь лешего или водяного, но держала, уговаривала подождать, а вдруг все же появится посланец. И точно, права оказалась чародейная сила, появился ожидаемый мужичонка из другой двери с бутылкой «Плиски» в руках и помаhal Лева рукой.

— Извини, задержался, — сказал он, сойдясь на середине пути слевой. — Зато две конфетки дали. Держи.

И он протянул соевый батончик. Потом они решали, где пить. По предложению мужика они нырнули в ближайший дворик, сразу за магазином. Пристроились на низенькой деревянной ограде около клумбы с неперенными анютиными глазками, за рядком мелкого кустарника, своей темнеющей зеленью скрывавшего их от случайных прохожих.



Мужик поглядывал, не отхлебнул ли Лева лишний глоток, а сам рассказывал, что живет он с соседской Нинкой, что они не расписаны, но все равно получку он ей, как жене, отдает, а она стряпает и обстирывает его. Конечно, говорил мужик, я от нее иногда зашибаю, особенно с Клавкой, из того же цеха, но все равно на Нинке пожалуй что и женюсь. Потому что Клавка стерва, тварь болотная, еще и с начальником цеха крутит, живет то есть, а начальник — гад, иуда, наряды лишние выписывает и заставляет с собой делиться, но, чуть что, на тебя же и валит.

При этих словах Лева, отхлебнув еще глоток коньяка и откусив кусочек батончика, передал бутылку напарнику и сказал, что все начальники — суки и что он сам пострадал через начальника, оттого и запил.

— Я ему говорю, — жаловался Лева, — «вы же сами мне сказали это сделать», а он отвечает: «Что-то не припоминаю». Я ему говорю: «Я вас считал порядочным человеком». А он все твердит: «Не припоминаю, вы меня с кем-то путаете». Он сам про себя говорит, что он ставит задачи, — тут Лева постарался придать своему голосу интонацию самодовольной тупости, — «не очень существенные по значимости, но важные, которые связаны с проблемами научного коммунизма, а не с фундаментальными философскими проблемами». Кретин! Как такого держат!.. Он при этом думает, что умнее всех, раз начальник, а в веках-то я останусь, потому что теорию калейдоскопа придумал, — спьяну Лева терял свое кинопо-

чтение и становился очень дерзок. — Я им докажу, калейдоскоп не материальное тело, а философское! Докажу!

— На, отхлебни, — сказал мужик, чтобы утешить его. — И плюнь, — добавил он, — все равно хуже баб ничего нет.

Лева опять отхлебнул и вспомнил сегодняшнюю молодую вдову, Людмилу-Джамбль, и продолжил свою речь, только сменив теперь предмет. Начал говорить о женщинах. Это был из тех пьяных рассказов-поступков, вспоминая которые Лева готов был сквозь землю провалиться в буквальном смысле слова.

— Меня, понимаешь, бабы за что-то любят, — хвастливо врал он. — Сам не знаю за что. Знаешь, бывает в мужике такая внутренняя уверенность, что любая баба твоя, а они, суки, это чувствуют и липнут как на мед. Я, конечно, много работаю, служба у меня такая, это и хорошо, потому что мы все же не восточные люди, века проводящие в безделье, сидящие в тени на порогах своих хибар, шурясь на солнце и попивая чай или какую-нибудь чачу. Там земля все сама родит, понимаешь? А нам работать нужно. Но как после работы расслабиться, если не с бабой да не с водкой?! Особенно под разговор по душам. Русскому человеку ведь поговорить надо. Вот как мы с тобой, сидим разговариваем. Утром еще и знакомы не были, а сейчас по душам говорим. А у меня тут, понимаешь, история сегодня вышла. Одна девка раза два меня видела, тоже такая тварь болотная, кикимора зеленая,

но красоточка, пальчики оближешь, будь здоров как-кая девка. Всегда в зеленом ходит. Моложе меня лет на двадцать, но влюбилась, понимаешь, по уши.

— А ты с ней?.. — спросил мужик.

— Ну нет, врать не стану. Ну, может, один раз, ну два от силы. Но прилипла как банный лист.

— Для бабы два раза, если понравился, то есть по вкусу пришелся, — это немало, это много. Это мне Нинка так говорит, — заключил мужик. — Ну? Дальше.

— Ну вот. То ли она все мужу сказала, то ли еще что в этом духе, может сам узнал, только он утопился, вот такие, брат, дела, понимаешь? — Лева как бы намекал на то, что повинен в смерти, что из-за него, удалого красавца мужика, катастрофа произошла, почему-то хотелось ему выглядеть таким интересным, и ради этого он готов был на чудовищную ложь, ведь безнравственность и злодейство в пьяном разговоре — лучшая приправа, и наворот полуправд, перетолкованных и перевранных, продолжался. — Есть тут и другая версия, понимаешь ли. Из бластных моя подружка-то эта зеленая, слух прошел, что мужу-то она помогла... Понимаешь? С дружками своими договорилась, ну и... Во всяком случае, поминки сегодня были, мне она, конечно, ничего не сказала, что на самом-то деле с ее мужем произошло, но так ко мне на этих поминках лезла, буквально чуть не изнасиловала. Но я — нет. Неудобно, говорю, ты что, шалава, с ума сошла, а? Завтра давай.

— Правильно. Смерть уважать надо, — согласился мужичонка.

Они еще выпили по глотку. Коньяку осталось совсем немного, а Лева хотелось еще поговорить.

— Вот я и не остался, ушел, — говорил он, придерживая бутылку, чтобы мужик не торопился допивать. — Она-то очень хотела, чтобы я остался, все принималась уговаривать, в коридор провожать пошла, на родственников не посмотрела, что осудят, а там так прижалась, что я еле оторвался. Но я ни в какую. Лучше, говорю, не уговаривай, а то поссоримся. И ушел.

— Молодец, — одобрил мужик.

— Я вот думаю, может, сейчас к друзьям поехать, — неожиданно для себя сказал Лева (ему захотелось еще похвалиться и верными друзьями мужчинами, которые, как рыцари Круглого стола короля Артура, готовы за него в огонь и воду). — Они у меня настоящие ребята, любят меня, понимаешь? А пьют так, что будь здоров.

Но коньяк кончался, и мужик, видимо, решил закружаться.

— Давай допивай, — сказал он.

Они допили. Лева лихо отшвырнул бутылку в кусты. Ему хотелось продолжить рассказ о своей романтически-преступной страсти и верных друзьях, готовых на все за него, и он предложил:

— Может, перекурим?

Мужик вытащил «Приму», Лева «Яву», но тут же решил закурить покрепче и взял у собутыльника его

сигарету. Они закурили. Вдали проехал уже который по счету трамвай.

— Ты куда сейчас? — спросил Лева, надеясь начать новый тур беседы, незаметно переводя разговор на себя. Был он уже сильно пьян, в голове шумело, его пошатывало, когда он шевелился.

— Да я здесь живу. Дом на болоте, — и мужик указал на стоявший неподалеку девятиэтажный серый прямоугольник дома.

— Почему на болоте? — испугался чего-то Лева.

— Говорят, раньше болото тут было. Осушили и дом поставили. Родился я, значит, на болоте. На болото и переехал. Такая то есть судьба у меня — на болоте быть. А сами мы с Севера. С болотистой местности. У нас там такие деревни досель есть. Мы еще язычники там. А в Москве, почитай, лет тридцать, не больше. У меня отца лешим в деревне звали.

— Ну ладно, расходимся, — заторопился, притупившая сигарету и отводя в сторону глаза. Лева.

Лева был человеком суеверным, и этот корявый мужичонка вдруг ему жутким показался: низенький, верткий, но чувствуется, что жилистый, не то что рыхлый Лева. Лева испытывал такой же сейчас испуг, даже страх, как когда ему Кирхов сказал, что его Верка мышьяком подтравливает. Пьяный страх подкинул его вверх, он перепрыгнул деревянную планку ограды и, подвывая, бросился через кусты и клумбы к трамвайной остановке.

## Глава VII Вечерний ужас

Было пустынно на трамвайной остановке. Да и стемнело уже. Правда, под фонарным столбом у остановки свет очерчивал некий круг безопасности. Лева трусливо и затравленно оглянулся, отдышавшись. Мужик его не преследовал. Но оставленный сзади двор чернел таинственно и страшно, как дыра в иной мир. «Ишь куда завел, в какую черноту», — бессвязно думал Лева, дальше мысль не шла, потому что голова была полна хмеля. Сосредоточиться стало трудно, просто невозможно. Стекланный прямоугольник трамвайного павильона под крышей отражал свет электрического фонаря. В закутке этого стеклянного прямоугольника обнималась парочка, как разглядел Лева, подойдя поближе. Девушка стояла вжата в стеклянный угол, а парень висел над ней, облапив двумя руками. От девушки виднелись только кусочек платья и ножки в туфлях-лодочках, обнимающие тумбообразные ноги парня и слегка вздрагивающие от любовного усилия. Парень сопел. А Лева, желая заручиться поддержкой живых существ от тьмы, идущей с оставленного им двора, не вдумываясь в ситуацию, окликнул их:

— Это в сторону Войковской трамвай? — Он и сам знал, что трамвай с этой остановки идет в сторону Войковской, и спросил, только чтобы как-то дать знать о своем существовании стоявшим людям, чтоб они знали, что он здесь, на случай мало ли чего, но именно

поэтому голос его прозвучал трусливо, заискивающе и фальшиво.

Парень повернул голову и хрипло и недовольно ответил:

— Ну?

Несмотря на прозвучавший в голосе вопрос, ответ этот означал утверждение. Лева закивал, что, мол, понял, а парень отвернулся и больше не обращал на него внимания. Лева стоял в освещенном круге, стараясь не отходить далеко от павильона, держась за поручень у стеклянной стенки. Он что-то понял, и его подмывало подойти к парочке с фамильярными словами о любви, но он стоял молча, изредка робко поглядывая то в темноту им оставленного двора, то в сторону, откуда должен показаться трамвай. Лева было нехорошо, но еще не то это было состояние, чтоб заснуть где попало, просто отрубиться или вообще ничего не соображать. Страх держал его на ногах, не давая расслабиться. Но он уже чувствовал, осознавал краешком сознания, что опьянение его все же выше нормы. Тоскливое отвращение к себе снова поднималось со дна его существа, изнутри того, что раньше именовалось душою. «Зачем опять нажрался? Ведь придерживал же, придерживал с ребятами, придерживал на поминках... Утром попил пива, похмелился, на поминках окончательно поправился... Ну и остановись!.. Так нет! И как этот гнус заманил меня на пьянку? Отец у него леший, как же! Сам он леший! И две трешки пропил, и завтра опять похмеляться придется. Как не устоял? Чего за ним по-

бежал? Гриша бы небось ни за что не пошел, это точно. Ему бы и в голову не могло прийти пить по подворотням, он в свой кабинет, к книгам... А я? Опять неудобно было отказать простому человеку? А почему? Почему неудобно? Сказал бы, что денег нет или занят, тороплюсь, и все. Значит, самому это требовалось. А ведь хотел же забраться к себе, под корягу, и читать, читать, читать, читать, читать, читать, — Лева почувствовал, что засыпает, и затряс головой, чтобы призвать себя к бодрости. — А вместо чтения опять вечер загубил. Впрочем, все равно бы сегодня вечером не работалось. Так что черт с ним! С кем? Да с вечером. Черт с ним, с вечером. Вот только наговорил я!.. Этому мужику-лешему!.. И чего наговорил?! Фу! Ужас! Хорошо одно, что никто никогда про это не узнает. Я не расскажу, а мужик никому не известен».

Утешенный этим соображением, Лева оглянулся и увидел подходящий светящийся трамвай. «Уф! Наконец-то!» Подальше от этого двора, подальше да поскорее. Парочка не обращала на трамвай внимания.

— Эй, ребята, трамвай, — захотел оказать им услугу Лева и тронул даже парня за плечо.

Тот обернулся, с ненавистью глядя на Леву:

— Тебе чего надо? Чего пристал?

Парень был широкоплеч и могуч, а взгляд излучал самую настоящую ненависть и жестокость. «Такой и на самом деле прибить может, не задумается».

— Ничего, — быстро отшатнулся Лева и поспешил влезть в полупустой и яркий трамвай.

Двери за ним закрылись, и трамвай поехал. Сидело в нем человек шесть или семь. На полу валялись использованные трамвайные билетки, недогрызок яблока и раздавленная длинная сигарета с фильтром. Коричневое табачное крошево было растерто по полу чьей-то подошвой. «Перед вечерней уборкой, — подумал Лева. — Завтра опять будет чисто». Он уселся у окна, укрепил на коленях портфель, прильнул к нему обняв обеими руками, и моментально заснул.

— Эй, друг, проснись, конечная! — кто-то тряхнул Леву за плечо.

Он испуганно и полусонно вскочил, портфель как-то боком выскользнул у него из рук, упал на пол между сиденьями. Лева подхватил его за ребристый бок и поспешил за выходящими пассажирами. И поспел аккуратно последним. В вагон повалил народ. На Войковской всегда садилось много народу. Вечер был уже совсем темный, но светились два стеклянных спуска в метро, фонари, афиши кинотеатра «Варшава». Лева посмотрел на часы — начало одиннадцатого. Голова со сна была тяжелая, его слегка мутило.

Лева подошел к стеклянным дверям подземного перехода, откуда выныривали и куда ныряли люди, напоминая плескание рыбок в аквариуме. Лева двинулся подземным переходом, где справа стояли автоматы с газетами, на каждом из которых виднелась по позднему времени надпись «выключен», а слева вход в метро с хлопающими дверьми. Лева опять припомнил уже посещавшее его сегодня воспомина-

ние детства и таинственно-притягательных книжек, в которых люди пробираются куда-то рукотворными подземными переходами, как граф Монте-Кристо, или спускаются, как герои Жюль Верна, к центру земли сложной системой гротов и штолен, или, как одесские партизаны, прячутся в катакомбах, не говоря уже о страшном путешествии под землей Тома Сойера и Бекки Тэтчер. Там ужасные встречи и ежеминутно подстерегающая опасность. А здесь звучит так привычно: подземный переход. И никаких тебе допотопных чудовищ и опасностей, потому что в метро всегда дежурит милиция. И потому из метро, из еще большей глубины, чем переход, тоже выходят всегонавсего люди. Но сейчас эти мысли только скользнули в Левином полусонном сознании. Скорей в свою комнату, в свою постель, укрыться одеялом и вырубиться. И чтоб никто-никто не знал о позорных речах. Никто и не узнает. А завтра с утра опохмелиться и начать новую жизнь. Если это возможно.

Потрясывая головой, вышел Лева наружу из подземного перехода на другую сторону Ленинградского шоссе. И двинулся перпендикулярно ему в глубь дворов, за которыми начинался уже лесопарк, жутковатый по вечерам. Окна магазинов вдоль шоссе светились, хотя двери и были заперты, зато кулинария по дороге к Левиному дому, сразу за углом, уже темнела окнами. Лева по утрам тут пил кофе с булочкой, когда не надо было похмеляться. С левой стороны стояли пятиэтажные дома, стили «баракко», как острили

архитекторы, или «хрущобы», как их называли в народе. И все равно спасибо хотя бы за такие дома, все лучше, чем жить в коммуналках, так в свое время спорил Тимашев, и Лева был с ним согласен. Справа, сразу за зданием с кулинарией и ателье, зданием постройки сороковых годов, массивным и просторным, выходящим фасадом с магазинами на шоссе, начинался пустырь с неасфальтированной, в колеях, дорогой. На пустыре стояло какое-то одноэтажное красное здание, к нему часто подъезжали грузовики, но что в нем находилось, Лева не знал и не интересовался. Дорога была темная, в колдобинах. Свет доходил только от дальних пятиэтажек, от лампочки, горевшей над железной, с тяжелым засовом дверью красного одноэтажного дома, да трех фонарей с не разбитыми еще лампочками в начале дороги. Дорога, правда, несмотря на выбоины и колдобины, была почти прямая, она вела к длинному двухэтажному барaku, теплому, оштукатуренному, где на первом этаже и снимал Лева комнату. Сразу за Левиным домом, за небольшой кучкой деревьев и деревянным забором, проходила железная дорога, и воздух тут всегда пах характерной паровозной гарью, приятным Лева привокзальным запахом маленьких городков. Сразу за железной дорогой начинался лесопарк, куда ходили гулять местные жители. В темноте, да еще с алкоголем в организме, путь был труден. Все цепляло Леву за ноги, он спотыкался, один раз даже упал, больно ударился, очевидно ссадив под одеждой коленку и

локоть. Но Лева упорно брел к своей цели, ведомый инстинктом не в меньшей степени, чем осознанным желанием — приклонить голову в безопасном месте.

А безопасности почему-то хотелось. Что-то тревожило его. И чем ближе продвигался, тем яснее ему становилась причина тревоги — вчерашнее столкновение в подъезде. Хоть и понимал он и помнил, что ребята ему говорили, но какой-то уж сегодня день был насыщенный страхами, испугами и малоприятными столкновениями. Бывают такие дни. Тимашев, любивший рассказывать истории и анекдоты, как-то среди философических рассуждений о полосах удач и неудач рассказал следующее: два приятеля встречаются, один другого спрашивает: «У тебя сегодня день какой — как бутерброд с повидлом или говном?» И поясняет, что дни таким образом делятся: удачные — бутерброд с повидлом, неудачные — с говном. «С говном», — отвечает второй. Через некоторое время они снова встречаются первый спрашивает: «Как дела?», а второй кричит: «Помнишь, я тебе говорил, что мой бутерброд с говном? Так то было повидло!» Лева вспомнил этот анекдот неожиданно для себя, глупо захихикал и повторил: «Так то было повидло!» И снова захихикал. «А вообще-то не день сегодня был, особенно под конец, с этим лешим, а бутерброд с говном, — подумал Лева, опять спотыкаясь и мрачней. — Скорей бы уж он был позади». Лева понимал, что вряд ли кто его будет поджидать в подъезде, даже если вчера кто и был. Шпана и всякая нечисть дважды в места, где нечем поживиться, не хо-

дит, неопытно и наивно полагал Лева, начитавшийся книжек и считавший, что благодаря пьянству *знает жизнь*. Хотя тут он припомнил, как в их большой дом, где жил он с Ингой, повадилась ходить шпана и жечь — забавы для — газетные ящики, и выкурить ее было трудно, пока пост милицейский не установили. Но ведь не его же специально кто-то там ждет у двери!.. Кому он. Лева, нужен?! Хотя?.. Есть же на свете завистники. Вдруг тот же Тимашев решил мою теорию калейдоскопа присвоить, он ведь, сука, единственный понял, что это — открытие. И нанял кого-нибудь со мной расправиться?.. Шпану какую-нибудь. Эти за бутылку все могут. Пришьют — глазом не моргнут. Если уж, как говорят, в карты случайных прохожих проигрывают... Это как инициация у дикарей. Убьешь человека из соседней деревни, скальп снимешь — станешь мужчиной... Лева задрожал. А может, *кто другой* наш разговор в пивнухе слышал. Теория моя не то чтобы идейно порочная, но и от ортодоксии далека. Услышал и сообщил куда следует. Нет, тогда бы *вызвали*... Лева затряс головой, стараясь отогнать эти мысли. Краешком сознания он все же понимал, что опять начиналась «помадовщина», пьяный неврастенический психоз. Не думать о плохом! Эх, все же изменился узор его калейдоскопа! Да как незаметно, потихоньку, а все другое. Почему не жилось ему дома у матери? Рвался, рвался и вырвался — женился. А потом у Инги не жилось. Почему? Сидеть бы ему сейчас у Инги или у Верки... Ругался бы, конечно, с ними, но зато в своем доме. Хорошо Грише! Уже пять-

десять лет на одном месте живет. Это в самом деле гнездо, что-то устойчивое, почти уже родовое. Понятно, что он с Аней не разводится. Из гнезда не улетишь! А тут прешься куда-то в темноту, в пустую, холодную, одинокую и чужую комнату. Он огляделся по сторонам. Ни живой души. Даже собачники не гуляли, хотя время совсем не позднее. А ведь обычно на пустыре два-три человека непременно своих шавок выгуливали. Только сзади, от уже очень дальнего метро, раздавался человеческий гул. Но не поворачивать же назад, когда до дома метров двадцать всего осталось, уже видно его.

Окна в его доме светились, некоторые были открыты. Желтый свет из комнат освещал пространство перед домом, небольшое, но освещал. Из окон второго этажа, из комнаты братьев Лохнесских, звучала не то гитара, не то магнитофон, мужской голос пел:

Я был душой дурного общества,  
И я могу сказать тебе:  
Мою фамилию, имя, отчество  
Прекрасно знали в КГБ...

В меня влюблялася вся улица  
И весь Савеловский вокзал.  
Я знал, что мной интересу-ются,  
Но все равно пренебрегал...

Лева обожал блатные песни, они были такие романтичные, мужественные. Он уже было подумал,

что постоит под окнами и послушает, вдыхая привычный здесь вечерами запах подсолнечного масла и жареной трески, как вдруг приостановился, не доходя до дома, и даже сделал шаг назад. «Так то было повидло», — промелькнула в мозгу та же фраза (он подумал о прежних своих столкновениях за сегодняшний день), но уже не в мажорно-хихикающей тональности, а едва различимая от ужаса, охватившего его непонятно почему. Он почувствовал, как под плащом опустился и обмяк его животик, а все внутренности тоже устремились куда-то вниз, под ложечкой затошнило, забулькало. «Вот так и бывает медвежья болезнь», — подумал Лева, хватаясь за живот.

Перед домом был палисадничек. В нем стоял врытый стол и две скамьи. Обычно, днем и вечером, мужики там резались в домино или распивали. Лева вначале никого не заметил за столом. Пустым он ему показался. Но когда подошел он к этому столу почти вплотную (миновать его на пути в свой подъезд он не мог), донеслось от стола какое-то мычанье и хрипенье, вмешавшееся в звуки песни, и существо, сидевшее за столом, распрямилось. Фигура существа была длинной, очень длинной (даже в сидячем его положении это было заметно), с непропорционально вытянутой вперед физиономией, длиннее, чем у лошади, словно существо было в маске чудовища, в маске... крокодила... Лева сделал еще шаг назад. Он даже подумал было развернуться независимо и потрусить назад к метро. К Верке, к Инге, к матери — куда угод-

но! Уж больно страшен был поджидавший его (поджидавший? его?) субъект. Но пьяная слабость и трусливое бессилие стреноживали. Не было никаких сил шкандыбать (об бежать не было и речи) назад по той же дороге через буераки, выемки и колдобины. Непременно споткнешься и упадешь. Тут-то его и нагонят. И сожрут. Если это и вправду крокодил. Энергии, как у американского контролера-обходчика, отчаянно боровшегося за свою жизнь, он в себе не ощущал.

Да к тому же вдруг субъект и не его ждет. Да и вообще никого не ждет. И вообще никакой он не крокодил. А просто пьяный мираж. От слабости и страха на лбу у Левы выступила испарина, сердце заколотилось сильно-сильно, ноги стали вялые и недвижные. Глупо сворачивать в двух шагах от дома. Да и легче при такой его слабости добрести до дома, только бы ноги отвердели. Очень похож субъект на вчерашний пьяный бред, но вчера-то ничего не произошло. Надо было, не доходя до дома, пойти в милицию и сказать, что вчера у дома его пугал какой-то длинный в маске крокодила. Засмеют. Не скажешь же, что к тебе крокодил пристает. Да ты же пьян, скажут, и справедливо скажут. Сколько вчера выпил? А сегодня опять? Э, да тебя в вытрезвитель надо. Это милицейское умозаключение представлялось Лева неотразимым, оно было словно впечатано в матрицу Левиного сознания. Подвыпив, он боялся милиции, как самый последний хулиган.

«Пройду себе независимо мимо. В конце концов, о н далеко от подъезда сидит. Если и бросится ко мне,



то, пока из-за стола вылезет (если вообще будет вылезать, может, он *просто так* сидит), все равно я успею заскочить в подъезд. А там позвоню в квартиру, Иван или Марья откroют—и привет. Тот и сбежит».

И Лева сделал два или три шага по направлению к подъезду. Субъект не шевелился и молча смотрел на него. Лева еще шагнул. Из какого-то окна и впрямь резко пахнуло жарившейся на подсолнечном масле рыбой, но не треской, а не то мойвой, не то навагой. У Левы всегда был обостренный нюх. Но все запахи (тут он это тоже явственно ощутил) перебивал вязкий, струившийся по двору запах тины, болота, прелых листьев и какой-то гнилости. Стало сыро и зябко. Отяжелевшие ноги двигались медленно, с трудом. И вдруг из субъекта раздался голос — грудной, глубокий, сильный, мычащий, как у коровы, голос, не знающий возражений:

— Слышь? Поди сю-уда. Разговор есть. <;

— Зачем? — Губы у Левы еле шевелились, когда он произносил это слово, но ноги окаменели, встали.

— Да надо. Иди, кому говорю-у!

И Лева подошел к столу. Но не сел, чтоб не запеть себя между столом и скамейкой, а остался стоять, не поднимая глаз на субъекта. В затылке был гул, будто стрекозы в жаркий день на болоте расшумелись до чрезвычайности, то зависая над водой, то делая бросок к какому-нибудь цветку и зависая над ним, шевеля крыльями. Но их много, стрекоз, и стрекот стоит ужасный. И еще было с ним, как бывает в ситуации предельного страха, чтоб не умереть с испугу:

ощущение возникло, что не с ним это происходит, что как бы со стороны он наблюдает, — защитная реакция организма. «Да, то было повидло», — отстраненно думал он о своих прежних страхах, как о страхах кого-то совсем другого.

Собеседник не вставал, и мычащий голос выходил из нутра без напряжения.

— Вот послу-ушай. — сказал субъект, — не про тебя сказано? — И он начал, словно декламируя наизусть: — Пи-аний человек, согрешив, не кается, а трезвый, согрешив, кается и спасен бу-удет. Пианий человек горее бесного, бесный бо стражет неволею-у, добу-удет себе ве-ечну-ую-у жизнь, а пианий человек стражет своею-у волею-у, добу-удет себе ве-ечну-ую-у му-уку-у, — говорил субъект нараспев, тягучим, мычащим голосом, не раскрывая пасти, что по-прежнему заставило думать о маске. Ибо Лева видел краем глаза, а может, и внутренним зрением вытянутую вперед совершенно крокодильскую морду, а субъект продолжал, словно отходную читал: — Пришедшие иереи молитву-у сотворят над бесным и прогоня-аю-ут беса, а над пи-аным, аще со всея земли сошлись бы попове и молитву-у бы сотворили, но вем, яко не прогнати пианьства, самоволнаго беса. Пи-аний человек горе-е блу-удного, блудный бо на новь месяц блу-удит, а пи-аний напиваяся по вся дни блу-удит. — тут мычащий его голос стал гулким как труба и торжественным. — Пи-аница приложен есть к свинии. Боже-ственный апостол рече, яко пи-аницы царствия божиа

не у-узрят, но у-уготована им есть му-ука, с прелюбодее и с татми, с разбойни-кы в веку му-учитися. Без Божиа су-уда вскоре пи-аницы у-умирают, яко у-утопленици. Аще кто пиан умрет, тот сам себе враг и у-убилица, а приношение его ненавистно Богу-у.

— А мне наплевать, я атеист, — пискнул Лева, чтобы проявить независимость, показать, что он не боится,

— Могу-у ли я о себе это сказать? — промычало существо. — Пожалуй-уй, могу-у... И все же...

Вдали загудел паровоз, послышался грохот и лязг состава. Запах гари и жареной на подсолнечном масле рыбы смешался с аммиачным болотным запахом гнилостной сырости. Лева подташнивало.

— Да ты не бойся, ты садись, к чему-у на ногах маешься, так у-у тебя и голова закру-ужится, затошнит тебя, — субъект слегка приподнялся, положил переднюю конечность на плечо Лева, а его вытянутая морда с ноздрями на самом ее окончании и глазами под узким лбом оказалась прямо перед Левиным лицом. — Ду-умаешь, про тебя рассказывал?

— Ничего я не думаю и ничего не боюсь, — ответил Лева, но сел, вместо того чтобы спросить, чего, мол, тебе надо и пошел ты куда подальше. Пьяный дух немного поддерживал его, хотя он же временами устранял контроль, и страх волнами тогда захлестывал Лева. Да и хмель уже выветрился, пусть и не очень быстро. — У тебя натурально очень похожая маска крокодила, но крокодилы в воде живут, в болоте, а если выходят на сушу, то уж не на двух ногах.

— Ой, не могу-у, у-морил, у-ученый! Отку-уда ты это взял, такие сведения? А? Ой, не могу-у, — субъект сидел и хохотал так, что отвисла его нижняя челюсть, обнажив ряды замерцавших зубов, а из пасти пахло смрадом невыковырянного и загнивающего в зубах мяса, остатка прежних трапез. — Чтоб ты знал, крокодил происходит от архозавров, так называемых вторично-водных рептилий. И он вернулся в воду-у, пройдя стадию-у чисто наземного обитания. Не исключено, слу-ушай меня, слу-ушай, что предки крокодилов, подобно многим динозаврам и дру-угим предковым гру-упшам рептилий, передвигались лишь на дву-ух задних конечностях. Понял? Так тебе напоследок и лекцию-у прочитаю-у. Бу-удешь знать, с кем дело имеешь. А может, метафизику-у хочешь?..

— Разумеется, — попытался Лева ответить с достоинством.

— Видишь ли, — задумчиво, как врач, пытающийся честно поставить диагноз, начал диковатый Левин собеседник, — такое состояние психической су-убстанции; какое сейчас наличеству-ует у-у тебя, позволяет, как показывает опыт, у-увидеть то, что норме не у-увидеть. Но это вовсе не значит, что ты галлю-уциниру-уешь. Просто ты видишь то, чего не видят дру-угие. В сознании твоём слой цивилизации прорвался под этим слоем — бездна. Вот я — отку-уда. В самом деле, почему-у лю-удям, а не ящерам владеть землей?! Сие есть вопрос. Впрочем, Божий су-уд решит.

— А при чем здесь Божий суд? — спросил Лева, чувствуя, что сходит с ума, обсуждая со странным и страшным субъектом метафизические тонкости, вместо того чтобы бежать прочь, как американский контролер-обходчик. Но американец за свою бурную жизнь в каменных джунглях Нью-Йорка, возможно, и привык к неожиданностям, к тому, что всякое бывает, что и несмежное возможно, а Левина жизнь все же к неожиданностям и небывальщине не прикасалась, а потому кроме страха, отнимавшего силу у ног, его не покидало ощущение, что «такого не бывает».

— Объясню-у, объясню-у. — сказал мычащий субъект сладострастно хрюкнув. — У-у Божия су-уда много орудий. Сами по себе они могу-ут быть и у-ужасны, »но их используют, и в этом их оправдание. А крокодил, чтоб ты знал, — из древнейших орудий. В Библии его называли левиафаном, и он непобедим. — И субъект снова заговорил нараспев, как, по Левиным представлениям, должен был поп читать: — Можешь ли ты у-удую-у вытащить левиафана и веревкою-у схватить за язык его? вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь иглою-у челю-усть его? будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою-у кротко? сделает ли он договор с тобою-у и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Клади на него руку твою-у и помни о борьбе: вперед не будешь, — при этих непонятных словах субъект так посмотрел на Леву, что тот невольно и послушно положил руку свою ему на плечо и почувствовал сквозь одежду ладонью стран-

ную костистость и зябкий холод, исходивший от тела существа, которое продолжало, не останавливаясь, говорить. — Надежда тщетна: не у-упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Не у-умолчу-у о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Кру-уг зу-убов его — у-ужас; крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы твердо-у печатью-у; один к другому прикасается близко, так что и возду-ух не проходит между ними; один с дру-угим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет у-угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит у-ужас. Мясистые части тела его сплочены между-у собою-у твердо, не дрогну-ут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов...

— Ты-то здесь при чем? — перебил его Лева, ему казалось, что он должен поддерживать разговор ради спасения своей жизни, ведь тех, с кем беседуют, особенно если они ведут себя независимо, как бы *на равных*, не должны трогать. — Это о тебе, что ли?

Словно бы не замечая вопроса, субъект, дав Лева произнести еще несколько слов, продолжал:

— Когда он поднимается, — тут он и в самом деле приподнялся над столом, так что Лева шархнулся от него, но остался при этом сидеть как пригвожден-

ный, — силачи в страхе, совсем теряются от у-ужаса. Меч, кос-ну-увшийся его, не у-устойт. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Свисту-у дро-тика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину-у, как котел, и море претворяет в кипящу-ую мазь; оставляет за собою-у све-тящу-ую-уся стезю-у; бездна кажется сединою-у. Нет на земле подобного ему-у; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости, — тут он кончил говорить нараспев и добавил просто, скорее даже деловито: — Честно говоря, для жертвы всегда сложно понять, действует орудие, будучи направляемо высшей рукой и из высших побуждений или само по себе, для собственной прихоти, ну-у, для тренировки, в конце концов.

Субъект замолк. Молчал и Лева, поражаясь, как после этой недвусмысленной угрозы он все равно не в состоянии вскочить и побежать наутек. «Так и есть, — потерянно думал он. — Сейчас конец. Правда, если он не бандит, а просто... взгляды мои выяснял, — в Лева вдруг затеплилась надежда, — тогда пожурит и... отпустит?.. На худой конец, с собой заберет. То-то он о божественном, о метафизике речь вел. О теории моей калейдоскопа кто-то стукнул. Теперь за идеализм мне вмажут. Интересно, кто стукнул. Тимашев?.. А мог и Шукуров... Вряд ли. Скоков?.. Не случайно он в высокие разговоры никогда не лезет. Слушает да на ус мотает. Оправдаюсь. Я все же материалист. Сейчас им не тридцать седьмой год!.. А если все-таки бандит?.. Тогда

хана». Он сидел в полной прострации, а в голове закрутилось воспоминание из тех дней, когда он был еще женат на Инге. И он сидел и вспоминал, вместо того чтобы «рвать когти». Никаких сил в нем не осталось. Он вспомнил, как однажды вечером, устав от работы — редактирования, чтения и писания, — он пошел было на улицу прогуляться, подышать свежим вечерним воздухом, так он и Инге сказал. Машин под вечер уже немного, шум, копоть, запахи бензина и выхлопных газов пропадали, и можно дышать сравнительно чистым воздухом. К тому же в их четырехугольном дворе росло несколько деревьев, которые создавали ощущение зелени, во всяком случае был шелест листьев и потрескивание ветвей, что навевало умиротворение. И это-то умиротворение и хотел испытать Лева. Он не торопясь спускался по лестнице, чувствуя себя очень значительным после проделанной, завершенной работы, мудрым, усталым, солидным. То, что произошло через минуту, было просто невероятно и дико, как в кошмаре. Он уже спускался последним, маленьким пролетом лестницы, как вдруг входная дверь распахнулась навстречу ему (перед этим на секунду к ее стеклу прилипла чья-то расплющенная физиономия) и из подъездного тамбура высунулся какой-то мальчуган в кепке, глаза его блестели и бегали по сторонам, гнусно и воровато, улыбался он нагло и как-то криво, лицо у него было вытянутое, бледное, он даже не вошел, а скорее вкрался в подъезд, изогнувшись так, что часть его тела как бы осталась в тамбуре, поманил Леву пальцем и подморгнул.

— Слышь, ты, — хрипло и шепотом позвал он. — Выдь во двор, дело к тебе есть. А? Поговорить с тобой надо.

Иногда бывало, что распивавшие во дворе мужики просили у жильцов стакан. Но эти просьбы были понятны и конкретны, здесь же явное выманивание в темноту, неизвестно зачем. И эта-то неизвестность вызвала прямо панический ужас. Лева в тот момент стало так страшно, что, позабыв о мужском достоинстве, просто *позабыв*, ни о чем не думая, он сделал два или три шага назад спиной вверх, а прошумевшие вдруг от ветра в темном дворе деревья прозвучали грозным звуковым оформлением, фоном к словам малого в кепке. И, резко развернувшись, Лева стремглав бросился вверх по лестнице, нисколько не стесняясь своего страха и опасаясь только одного — что парень бросится за ним догонять. Парень что-то прокричал снизу, типа «подожди», но Лева уже отпирал свою дверь. И на недоуменный вопрос Инги, чего он вернулся, Лева, уже заперший дверь на цепочку, опомнившись и раскaiваясь в своей трусости, только пробурчал, что расхотел гулять. Но весь вечер, несмотря на раскаяние, липкий страх опасности, подстерегающей его за дверью подъезда, на улице, под тревожно шумящими деревьями, никак не покидал его. Тем более что совсем непонятно, о чем этому малому в кепке с Левоу говорить! И всякие жуткие истории о проигранных в карты случайных прохожих так и лезли ему в мысли, и думал он, что чуть не стал этим

случайным прохожим. И оттого что опасность уже прошла, он судорожно вздыхал. Даже когда Инга попросила вынести мусорное ведро на помойку, он, несмотря на ее раздражение, отказался безо всяких объяснений, сказав, что сделает это завтра — утром или днем. «Когда будет светло и на улице будут люди», — добавлял он про себя.

И сейчас, сидя около страшного, крокодилоподобного незнакомца, он все не мог взять в толк, почему у него не хватает сил броситься наутек, почему сил нет, почему ноги не слушаются, да и руки вряд ли послушаются, когда замок отпирать будет.

— Ты что ж, не рад со мной сидеть? Или все боишься меня? А чего боишься — и сам не знаешь? — начал субъект новую речь.

Но его перебил весело-разухабистый хулиганский мужской голос, под гитарный перебор громче обычного окрикивавший слова:

Прилетит Чебурашка  
В голубом вертолете  
И бесплатно покажет стриптиз.  
Крокодил дядя Гена  
Выньмет вроде полено —  
Это будет наш главный сюрприз!

Из окна братьев Лохнесских послышался шумный регот, хохот и неразборчивые выкрики, перебор, гитарный смолк, а субъект сказал:

— Ишь ты, опять крокодил!.. Почему-у у у вас всё крокодилы действуют? Не медведи, волки и лисы, а крокодилы! Ведь ты, Леопольд, над этим уже сегодня небось думал. Потому ли, что появление крокодила кажется самым невероятным, нереальным в этой географической полосе? А? Что скажешь? Ну, говори же. Или ты полагаешь, что ты, как вчера, пьян и тебе все мерещится. Да, не трезв. Но и не так чтобы чересчур. Но тебе и вчера, может, не мерещилось? Ты ж материалист. А? Или надеешься, что я исчезну-у, как тот крокодил в анекдоте?

— Каком анекдоте? — со странной надеждой спросил Лева.

— А, так ты не знаешь. Тогда расскажу. Едет человек с крокодилом в автобусе, а тот, пресмыкающееся этакое, все ноет: «Хочу-у в трамвай! Хочу-у в трамвай! Мне здесь все лапы отдавили и хвост неку-уда девать». Хорошо. Поехали они в трамвае. А крокодил все ноет: «Хочу-у в такси, хочу-у в такси. Меня здесь все толкают, лапы отдавили и хвост некуда девать». Поехали они в такси. А крокодил и там ноет: «Мне здесь тесно, мне здесь неудобно». Тут человек рассердился и говорит: «Перестань приставать, а не то еще одну-у рюмку выпью-у, и ты не только приставать перестанешь, но и вовсе пропадешь к чертовой бабушке». Хороший анекдот? Правда, тебе, я думаю, уже никакая рю-умка не поможет. —

— Почему это? — робко и с испугом спросил Лева.

— Да ты у-уж почти все свое отпил. Тебе у-уж вряд ли что поможет. Ты у-уж и проспаться не можешь, совсем ду-урак стал.

— Н-не думаю, надеюсь, что это не так, — бормотал Лева, чувствуя, что окончательно сошел с ума, что сознание его явно раздвоилось и в мозгу, в душе и в глазах сопрягаются два несовместимых как будто плана: реальный и ирреальный. Стол с обрывками газеты, на котором, видно, сегодня воблю ели, судя по рыбьим ребрышкам, которые случайно задел Лева рукой, втоптаные в землю пробки из-под пива, два трамвайных билетика, засунутых в щель меж досок стола, и кучки песка: очевидно, дети не то куличи из песка на столе делали, не то просто песком кидались в расположенной рядом песочнице. И вот на обычной скамейке, за этим таким реальным и осязаемым столом сидело существо, произносило слова на человеческом языке, но при этом не то и в самом деле было крокодилом, не то человеком, как-то превратившимся в крокодила (но кому это надо?), не то в маске, личине крокодила, которая сростась с человеком (нечто подобное Лева читал в современной западной литературе), но во всяком случае существо это сидело как посланец не из Левиного мира, из другого, чуялось в нем что-то ужасное, запредельное. Хулиган — это тоже наследие далеких, диких предков, идет из джунглей, от хищных пралюдей, поедавших друг друга. Но это хоть знакомо, поэтому от них можно убежать, не столь силен запах нечеловеческого. А от этого существа веяло холодом даже додикарского периода, периода каких-нибудь и в самом деле динозавров, ихтиозавров, или, как *он* сам сказал, архозавров. Как *он* вылез? *Он* или *оно*? Как правильно? Да не важно это.

Важно другое. Откуда? Кто *его* разбудил? Уж не он ли, Лева?.. Говорил же Гриша, что заигрывание с темными силами ведет к сдвигу геологических пластов. Треснула земля, появилась щель, и *она* вылезло... Или чвакнуло болото, и *она* оттуда появилось... И Главный, и Чухлов — они в конечном счете не страшны. Крокодил же... Не знаменует ли его появление решающую перемену элементов в его калейдоскопе?..

— А ведь представь себе, — засмеялся утробно субъект, не раскрывая пасти, — что не трудно догадаться, о чем ты сейчас думаешь. Ты роман Сартра «Слова» читал? Его, кажется, переводили. В нем герой вспоминает поразившую его в детстве гравюру-у: из пру-уда высовывается мерзкая клешня, хватает пьяницу-у и волочет его к себе. А под гравюрой подпись: «Галлю-уцинация ли это алкоголика? Или то приоткрылся ад?» Ну ты чего? чего? — Он протянул свою переднюю конечность через стол, похлопал Леву по плечу, потом слегка сжал плечо, так что когти слегка вонзились в тело, но не сильно. — Ну-у, у-успокойся. Ладно? Ты чего так разнервничался? — Он отпустил Левино плечо. — Надо бы нам выпить, размягчиться, по ду-ушам погу-утарить. Ну-у, ладно, ладно. Сегодня я тебя утру-уждать не буду, да и вроде сыт я. Я к тебе завтра зайду-у. Посидим, выпьем, закусим.

— Чем? — почему-то вдруг с испугом выдохнул Лева.

— Кто чем... Кто чем...

И тут субъект распахнул пасть и сразу же захлопнул ее. Лязг зубов такой раздался, что Лева вдруг почувствовал, как спала с него скованность. Он вскочил, в секунду выдрался из-за стола, побежал, придерживая под мышкой портфель, упал, вскочил, снова кинулся бежать, зацепился ногой за трубу ограды, растянулся, собрался, как червяк, поднялся на колени, опираясь на кулаки, и побежал на четвереньках, прямо перед подъездом распрямился и нырнул в подъезд головой вперед. Сердце его колотилось, ключ, разумеется, никак не попал в замок, толстые бока тряслись, рубашка на животе вывалилась из-под ремня брюк, но наконец он дверь отпер, обдирая пальцы, так что они даже закровоточили, ввалился в переднюю и захлопнул за собой дверь. Но за дверью, судя по тишине в подъезде, никого и не было.

Из комнаты справа, сразу при входе, раздавался капризный писк пятилетнего Оси: «Не хочу спать. Не буду. Не хочу спать! Не буду!» Значит, днем на очередную проверку своей комнаты приехала с внуком Ванда Габриэловна Картезиева и решила сегодня переночевать. В комнате напротив входной двери, как всегда, ссорились супруги Хайретдиновы, Иван да Марья. Из-за чего у них бывали ссоры, Лева за малостью времени проживания в квартире еще не разобрался: Иван вроде бы пил не больше других, а Марья сразу после работы бежала в магазин и мужиков в дом вроде бы не водила. Но ссоры бывали постоянно, как только они сходились вместе на своих одиннадцати метрах. Затем Марья вытаскивала свою постель

в ванну и там на всю ночь запиралась. Была она худощавая, смуглая темноглазая, вид имела независимый. Иван, с узкими глазками, плешивой башкой, длинной шеей, но в остальном сбитый крепко, жилисто и мускулисто, вроде бы был нравом послабее жены, во многом ей подчинялся, а потому, проявляя мужскую самостоятельность, временами бил Марью. Из комнаты их раздавалось бурчанье, хлопки, удары, потом раздавался Марьин крик: «Животное!» Это довольно-таки интеллигентное слово в устах не очень интеллигентной женщины удивляло и умиляло Лева.

Лева прокрался мимо их ссорящейся комнаты в свою, опасаясь одного, как бы кто из них не выскочил в азарте ссоры на лестничную площадку, оставив дверь открытой. Лева запер за собой дверь комнаты, благословляя трусоватых хозяев, установивших в свое время чугунную решетку на окне. Прислушался. Тишина, если не считать крика Марьи из-за стенки: «Животное!» — и тяжелого, глухого удара по мягкому телу. И бурчанья.

Мысли в голове крутились самые тусклые. О теории калейдоскопа, о том, что, конечно, сил у него сегодня ее разрабатывать не хватит, да и вообще какая-то это чушь, даже думать про нее стыдно. Надо бы просто лечь поспать, утром похмелиться — для тонуса, потому что хмель-то почти весь выветрился и голова вряд ли болеть будет. Хорошо бы сейчас рюмашку принять. Он снял плащ, принялся вешать его в стеной шкаф и увидел, что из-за груды грязного белья

высовывается полная бутылка лимонной, «с винтом», причем ноль восемь. Он сообразил, что это — даяние позавчерашнего автора, про которое он сегодня утром с похмелья и не вспомнил и промучился, как дурак, до пивной. «Вот завтра рюмашку отсюда отопью, — думал Лева, — завинчу и назад поставлю. Это будет моя лечебная бутылка». Он думал о чем угодно, только не о крокодиле. Ему казалось (подсознательно он это чувствовал, не выводя наружу), что стоит ему о крокодиле подумать, как тот тут же явится. И он прилагал все усилия, чтобы этого избежать.

Лева лег, не раздеваясь, на кушетку. Укрылся пледом. Хотелось заснуть, чтоб вернее ни о чем не думать. Он уткнулся головой в подушку, очки больно нажали ему на переносицу, он снял их, положил рядом на стул, поразившись, как за время бега и падений они не шелохнулись у него на носу, и снова закрыл глаза. Ему представилось его темное зарешеченное окно, потом это окно закрыл какой-то поднос, прямоугольный сверху и нежно-округлый снизу, чем-то напоминающий женский торс, но еды на этом подносе не было, да и сам поднос вскоре превратился и вправду в женский торс с крупными широкими бедрами, пушистым густым лобком, тело было нежное, девичье, такой когда-то воображал себе Лева свою будущую «первую любовь», идеально прекрасную, идеально добрую, так и не встреченную, но так долгожданную, вот и лицо ее над торсом проступило, глаза полуприкрыты, розовые губы плотно сжаты. Лева потянулся было к ней, но она



исчезла, вместо нее появилась черная чернота, глубокая, как космическое пространство, она-то и стала засасывать Леву в себя. На него нахлынул весь выпитый за день алкоголь, голова закружилась, и он отрубился.

Но ненадолго. Звонок разбудил его, звонок в дверь. Он проснулся в тревоге, но, услышав какой-то разговор в коридоре, вполне миролюбивый, успокоился и начал снова задремывать. Неожиданно он услышал свое имя. Он постарался прислушаться, не в силах выбраться из цепящей дремы. Но стук в дверь его комнаты заставил Леву спустить ноги на пол и тем самым окончательно проснуться.

— Левка! — слегка гортанным голосом звал его Иван. — К тебе тут.

— Кто?

— Приятель твой тебя спрашивает. «Сашка? Кирхов? Кто еще помнит, где он теперь живет? Скоков? Может, кто из старых?.. Мишка Вёдрин? Этот может заявиться и за полночь. Или Гриша? Нет. Гриша не знает и даже не спросил моего нового адреса. Небось думает, что у себя на хате Левка то и делает, что пьет. Эх! А может, Верка приехала звать домой. Хотя вряд ли в таком положении она вечером куда поедет. Инга? Тем более вряд ли. Хорошо бы это был Гриша», — думал Левка, отпирая дверь.

На пороге стоял высокий субъект с крокодильской мордой. Рядом маячил Иван, красная опухшая физиономия которого не очень-то отличалась от морды пришельца.

— Левк, — говорил Иван. — Ты извини, если разбудил. Но человек, приятель твой, дело предлагает. Говорит, у тебя бутылка есть, и нас за компанию зовут. Марья час картошки нажарит.

— Да вот решил зайти посидеть, — мычаще гундосил субъект. — Ду-умаю-у, дай-кась выпьем. А то си-жу-у и чувствую-ую, что часа не прошло, а ты меня у-уже забыл.

Лева ухватился за дверной косяк, предобморочное состояние посетило его, в глазах плясали зеленые крокодилы и проскакивали какие-то искорки, все это кружилось, как в калейдоскопе, только много быстрее. И диалог последовал быстрый, как в скетче.

— У меня нет, — твердо, насколько сил хватило, сказал он.

— Чего нет? — недоуменно спросил зеленоватый незнакомец.

— Неужто бутылки нет? — спросил Иван.

— Нет, — повторил Лева.

— В значке не держишь? — удивился субъект.

— Да разве я похож на человека, который бутылку в значке держит? — настаивал на своем Лева, боясь, но надеясь, что не ползут они в его комнату рыться среди вещей.

— Это да, — сказал зеленоватый субъект, — может, ты у-уже ее и выпил. Спорить не бу-уду-у. Что ж делать?

— Я могу друзьям позвонить. Из автомата. Они привезут, — вызвался Лева.

«Только скорее и подальше отсюда. До метро бы добраться. Или хоть до трамвая. Как голова кружится, Неужели Иван этого кошмарного гнилистого запаха не ощущает? Или это я с ума сошел и вижу то, что другие не видят?..»

— Ну-у пойдём, — тянул его за руку субъект. — Я тебя провожу-у.

Лева обмер. А Иван сказал:

— Значит, мы вас ждем с победой. Я спать не ложусь. Скажу пока Марье, чтоб картошки начистила. Если что, утром съедим.

Лева шагнул к себе в комнату, но пришелец остановил его:

— Не волну-уйся. Дву-ушки у-у меня есть. Хватит. Они были уже у дверей, когда на коридорный шум и разговоры открыла дверь Ванда Габриэловна Картезиева, пожилая седовласая дама в чепце. Из-под ее руки вывинтился ее внук Ося и, увидев незнакомца, слабо пискнул. Тот стоял высокий, под самый потолок, слегка даже сутулясь, чтоб не удариться крокодилской своей башкой. Ося поглядел на него снизу вверх, потом сделал шагок и спросил:

— А ты настоящий?

Вместо ответа субъект засмеялся, не открывая пасти, и так же с закрытой пастью промычал:

— Мы скоро бу-удем.

Он взял Леву под руку и легко вывел из квартиры. Дверь за ними захлопнулась. Они вышли из дома и пошли к телефонам-автоматам.

## Глава VIII Конец

Пустые, механические мысли вились, как змейки или ящерицы, в мозгу у Левы. Будто думает их кто другой, а к Леве они поступают как внешняя информация. «Той же дорогой будем идти. Опять через выбоины и колдобины. Опять спотыкаться. Нет, *этот* так под руку держит, словно несет. Не споткнешься. И не убежишь. Если б одного из дома выпустил, тогда можно было бы не вернуться. А *рядом* ноги слабеют, рядом с *этим*. Прямо парализованным себя чувствуешь. Радиус его действия — метров десять».

Из окна братьев Лохнесских по-прежнему доносилась музыка, приклатненный мужской голос с теми же интонациями пел ту же песню о душе дурного общества:

С тех пор заглохло мое творчество,  
Я стал скучающий субъект.  
Зачем же быть душою общества,  
Когда души в ём вовсе не-ет?!

«Значит, это магнитофон, а не живая гитара», думал Лева.

Телефоны-автоматы стояли сразу за пустырем, около серого дома с кулинарией и ателье. Они были освещены изнутри. Лева машинально посмотрел

на часы. Начало двенадцатого. Прошло всего около часа, как сошел он с трамвая. Этот мой жест, думал Лева, можно ведь истолковать как желание узнать, не поздно ли звонить друзьям. Он словно подыскивал оправдание себе, если существо начнет его *допрашивать*.

— Звони. Я тебя на у-улице обожду-у. Воздухом пока подышу-у.

Лева бросил взгляд по сторонам. На улице никого не было. Он вошел в будку телефона-автомата и закрыл за собой тяжелую дверь. И ему показалось, что он на время огражден и защищен и может сейчас срочно, как герой приключенческого фильма, послать в эфир «SOS». «Только кому?» «Пусть хоть кто приедет. Кто сломит это странное состояние нормальности происходящего, которое ненормально, Иван даже не удивился внешнему облику пришельца. Не удивился тому, что в дом запросто на двух ногах, одетый в цивильное платье, зашел *крокодил*, — так впервые Лева для себя твердо назвал мычащего незнакомца. — А ведь это *бред*. Если бы я был один, то ясно было бы, что у меня *белая горючка*. Но их много, соседей, и все спокойны, будто так и должно быть. Ха-ха. Жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил!.. Фу! Не по-турецки, по-русски! Кто поймет, что я в опасности? — Лева снял трубку, услышал далекий гудок. Телефон жил своей жизнью, и его жизнь могла спасти Левину. — Все-таки изменился

мой калейдоскоп. Надо позвать, а кого? Не сходим ли с ума мы в смене пестрой придуманных пространств, времен, имен?.. Имен!.. Когда-то Инга по первому звуку бросилась бы его выручать. Но после всего, что было, ей звонить?.. И что сказать?.. А Верка?.. Куда ей тащиться, беременной! Гриша? Саша? Кирхов? Где мои друзья?! Гешке-переплетчику позвонить, с кем вчера нарезался? Так у него в Реутово телефона нет. Он бы приехал. Не звонить же *престижным* приятелям, тем, про кого лестно сказать, что он твой приятель, но кто никогда не придет на выручку. Они с места своего удобного никогда не сдвинутся. Итак: Верка? Инга? Гриша? Саша Паладин? Получалось, что звонить некуда и некому. Никто не приедет по первому слову, а объяснить *такое* невозможно. Все-таки Верке, Верунчику, Ве-ке, маленькой моей, позвонить, сказать последнее «прости», в подол поплакать...»

И он набрал Веркин телефон. Подошла теща, почти Левкина ровесница, Левку не любившая, всегда пользовавшаяся случаем поговорить с ним сухо и неприязненно в Веркино отсутствие.

— Веры нет дома.

— Где она?

— В гостях. У соседей.

Бац — трубка положена. Даже не сказала, когда придет Верка. Не любила она Левку. За то, что не заботился *как надо* о Верке, не создал *настоящую* семью, пил. Она будет только рада, если Лева исчезнет

с Веркиного горизонта. Ах так!.. И он тут же набрал номер телефона Инги.

— Ингуша! Дорогая. Как живешь?

— Твоими молитвами.

— Не надо так сухо, Инга!

— А как надо?

— Инга, мне плохо, мне страшно!

— Уверяю тебя, мне тоже нехорошо.

— Инга, у меня беда. Меня преследуют...

— Опять пьян.

— Ты что?! Ни капли!..

— Что ж, я тебя не знаю, что ли? По голосу слышу, что пил. Вот с кем пил, тому и жалуйся. Г' —

— Да ни с кем я не пил. Мне просто страшно.

— Еще бы! От такого пьянства можно и до белой Горячки допить! Зеленые чертики еще не мерещатся?

— Мерещатся.

— Что с тобой, Левка? Ну приезжай ко мне.

— Не могу, Веру... то есть Ингуша. Приезжай ты.

Молчание. Затем ледяным тоном:

— Ты, видно, совсем обалдел.

Бац — и эта трубка на рычаг положена. Лева глянул из окна телефонной будки на улицу. Крокодил похаживал взад-вперед перед будкой, из пасти торчала сигара. Грише. Гришеньке позвонить. Он умный, добрый, поймет.

— Гришенька, родной, здравствуй. Это опять я. Ты давно дома?

— Давно. Мы вскоре после тебя уехали. Там скандал разразился.

— Что такое? — Надо спрашивать, если сам ищешь сочувствия.

— Ты Витю ведь запомнил, если не очень пьян был?.. Ну, старшего брата покойного Андрейки. Он вдове, ну, этой, Людмиле, ее почему-то мой Борис все Джамблью именует, короче, Витя этой вдове съездил по физиономии...

— И за дело, — не утерпел Лева, вспомнив эту болотную не то ящерку, не то змейку.

— Ты тоже так считаешь? А за нее вступился парень, красавец, блондин такой белозубый. Еле их растащили. Ну и все стали разбредаться потихоньку.

— Ч-чушь какая-то, — тяжело сказал Лева. — Драка на поминках. Такое только на свадьбах бывает. Какого хрена мы в этой мещанской семейке сидели!.. Лучше бы посидели вдвоем, на бутылку бы у меня нашлось! Посидели бы, прошлое вспомнили. Какого хрена, в самом деле! Я мимо тебя сегодня опять часов в десять ехал. Как в трамвай на Савеловском садился, то думал сойти, думал — судьба ведет снова к старому другу. Ведь, наверно, это судьба, что так близко от тебя я теперь живу — на Войковской. Я только сегодня это понял. Какой я был скот, Гришенька, не соображал так долго, что близко от тебя теперь живу. Понимаешь? Ведь старая дружба — это надежнее всего. И какого хрена мы к этим мещанам на поминки поехали?..

— Лео, нехорошо так, человек умер...

— А я? Я, может, тоже скоро помру, даже скорей, чем ты думаешь! Думаешь, я во внимании не нуждаюсь? Потом тоже, небось, Левку пожалеете! А посидеть с Левкой?..

— Левка, дорогой, ты о чем? Мы же сегодня виделись. Давай завтра встретимся, если хочешь, посидим... А сейчас, перед сном, хочу еще немножко почитать.

— Завтра, завтра, завтра!.. Хорошо вам, книжным гелертерам, в своих кабинетах. Я и не рассчитывал, что ты поймешь. Простой мужик, с которым я час назад коньяк пил, и то со мной сидел, дал мне выговориться. Ну, приезжай ко мне, Гришенька, а? У меня бутылка есть в заנачке: Посидим, выпьем, по душам поговорим, завьем наше горе-злочастье веревочкой. Может, тогда это зеленое чудище от меня отвяжется...

Он глянул в окно. Крокодил по-прежнему шагом часового или охранника прогуливался перед дверью телефонной будки. А Гриша, видно, не так, как Лева хотел, понял слова о зеленом чудище.

— Шел бы ты лучше спать, Левка, — сказал он. — Утро вечера мудренее. И лучший способ избавиться от зеленого чудища, на мой взгляд, это больше к нему не прикасаться. Зеленый змий твердости боится. Разбей сам свою бутылку и скажи: начинаю новую жизнь, — и все будет в порядке, — но в Гришином голосе, произносившем тоном дружеского увещевания эти прописные истины, не было уверенности.

— Если пойду спать, то, боюсь, усну навечно. И ты тогда пожалеешь о плохом ко мне отношении.

— Слушай, хватит. Нехорошо спекулировать таким образом. Я к тебе не поеду. Поищи другого собутыльника. А лучше иди спать.

— Ну и черт со мной! Пропадай Левка!

И Лева сам резко повесил трубку на рычаг. Выходить из будки к крокодилу ему не хотелось. Да и смущало почему-то, как он будет оправдываться, что бутылки не достал. Он-то думал, что кто-нибудь придет. Лева ему тихонько свою бутылку передаст, как будто приехавший привез, и порядок. А признаться, что он обманул крокодила и Ивана насчет заנачки, казалось неловким, некрасивым, неудобным, постыдным, наконец. Что же делать? Ничего другого — звонить дальше. И конечно же, конечно же Саше Паладину. Кому же, как не тому, кто всегда не прочь выпить.

Трубку снял Кирхов.

— Лео? Х-хе. Поздно ты сообразил. Все уже выпито. Эй! — крикнул он в сторону от трубки. — Да ты не жадничай! — И пояснил Лева: — Это Скоков. Услышал, что ты звонишь, и впопыхах хлопнул последнюю рюмку. Да ты не волнуйся, Помадов далеко и твою рюмку не отберет. А ты, Левка, чего звонишь? Если есть лишняя бутылка, то бери мотор и гони сюда. Мы, по-моему, всё выпили, что могли. Вон Шукуров, х-хе, как и положено хранителю традиций, даже лосьон весь выжрал. Ну, что там у тебя? Ты чего звонишь?

Если бутылка есть, давай сюда, а нет, то пошел на хрен! — Тон Кирхова был резок, слова отрывисты, как всегда бывало, когда он напивался. — Ладно. Все. Все. Надоел. 1а вон Сашку, с ним говорю.

Трубку взял Саша Паладин. Он тоже был пьян, но благожелателен.

— Здравствуй, Лео. Чего звонишь? Кирхов тебе диспозицию правильно нарисовал. Шукуров пьян, как свинья. Скоков... Скоков, отстань. Слушай, я не могу его становить. Сейчас с тобой...

Он не договорил трубку у него вырвал Скоков:

— Лео? Слушай, Лео, — спьяну Вася Скоков становился агрессивен и настойчив. — Если ты сейчас не приедешь, то все, мы тебя вычеркиваем из нас. Ты тогда будешь не гусар, а улан. Понял? Не гусар, а улан. Так что приезжай, ждем.

Лева услышал вдалеке от мембраны смех Кирхова и голос Саши, шум борьбы:

— Ладно, Скоков, уймись. Отдай трубку.

— Не гусар, а улан! — еще раз выкрикнул Скоков, и трубка снова оказалась в Сашиных руках, и он сказал:

— Ну, еле отобрал. Так ты чего, Лео, звонишь?

Лева не произнес почти ни слова, но уже знал все, что произошло сегодня с *ребятами* (стекляшка, походы в магазин, затем нежелание расставаться после закрытия кафе, и вот собрались, как всегда, у Саши), и их огневое, рыцарское, как ему казалось, вольное веселье захватило его, как всегда. Конечно, вот они — рыцари, вольные казаки, никаких нежностей, санти-

ментов. И крокодил не так уже страшен. Да и не бред ли все это, когда рядом царит веселье.

— Чувствую, хорошо посидели! — воскликнул Лева, хихикая и включаясь в их тональность.

— Неплохо.

— А кто был?

— Да все те же. Все здорово пьяны, кроме Тимашева, который, как последняя сволочь, тискает Ольгу и никого к-к ней не п-подпускает. Но и он п-пьян.

— Вы в стекляшке были?

— И там б-были. Орешин заходил, Мишка Вёдрин на Морковкино приезжал. Тот в их сборник статью сдал и теперь Вёдрина всю катает.

— Ты что-то Морковкина недолюбливаешь.

— Точ-чно. Что-то я его, бля, недолюблюваю. Зато все остальные любят. Кого он облизывает. Короч-че, он не пил — за рулем! — а Вёдрин, как падла, взял два портвейна, но нам только стакан уделил. Вот т-ты как знаток лишних людей и русской интеллигенции скажи: почему это доктора наук все такие жлобы и никогда у них денег нет? Или лучше скажи: он лишний человек или нет. Мишка Вёдрин? Вот Кирхов считает, что лишний и никому на хрен не нужен. Ну, я думаю, он Морковкину пока нужен.

— А Вёдрин сейчас у тебя?

— Да нет, его к-куда-то Морковкин на своей машине повез. К каким-то своим кискам-пискам.

Издали, похоже, что с середины Сашиной комнаты, |цесся в трубку пьяный вопль Скокова:

— У меня есть киска! А у киски писка!

— Слышал? — захохотал Саша.

— Слушай! Приезжайте все сейчас ко мне! А? — она, лучшая защита от крокодила, — веселая компания, будь этот крокодил реальностью или только «простом разгоряченного воображения».

— Нет, Левка, невозможно. Сил уже нет.

— Да тут вам от Рижского пятнадцать минут на такси.

— А какого черта нам у тебя делать? Ну, л-ладно, л-ладно, не обижайся, едем. Через пять минут мы у тебя.

Но Лева знал цену этому пьяному «едем» и «через 1ять минут». Наверняка никто и с места не собирается трогаться.

— Ну я в самом деле вас жду.

— Жди. Конечно, жди.

— Я серьезно.

— И я серьезно. Как только Тимашев кончит тискать Ольгу, мы все поедem к тебе. Точно.

— Ну, тогда это не скоро, хорошо, если на следующее утро, — гнусенько захихикал Лева.

— А выпить у тебя найдется? — вдруг спросил с надеждой Саша.

— Еще бы! Черт! Самое-то главное и не сказал. У меня бутылка лимонной ноль восемь.

— Тогда едем! — с энтузиазмом произнес Саша. — |Эй, поднимайтесь! Ну, живо! Леопольд Федорович нам ставит! Эй, Лео, только нам придется на крокодиле ехать, а пока его поймашь...

— На каком крокодиле? — похолодел Лева.

— Такси ш-шестиместное так называется. Т-ты, Лео, на своем вчерашнем видении совсем свихнулся.

— Сука! Значит, мы едем, — это уже голос Кирхова. — А чем ты гарантируешь, что у тебя есть что выбить?

— Клянусь. Точно. Одна бутылка.

— Конечно, из-за одной бутылки тащиться к такому засранцу, как ты, да еще с оравой идиотов, довольно глупо. Впрочем, хрен с тобой. Ладно, все. Едем. Мне все равно еще один визит нужно в районе Сокола совершить. Там день рожденья один. До утра тарарам будет. Слушай, Сашк, — это он не Лева говорил, а в сторону, — на хрена нам тащить с собой этот погребальный обоз. Шукуров все равно спит. Будить его бессмысленно. Скоков давно уже не гусар, а улан. Ладно, ладно, пускай гусар. Все равна тебе ехать ни к чему. Да и одной бутылки на всех все равно мало. Тимашев вон и не собирается никуда отсюда. Я б на его месте тоже остался. Все. Решено. Едем одни. На трубку, точный адрес возьми.

Трубка снова в руках у Саши.

— Давай, Лео, диктуй.

Лева продиктовал адрес и добавил:

— Только тут такая ситуация. Я вот тебя попрошу. Когда приедете, сказать, что это вы бутылку с собой привезли.

— Так у тебя что, нет бутылки?

— Тогда на хрен он нам нужен, — раздался издали рев Кирхова.

— Да есть, есть, — заторопился Лева. — Ноль восемь, как я и говорил. Только я ее тебе передам, а ты скажешь, что это ты ее привез. Я сказал, что у меня нет. А потом получилось, что пришлось ставить, ну и в таком вот духе...

— Так ты не один? А кто там у тебя? Чего? Чего? Наш великий протестант-инакомысл Кирхов говорит, что, если у тебя там компания, он не поедет.

Лева испугался. Крокодил продолжал ходить под окном. Ухо у Левы онемело и даже распухло от долгого разговора, но нежелание друзей ехать надо переломить.

— Скажи Кирхову, что если он настоящий писатель, то ему будет интересно... Живого крокодила увидит...

— К-ко-го? Кого-кого?

— Крокодила.

— Ты что, опять бредишь? — Ив сторону от трубки, Кирхову: — Говорит, что мы у него крокодила увидим.

— Опять «помадовщина» начинается! Совсем с ума сошел от пьянства, — раздался в ответ голос Кирхова. — Ну что? Может, не ехать? Ладно, черт с ним. Едем.

— Едем, — повторил Саша.

И повесил трубку. Все. Звонить больше никому не нужно было. Двух таких мужиков достаточно, чтоб любую нечисть прогнать. Саша — бывший мастер спорта по боксу, а Кирхов просто здоровый мужик.

Лева приоткрыл дверь. Свежий воздух летней ночи показался ему буквально райским после спертого, мифического запаха телефонной кабины.

«И все же этого не может быть, — думал Лева. — Прав Саша, прав Кирхов. Этого просто не может быть. Я грежу. Наверно, спяну этот бред у меня материализовался — для меня, разумеется. Так сказать, оплотнел. Правильно, что ни Инга, ни Гриша не приехали. В конце концов, ведь я материалист. Его просто нет. Нет, и все. Потому что не может быть. Они бы приехали, не нашли крокодила и решили бы, что я и в самом деле допился до сумасшествия. Нет, надо с ребятами сейчас жахнуть, и все к черту пройдет».

Чего-то явно не хватало. В пространстве словно образовалась какая-то пустота. Лева растерянно огляделся. Крокодила нигде не было. Лева даже за угол дома заглянул. Там тоже никого. Ушел?!.. Или вообще не существовал?.. И быть может, правильно Кирхов обругал его?.. И все это был пьяный фантазм?.. Побольше реализма, тогда не будет мерещиться черт знает что! Как говорил Декарт: я мыслю, следовательно существую. Стало быть, если он, Лева, *не* мыслит крокодила, тот и *не* существует. Лева облегченно вздохнул и потер рукой лоб. «Пойти позвонить ребятам, что сам к ним еду...» Он взялся за дверь телефонной будки, приоткрыл ее. Дорога к метро была свободна. Да, он наконец свободен!.. «Хотя куда спешить?.. Дома бутылка, да и ребята скоро



приедут». И Лева, довольный и успокоившийся, заковылял неторопливо по дороге, через колдобины и выбоины, мимо пятиэтажек в стиле «баракко», вдоль пустыря, мимо одноэтажного домика с электрической лампочкой над железной дверью... Но только миновал он этот домик, как от задней его стенки, из густой черноты, выдвинулась долговязая, громоздкая фигура и буквально в два шага нагнала его. Крокодил!..

Лева закрыл глаза. Потом открыл. Крокодил остановился. Более того, он даже приблизился к Лева и спросил:

— Ну-у что, наговорился? Бу-удет бу-утылка?

— Будет, — потухшим голосом ответил Лева.

— Ну-у и хорошо. Я у-уж ду-умаю, пу-усть наговорится напоследок. Дру-зей соберет.

— Почему *напоследок*? — И опять все внутренности у Левы ухнули куда-то вниз, а в горле ком застрял.

— Почему-у?.. Почему-у? — ворчливо пробормотал крокодил. — По кочану и по капусте, вот почему-у. Идем домой, нас жду-ут. Заждались, думаю. Когда твои дру-ужки приеду-ут?

— Минут через пятнадцать. Им от Рижского ехать. Пока такси поймают, вот время и пройдет, — искалечно ответил Лева.

Они стояли под фонарем.

— Ну-у, подождем, дождемся. И ты тоже. Только дома. Может, и ты свою-у заначку-у вытащишь,

вскроешь ее, а? Сжалишься над соседом. Такой хороший му-ужик, симпатичный. До слез его прямо жаль, как и тебя, — утробно мычал крокодил (крокодил?), правой рукой утирая и вправду катившиеся из глаз по морде крупные слезы, а левой поддерживая Леву под локоть.

Они двинулись к дому. Вернее, двинулся крокодил, а Лева потащился рядом, увлекаемый его могучей лапой.

— Откуда ты взялся на мою голову?! — вскричал вдруг влекомый против воли Лева. — Почему ко мне ты явился? Почему?

— Могу-у ответить. Могу-у, — промычал субъект, немного замедляя шаг. — Есть такой анекдот. Два рыбака рыбу на червя ловили. У одного черви всегда хорошие, крупные, а у другого так себе. Но как-то раз первый признался, как крупных червей достает. «Я, говорит, беру две батарейки от карманного фонарика, к ним проводки подсоединяю и проводки в землю закапываю зачищенными концами. Между ними возникает напряжение, как между катодом и анодом, и червь наружу выползает, как раз тот, какой нужен». — «Спасибо», — говорит второй. Вот проходит день, и первый узнает, что его дружок, избитый, в больнице. Идет он его навестить. «Ну, спасибо, научил! — возмущается избитый. — Я, говорит, провод высокого напряжения оборвал и в землю воткнул. Сначала, правда, червь полез хороший, потом ящерицы, змеи и другие пресмыкающиеся, потом кроты,

суслики и всякие подземные животные покрупнее, а потом пошли шахтеры, шахтеры, шахтеры. Вот они-то мне и наkostenяли».

— Не понял, — сказал Лева, — в чем здесь аналогия.

— Ну-у что ж, не понял так не понял, — равнодушно отозвался крокодил, продолжая неуклонно двигаться вперед.

«Мне все это снится», — сказал себе Лева. Так бывает, что сны более подробны, чем действительность, он у кого-то читал такое, и только алогизм говорит, что это сон. Беда, правда, в том, что во сне этого алогизма не замечаешь и понимаешь, что это алогизм был, только проснувшись. Так размышляя. Лева незаметно, и в самом деле почти как во сне, с помощью своего спутника, облегчавшего ему путь по колдобистой дороге, да еще в темноте, добрался до двухэтажного барачного домика, где Лева проживал. И тут Лева немножко приободрился. Все-таки люди сейчас появятся. Только теперь он понял, что наедине с субъектом ему было страшнее, чем при людях. И из окон братьев Лохнеских по-прежнему звучала музыка, но теперь они там, видимо, допились до сентиментально-мужественного настроения, и репертуар несколько изменился. На сей раз, очевидно, был не магнитофон, а пластинка:

Если радость на всех одна,  
На всех и беда одна!..  
В море встает за волной волна,  
Как за стеной стена.

Лева тоже знал эту песню, и она ему тоже нравилась

Здесь, у самой кромки бортов,  
Друга прикроет друг.  
Друг всегда уступить готов  
Место в шлюпке и круг.

И хотя Лева не очень представлял себе, что значит «кромка бортов», и никогда не попадал в морские кораблекрушения, да и вообще по морю не плавал, но суровая морская мужественность, казалось ему, звучала в этих словах, говоря о настоящих мужских отношениях.

Друга не надо просить ни о чем,  
С ним не страшна беда.  
Друг — это третье твое плечо,  
Будет с тобой всегда...

Лева знал эту пластинку. Ее очень любил Саша Паладин и часто, подвыпив, заводил. Он заводил ее, когда все уже были под кайфом, но еще до того, как опьянение доводило всех «до разброда и шатания», как называл это Орешин. И все, как и Саша, проникшись его настроением и впадая в сентиментальную дружественность, сидели молча, пока игралась эта песня, воображая себя не то рыцарским дружеством, не то ремарковскими товарищами, готовыми друг за друга в огонь.

Ну а случится, что друг влюблен,  
 А я на его пути.  
 Уйду с дороги, таков закон —  
 Третий должен уйти...

Лева вздохнул и, дослушав песню, первым переступил порог. В дверях его встретил Иван.

— Ну? — спросил он ожидающе.

— Приедут сейчас, — ответил Лева.

— Привезут?

— Привезу-ут, привезу-ут. — ответил за Леву крокодил.

Из кухни доносились женские голоса и капризный голосок Оси. Пахло чем-то, жаренным на сале, как обычно и готовила Мария.

— Пошли пока на кухню посидим, — сказал Иван. — Там Мария картошки с котлетами нажарила и даже бутылку из комода достала. Любит она у меня гостей, — пояснил он крокодилу, — особенно вежливых мужчин. От меня, от мужа, прятала, а гостям достает... Ишь, — повторил он снова, ухмыляясь, — от меня, от мужа, прятала, а гостям достала...

Крокодил скинул в прихожей плащ, оставшись в сером летнем костюме, и они прошли на кухню. За столом сидели Ванда Габриэловна и Ося. Окно на улицу было открыто, в помещение проникал теплый ночной воздух, унося запах жареной картошки и принося свежесть, аромат леса, к которому слегка примешивалась паровозная гарь. Мария, в летнем, легком,

светло-зеленом платъице, возилась у плиты. На столе стояли тарелки, рюмки, бутылка водки и миска со свежезаквашенной капустой.

— Я подумала и вспомнила, — указывая на миску с капустой, заметила важно Ванда Габриэловна, — что водку закусывают капустой в России. Надеюсь, Лева, вы не возражаете против капусты. Она полезна для печени и работы желудка. Перистальтика просто чудесно функционирует, когда утром ешь капусту.

— Спасибо, Ванда Габриэловна, — диким голосом сказал Лева.

Белый плафон под потолком ярко светился от сильной электрической лампочки, специально ввернутой вместо всегдашней тусклой. Плафон, как показалось Лева, был почему-то разрисован болотными лилиями. «Попробуй сорвать», — вспомнил он татуировку. Крокодила посадили рядом слевой, и он выглядел совсем крокодилски в ярком электрическом освещении. Обмануться было невозможно. Почему же никто не удивляется? Сколько может тянуться этот бесконечный сон? «Может, мне не то мерещится, что крокодил пришел, а то, что пришедший человек, которого все нормально воспринимают, является крокодилом», — окончательно запутался Лева в своих умственных построениях. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», — это была любимая шуточка Кирхова. «А может, вступить с крокодилом в не-

формальные отношения? — мелькнула безумная надежда. — Ведь известно, что неформальные отношения ведут к взаимопониманию. Надо бы скорей выпить для этого».

— Вы не возражаете выпить? — обратился к ним Иван, потирая руки.

— Отню-удь, отню-удь, — сказала зеленое чудовище. — Ему-у так это очень бы было полезно, — указывая на Леву.

Мария разложила по тарелкам еду, Иван разлил по рюмкам водку. И они выпили, причем крокодил, чтоб никого не задеть своей длинной мордой, когда будет глотать, башку свою откинул глубоко назад и только тогда вылил в пасть рюмку водки.

— Будем здоровы, — сказала Мария и тоже выпила. А Ося закапризничал и закричал:

— Я тоже хочу!

Ванда Габриэловна сказала строго:

— Бери пример с бабушки. Она не пьет, а ест то, что полезно.

Но внучок не отставал:

— Дядя Лева! А давай ты мне считаешь!

— Ну вот! Сейчас он все бросит и пойдет тебе читать!.. — возмутился Иван.

Все принялись есть картошку с капустой. Потом Иван пихнул крокодила в плечо:

— Как тебя звать-то?

— Имя у меня сложное, непростое, вон как у Леопольда.

— А тебя что, Леопольдом разве зовут? — удивился Иван, взглядывая через плечо на Леву. — Вот бы никогда не сказал, думал, Левой.

— Лева — это сокращенно, — объяснил Лева.

— А, ну-ну. Это я понял. А тебя как же? — снова пристал он к крокодилу. — Чтобы, значит, знать, как обращаться.

— Давно имя мне дали, несовременное оно, — оправдывался крокодил. — Левиафан. Вот тебе и имя, правда, смешное? Но можно сокращенно просто Левой звать. Вон как его, — он опять кивнул на Леву.

— А ты клокодил? — вдруг спросил Ося. Сердце у Левы замерло. Сейчас все разъяснится. Вот он мальчик, как у Андерсена, увидевший, что король голый. Но Ванда Габриэловна оборвала внука:

— Неприлично влезать в разговор взрослых. Учись мыслить самостоятельно, чтобы достойно существовать.

И Иван добавил:

— Ты правда, Оська, помолчи пока. — И опять обратился к крокодилу: — Значит, так, издалека ты. Я это сразу понял. Вот и на Левку, когда первый раз поглядел, тоже сразу понял, что он малый с извилинами. Вот и моя зассыха сразу в тебе непростого почувствовала, ишь, принарядилась, бутылку от мужа прятала, а тут достала. Ну ты там у себя расскажи, что я свою так и зову: зассыха. Ладно, отстань, — отмахнулся он от Марии. — Так и скажи. А в остальном — мир, дружба. Вот почти и познакомились.

Левка, он со мной своими переживаниями не делится, думает, не пойму. А я пойму. Я ведь ПТУ кончал в Оптиной.

— Это за Козельском?? — охнул Лева.

— Ага, за Козельском. Там монахи, колодец такой, говорили, что святой. Вода чистая, я сам видел. На тракториста я учился. Там девка была, я присмотрелся, на мордочку симпатичная. Я к ней. А дело зимой. Мы ходили в таких опушных валенках, до колена. У дома низ каменный, а верх деревянный. Мы наверх поднялись, я штанишки с нее уже стащил, а она как заорет. Понял? Под уголовку решила меня подвести за изнасилование. Я тогда валенок снял и по морде ей слева направо. Пусть знает, с кем дело имеет. Мужчина за себя постоять должен, меня так мать учила. Девка меня потом встретила: «Я тебя люблю». Я ей: «Сука! Люблю! А сама под уголовку подводишь». Я потом трактористом-мотористом стал. На целине был. Жизнь всякую повидал. Утром начинаешь борозду, конца-краю не видно, а на вечерней заре кончаешь. Такие там поля. Ты, Лева, запоминай. У вас небось такого ты не видал, — он похлопал крокодила по плечу. — И вшей! Воротник отвернешь, а они ползут, крупные. Воды нет. Только болото рядом. Мы из него воду на чай брали. А от вшей болотной водой не отмоешься. Во двор выйдешь, разоденешься, ведро под машину поставишь, солярки наберешь — и на себя. Тогда и спишь, наконец. Спокойно. Недели две ничего, наверно, их запах отпугивал, а потом снова. Прав-

да, платили хорошо. А человек должен знать, за что он работает. Ты как думаешь?

— Ду-умаю-у, ты прав. — ответил с улыбочкой крокодил.

— Ну вот. Только вначале было скверно. Выйдешь из кассы, в руках толстая пачка портянок, ну, сотенных, мы их портянками звали, а уж тебе в бок ножик уперт и шипит падла: «Одну портянку оставь себе на прокорм, а остальные тебе ни к чему. Если голодно станет, подкормим». Блатных там много было. И отдавали. Чу, блатным отдавали. Один отказался, так его зарезали. А потом приехал Артур Чередниченко, бригадиром к »м, у него у самого прошлое было, велел нам шланги нарезать с металлическими наколочниками и в рукав спрятать. Вот ты сейчас, когда меня услышишь, скажешь, что я эсэсовец, бандит, а я смиренный, мухи не обижу. Разве Марию под горячую руку приложу. И все. Итак, в пивной никого не трону. А тогда только из кассы да улицу вышли, только к нам приставать стали насчет портянок, каждый шланг в руку схватил — и по голове, а она знаешь какая штуковина, от нее череп вдребезги.

— Насмерть? — изумился Лева. Это была та настоящая жизнь с драками за существование, с которой он не сталкивался, ибо драки за существование в его мире происходили не кулаками, а словами.

— Конечно, насмерть, — сказал Иван. — я же тебе говорю — череп от нее вдребезги. А Артур с главарем хватился, сначала яйца ему сапогом разбил, а затем

вдовой об камень. И заметьте, следствия никакого не было. Покрутились, но мы все друг за друга горой, одно оказывали, они и уехали несолоно хлебавши. Да и рады, наверно, были, что от бластных избавились. А с тех пор я смиренный, мухи не обижу, но за товарища всегда встану. Понятно? Так Артур меня на всю жизнь выучил.

Он налил еще по рюмке, и они снова выпили. Бутылка пустела, а ребят все не было. Лева уже отчаиваться стал, Иван на него принялся поглядывать с неодобрением, как на луна, но тут в дверь наконец позвонили.

— Я открою, — с облегчением вскочил Лева.

— Иди открой, — разрешил уже пьяный Иван, — а я пока с твоим тезкой погугарю. Очень он меня интересуется.

— Неужели? — гукнул со смехом крокодил. Затем встал и пошел за Левой в коридор. Но Лева и не думал уходить.

«Вот так и надо, — говорил он себе, идя к двери. — Так и надо. Надо уметь драться без пощады, чтоб себя защитить. Вот Гришин племянник Андрейка этого не сумел. Главное — понимать, что когда перед тобой беспощадный враг, то и ты должен бить без пощады. Как Иван. И девку валенком по физиономии — и это правильно. Это тоже способ разрешения межполовых конфликтов, да». Андрейка этого не сумел, и он, Лева, пожалуй, никогда не сумеет. Поэтому и ездят на нем бабы, всю жизнь ездят. Что Инга, что Верка... Запи-

лили. А он им не обещал вовсе, что будет на себя не похож. Вот и сбежал.

Лева открыл дверь. На площадке стоял, покачиваясь, Саша, прижимая к груди полупустую бутылку.

— А где Кирхов? — невольно спросил Лева. Все-таки втайне он надеялся, что не меньше двух их придет. Двое — это уже сила.

— Твой любимец Кирхов. — произнес Саша, стараясь твердо выговаривать слова, — оказался засранцем и сошел у Сокола. Мы купили у таксиста эту бутылку, но, прежде чем сойти, Кирхов выжрал половину, сказав, что это его доля. У Помадова, говорит, еще есть. Может, он и прав. Не берись судить. Ты как думаешь?

И увидев крокодила:

— Эт-то и есть твой новый приятель? — и, взмахнув рукой с бутылкой, объяснил себе и Лева: — Зелененький.

А крокодилу:

— Рад познакомиться.

Тот, не открывая пасти, ответил:

— Взаимно, — и, увидев, что дверь в квартиру уже захлопнута, вернулся на кухню.

Лева потащил Сашу к себе в комнату.

— Ты куда? — крикнул Иван.

— На секунду, — объяснил Лева.

В комнате он сразу пошел к стенному шкафу и вытащил бутылку. Саша задумчиво наблюдал его действия и говорил:

— Я т-только глоток отпил. За компанию. Остальное — Кирхов. Я, если друг сказал надо, значит, надо. Я у таксиста и купил. Д-думаю, не пропадет, пригодится. Ого! И вправду ноль восемь. Я думал, что врешь, просто заманиваешь. А забавный у тебя этот богемный парень. Н-настоящий крокодил.

— Саша, — с всхлипом сказал Лева, — но он и есть крокодил.

— Ну, конечно, — иронически хрюкнул Саша, — и ты то пригласил к себе в дом посидеть и выпить. Ладно, хватит мне мозги пудрить. Расскажи лучше диспозицию. Д-девушки есть?..

И тут, несмотря на страх и растерянность перед крокодилоподобным существом, какой-то рычажок переключился в Лева, и его понесло в молодцеватом хвастовстве:

— Есть. Смуглая такая, стройненькая, как ветка орешника. Жена моего соседа, Ивана. Только ты не моги, — добавил он, заметив, что Саша приосанился, и чувствуя, что Саша сейчас закадрит Марию, а ему обидно будет, что сам этого сделать не сумел.

— Почему это не моги?

— Место занято.

— Кем это?..

— Мною, Леопольдом Федоровичем, — самодовольно вдруг хихикнул Лева, и в самом деле испытывая самодовольство, будто не соврал, а Мария вправду была его любовницей.

— Ох, Лео! Ох, Помадов! То-то ты все на Войковскую стремишься! Комнату здесь снял. Хитрован! Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет. Нравственность, как Творил один мудрец, начинается выше пояса.

— Попробуй, попробуй, — продолжал самодовольно улыбаться Лева потому что ему льстило, что Саша поверил или сделал вид, что поверил в наличие у Левы молодой любовницы.

— Эй! Вы заснули там или умерли?! — гаркнул вдруг Иван.

— Да-да, — засуетился быстро Лева, точно на него учитель прикрикнул или плеткой стегнули. — Саш, держи бутылку. Только как бы так сделать, чтобы подумали, что она у тебя с собой была?

— Да не расстраивайся ты так. Смотри, — и он быстро засунул толстую бутылку во внутренний карман пиджака. Пиджак оттопырился.

— Заметно, — сказал Лева.

— Что? Что у меня бутылка? Конечно, заметно.

— Но раньше ее тут не было.

— Это еще доказать надо. Они ж меня под лупой не рассматривали. Да и им-то всем не все ли равно. Твой богемистый приятель уже аж позеленел от водки. Пойдем. Все о'кей.

На кухне их ждали, потому что предыдущая бутылка была уже пуста. Лева иногда удивлялся, сколько в человека может влезть спиртного в течение дня. Удивлялся, но пил.

— Привет честной компании, — сказал Саша, ставя на стол полупустую бутылку, а затем из внутреннего кармана доставая бутылку лимонной ноль восемь и тоже выставляя ее на стол.

— У-у, — зарычал Иван, наваливаясь грудью на край стола и жадно хватая лимонную. — Понеслась! Хорошие у тебя друзья. Лева, хоть ты и Леопольд.

— Он уже хотел кричать: Леопольд, подлый трус, выходи, — застенчиво поглядывая на плечистого Сашу, несмотря на опьянение прямо сидевшего на стуле, сказала Мария. Сашина выправка всегда поражала Леву, и он относил ее за счет, так сказать, дворянского воспитания. Видно, что человека учили держаться в обществе.

— Ну не такой уж Лева у нас и трус, — заступился Саша Паладин. — Все же на статью самого Гамнюкова руку поднял. Правда, по просьбе Главного, за то ему Главный и выговор влепил.

— Как влепил? Уже? — испугался Лева, на минуту забыв о крокодиле. — Ведь его же в редакции не было.

— Вернулся под вечер. А наш общий друг Чухлов Клим Данилович проектик приготовил. За ним ведь такое не заржавеет. И к Главному. А тот «проправил» и подписал.

— Вот сволочи! — совсем разволновался Лева. — Я им покажу!

— Видите! — воскликнул Саша. — Конечно, Лева у нас особенно опасен в состоянии «завязал». Но и так

неплох. Идеологически вооружен и при задержании может оказать сопротивление.

— Как? как? Что ты сказал? Повтори, — рассмеялся вдруг крокодил.

Услышав его мычаще-лязгающий голос, Лева снова забыл и о Главном, и о Чухлове, и о выговоре. А Саша ответил:

— Сказал, что ты слышал, — не боялся он вовсе крокодила. — Давай лучше выпьем.

Все быстро выпили по одной, потом сразу по другой.

— А ты чего не закусьваешь? — обратился Иван к крокодилу. — Ты трескай. Котлеты свежие, сам брал.

— Потом, — ответил крокодил. — Не хочу аппетит перебивать.

— Дядя Лева! — сказал неожиданно маленький Ося, возившийся в тарелке и не поднимавший глаз. — А тебя крокодил не любит.

— Почему? — опешил Лева, старавшийся хмелем заглушить сомнительную реплику крокодила насчет запуски и аппетита.

— Я знаю. Он тебя съест. Он сказал, что меня с бабушкой есть не будет, а Иван да Малья ему нлавятся. А пло тебя ничего не сказал. Значит, тебя съест.

— Железная логика, — ухмыльнулся Саша. — А может, меня? Ведь про меня он тоже ничего не сказал.

Все захохотали. Громче всех крокодил. От смеха из глаз у него даже слезы потекли двумя струйками.



Ванда Габриэловна тоже смеялась, затем поправила чепец и, взяв Осю за руку, сказала:

— Ну все. Хватит. Скажи взрослым спокойной ночи пойдем.

И, несмотря на Осины вопли, его увели. Выпили еще по одной. Уже Иван прикладывался щекой к столу, но тут же встряхивал головой, отгоняя хмель. Саша по-прежнему сидел прямо, а Марья все нежнее поглядывала на него. Все молчали, тяжело отдуваясь.

— Расскажу-у вам для веселья анекдот, чтоб не ску-учали, — нарушил молчанье крокодилоподобный субъект. — Про крокодила.

«Сам-то кто? Крокодил или нет?» — думал, преодолевая алкогольный дурман, Лева.

— Так вот. Слу-ушайте. Возвращается как-то какой-то человек домой. Ну-у, слегка подвыпил, как это у-у многих водится. А перед подъездом его какая-то высокая фигура останавливает, пахнет от фигуры тинной, гнильостью — словом, болотом. И видит человек, что перед ним крокодил. И крокодил говорит человеку: «Я тебя съем». Ну-у, человек испу-угался, вырвался, бросился домой, заперся. А у-утром ко врачу-у пошел. Все ему-у рассказал. Врач посмотрел на него и говорит: «Голу-убчик, у-у вас галлюцинации. Вот попринимайте эти порошки. И крокодил перестанет вам являться». Человек ку-упил в аптеке порошки, принял один, принял дру-угой и понял, что явление крокодила было обыкновенным бредом. И у-уже ни от кого не вырывался. Вот про-

ходит неделя, больной не является. А шизофрения — опасная вещь, врач испугался, как бы больной чего не натворил, и решил его навестить. Хороший был врач. Приходит по адресу. Спрашивает: «Здесь живет такой-то человек?» А соседи ему говорят: «Нет, не живет». — «Как же так? — интересуется врач. — У меня адрес записан». Соседи говорят: «У вас все правильно записано. Только он больше не живет. Его крокодил съел».

Все засмеялись, кроме Левы. А Саша сказал:

— У нас д-давно установилось анекдотическое мышление. Мы мыслим анекдотами, а не категориями разума. Анекдотами и разговариваем. Информации деловой и мыслительной друг другу не сообщаем. О чем это говорит? — спьяну Сашей овладевало иногда желание обличительно порассуждать. — Д-да, о чем это г-го-ворит? О том, что мы... Ч-черт, не знаю... Ну, что наше сознание подвержено анекдотической заразе. Это же не случайно, что мой друг Лео вбил себе в голову, что его преследует крокодил. И не случайно, что его приятель так вырядился, — он кивнул на крокодила.

Крокодил громко, утробно и радостно засмеялся и игриво поддел Леву зубом около шеи. Он тоже был зверски пьян.

— Ты что?! — отпрянул от него Лева. — Больно!

— Ничего, — давился от смеха крокодил. — На зуб пробую.

Иван спал, раздвинув тарелки и уткнувшись лицом в стол. Саша спал тоже: с закрытыми глазами,

покачиваясь, но прямой, как на параде. Мария, поглядев на них, пошла к себе в комнату, и Лева услышал, как она перетаскивает матрас в ванную. Лева пихнул Сашу в бок и, увидев, что тот открыл глаза, зашептал ему в самое ухо:

— Саша, спаси меня, спаси. Ты же рыцарь, сам говорил. Значит, можешь сразиться с чудовищем.

Саша пристально посмотрел на Лева, пока слова проскакивали в его извилины, видно, что с трудом. Наконец до него дошло.

— Все в порядке, старик. Полная спокуха. Все в порядке. Не вижу здесь чудовища, да и ты не девушка. Давай еще по одной.

— Давай, — горестно сказал Лева. «Вовсе он не рыцарь-паладин. Поладин, он со всеми поладит, со всеми в лад живет».

Они выпили, и наконец все поплыло у Левы перед глазами: стол, Иван, крокодил, Саша. Потом возникла откуда-то Мария и потащила за собой Ивана. Надо было лечь, но сдвинуться с места не было сил. Потом кто-то толкнул Лева. Это была Мария. Она поднимала со стула Сашу. Одну его руку она закинула себе за шею, другая висела, болталась. Мария обнимала его за талию, и Саша шел за ней.

— Я этого вашего друга в ванную уложу, — сказала Мария Лева, заметив его взгляд. — А другого уж у себя призраивайте.

Они с Сашей исчезли. А крокодил сказал:

— Ну-у ладно, пойдем.

Он подхватил Лева под локоть. Лева было почти все равно, кто его тащит, лишь бы скорее раздеться и в постель рухнуть. И все-таки обрывки мыслей еще мелькали у него в мозгу: «Пусть все это будет сон, пусть. Пусть бред. Завтра проснуться — и чтоб ничего этого не было. Все уже позади. Все сон, жизнь и та сон. Пусть...» Он почувствовал, что лежит уже на кушетке, а незнакомец (или незнакомка?) стаскивает с него пиджак, рубашку, башмаки, брюки. «Дорогая моя девочка, ложись рядом», — хотел прошептать Лева, но язык не слушался. Он куда-то проваливался, в черноту искорками, где всю действовал закон калейдоскопа: перед глазами мелькали то пивная и Тимашев с Ольгой, то Мишка Вёдрин, хватающий его за руки, то молодая вдова в зеленом, то долговязая девица в комбинации, бегающая от него вокруг стола, то упрекающий его Гриша и сердитая Аня, то рыдающая Инга, то всхлипывающая Верка, беременная, с опухшим лицом. Потом — и это было последним его сознательным ощущением — он увидел, как крокодил внимательно посмотрел на его голое, жирное, обмякшее тело, вздохнул, разинул пасть, и Лева почувствовал с безумным ужасом и пронзительной болью в спине, в которую вонзились зубы, как головой вперед он ныряет в жаркую, смрадную утробу.

И все кончилось...

Утром Саша открыл дверь в Левину комнату и хрипло сказал:

— Друг мой Лео, не желаете ли со своим приятелем составить мне компанию сходить за пивом. Полечиться бы не мешало.

Но комната была пуста. Кровать была застелена, будто в ней никто и не спал. Хотя окно было открыто, в комнате все же чувствовался легкий гнилостный болотный запах.

— Ч-черт! Ранние пташки. — недоуменно и хрипло произнес Саша. — И не разбудили. Благородно, если они, конечно, пиво сюда принесут. — И, обернувшись в коридор, спросил: — Марья, у вас пивная поблизости есть? Скорее всего, они там.

1986

# Смерть пенсионера

рассказ



Есть ли существо гнуснее человека? Где-то читал Галахов, что в одном африканском племени стариков заставляли влезать на высокое дерево. Затем подходили здоровые мужики и трясли дерево. Кто падал и разбивался, тех съедали, а удержавшимся позволяли еще пожить.

Павел попытался повернуться на бок, подложив руку под подушку, а щеку на подушку, как он любил (самая удобная поза еще с детства), но боль в спине и ногах лишала его всякой силы. Вчера он был в больнице у отца, куда того положил младший брат Павла Цезариус. Сам Цезариус в Лондоне, а ухитрился в одну из лучших больниц отца положить. Деньги всюду сила. Отцу исполнилось в этом году восемьдесят девять, Павлу — шестьдесят семь. Уже не мальчик, пенсионер, а бегают, как мальчик. Здорово он вчера навернулся, когда еле выскочил из-под колес подлой машины подлого нового русского, очевидно, бандита. Машина, шедшая вдали, вдруг прибавила скорость, обогнала шедшую впереди, которая притормозила, пропуская Галахова, и промчалась, почти вплотную к

тротуару, словно пыталась сшибить его. Павел успел взойти на тротуар, но зацепился ногой о столбик загородки, как-то неловко крутанулся и упал спиной на металлическую трубу загородки. С трудом встал. Что хотел этот шофер? Неужели и вправду убить? За что?

Павел вспомнил странного дружка из первого класса: звали его Васёк, жил в доме без номера, куда даже милиция боялась заходить (там никто не имел никакой прописки, что для начала пятидесятых было весьма необычно). Он очень стеснялся образованного соседа по парте. Стриженный, как и все, наголо, Васёк стеснялся еще и лишая на затылке, вывешенного часть волосяного покрова на голове. Он очень хотел показать Паше свою значительность, такая защитная реакция бедного зверька. И Васёк выдумал себе принципы. Он переходил шоссе, нарочно замедляя шаг перед быстро мчавшимися легковушками. «Чтобы не нагличали», — объяснял он. При этом шоссе — боковое, в середине XX века почти пустынное, да и скорости тогда были не сравнимые с нынешними. Своими принципами Васёк хотел заслужить уважение Галахова. Потом остался на второй год, а потом Паша услышал, что его бывшего соседа по парте насмерть сбила машина. Теперь он думал о нем, как о правдолюбце, который на свой лад боролся с сильными мира сего, потому что на скоростях всегда неслись машины властных нелюдей.

От боли Павел не мог заставить себя подняться и вылезти из постели. А потому хотел заспать свою маленькую нужду. Обычно — каждую ночь последний год —

промаявшись до пяти утра (ворочаясь, вставая, выходя в туалет, потом на кухне выпивая ненужную чашку чая, которая снова гнала его в туалет), он засыпал, наконец, и спал часов до десяти. Он не умел спать один, и дело было не только в телесной близости с женщиной, которая еще требовалась, хотя не столь живо, как раньше. Нет, просто в тепле женского тела, а под женщиной последние годы Павел понимал только Дашу, и, не находя ее рядом, чувствовал среди ночи, что ему не хватает половины самого себя. Оставшаяся одна сама по себе половинка ныла и жаловалась, что ей некомфортно. Он пил на кухне ненужный ночной чай и смотрел телевизор. По ночам под утро, как правило, крутили вестерны: ковбои в шляпах с заломленными полями выхватывали кольты и расправлялись с негодьями. Почему-то раньше ему и в голову не приходило, что в этих длинных скачках по степям и горным перевалам герои никогда не испытывают простых человеческих потребностей — пописать, покакать. Разве что пожрать да выпить! А если у тебя к старости запор, да еще аденома предстательной железы, когда по двадцать минут стоишь в туалете, мучительно глядя, как мелкие редкие капли превращаются, наконец, в вялую струйку. Смог бы ты скакать при этом на лошади и стрелять из кольта без промаха? Как всегда, он заснул перед экраном, очнулся, вспомнил слова Даши, которая в таких случаях обнимала его за плечи и, ведя к постели, приговаривала: «Спать надо лежать». Он шел и ложился в постель, но все равно засыпал, лишь когда начинало светать.

Около девяти он услышал звонок домофона, но сквозь дурноту сна только испытал к звонившему раздражение и полное отсутствие в теле какой-либо возможности встать, подойти к входной двери и нажать кнопку, впускающую в подъезд. Он вспомнил, что сегодня приносят пенсию. Приносит почтальонша с твердым квадратным ртом и бородавками по всегда открытой шее. Потому он и не поднялся на звонок в дверь, знал, что соседка с нижнего этажа возьмет пенсию. Почтальонша все же как-то вошла в подъезд, поднялась на его этаж, позвонила в дверь. Но Галахов затаился. И та отправилась к соседке, бормоча: «Ушел, что ль куда в такую рань».

Эту почтальоншу не хотел он видеть с прошлого месяца. Он тогда ей тоже не открыл. Неохота было на эту пенсию смотреть. Из четырех с половиной тысяч у него две уходило на квартиру, тысячу он по-прежнему отдавал восьмидесятидевятилетнему отцу, а на остальные полторы тысячи живи, как хочешь. На американские деньги это получалось около пятидесяти долларов. Если при этом учесть, что Москва считалась одним из самых дорогих городов в мире, то лучше было ничего не жрать. Павел не грустил. И без того казалось, что чужие дни доживает, дни друзей, которые умерли раньше. Но прошлый месяц, не дозвонившись до него, почтальонша пошла на хитрость.

Соседка с нижнего этажа, молодая, уже в теле, пришла с ней вместе, чтобы подтвердить, что это и в самом деле почтальон: «Вы чего не открываете?» «Даша

приедет, сама со мной на почту сходит», — хитрил он. Даша на почту никогда с ним не ходила. Он и сам мог бы сходить, просто никого последнее время не хотел видеть. «Вы будете открывать?» По слабости характера сдался, открыл дверь. И получил! «Даша! Даша! Да нет ее уже в живых! Знаете сами, а придуривайтесь! стыдно, дедушка!» А потом добавила с укором: «Что вы голову, как страус, прячете?! Просто берегла она вас». Даша бы не позволила так говорить с ним или о нем, если б была дома, а он мужик, мужчина позволил эти речи, как последний подлец. А ведь хотели умереть в один день. Он не мог даже вообразить, что с Дашей может случиться что-то плохое!..

Нет, соседка врет! Галахов молча взял деньги у почтальонши, не пересчитывая, сунул в карман домашних мятых брюк, расписался в ведомости — большой амбарной книге. Глаза слезились, им, наверно, казалось, что он плачет, но слез не вытирал. Закрыл за ними дверь, все так же не разжимая губ. Врут нарочно, чтоб мне стало плохо. Даша не умерла, она уехала, оставила его. После Дашиного отъезда и стали слезиться глаза. Обидно, что она не с ним, но она хотела как лучше. Сама живет сносно, и ему помогает. Он ведь нашел пакет, а в нем триста долларов и ее записка. Она писала: «Рада, что у тебя в руках сейчас деньги. Это моя тебе помощь, подарок!». Конечно, уехала. Даже домой не завернула из больницы. Или завернула? Он не помнил. Кажется, прямо отправилась в аэропорт, передав через знакомых, что она все же уезжает в Америку

к тому, кто будет о ней всегда заботиться, чтобы Павел ее не провожал. Он был потрясен, обижен, замкнулся и не разжимал губ почти неделю. Никому не сообщил, но все же в тот день к дому подкатили знакомые, заходили к нему, пытаясь увлечь за собой. Он отказался.

Надо подняться, вылезти из-под одеяла, встать ногами на пол. «Пока Даша в отъезде, надо не забывать цветы поливать», — говорил он себе, и это был один из внешних стимулов, заставлявших его что-то делать. Нельзя умирать в одиночестве. Самая страшная смерть. Днями думаешь, чем себя занять, чем время наполнить. Ну, суп из пакетика сварил, сардельку, которую есть не хочется. Лучше на больничной койке, даже в лагерном бараке, хотя нет, судя по рассказам, там уж совсем полное одиночество. Может, Даша все же вернется... Уж очень много она здесь работала. А сама нездорова. Все время давление высокое, так с ним то на лекции, то на синхронные переводы ездила. По утрам жаловалась, что вся разбита, но вставала и ехала. Как она сейчас живет?

Он вспомнил, как Даша рассказала ему в самом начале их романа, что однокурсник сказал ей: «Мужика завела? Или влюбилась?» «Почему?» — удивилась она этой пронизательности, вроде никак себя не выдавала. «Да с тобой можно смело в самые темные подворотни заходить. Не страшно». «Почему?» «Потому что светишься вся!» Это поразительное свойство влюбленных женщин он и сам наблюдал, оно лучше всяких слов рассказывало об их подлинных чувствах. Он стеснялся, что на тридцать лет старше

ее, что она еще совсем юная, думал, что любит его за его знания и ум и мигом разочаруется, когда узнает о нажитых им с возрастом болячках. Как-то машинально, говоря по телефону с ней, с трудом урвав момент для этого разговора, пожаловался на здоровье и даже испугался, ведь что молодой женщине до его болячек! Но она спокойно сказала: «Мне можешь жаловаться!» Это было удивительно и трогательно.

Потом понял, что отношение ее к нему было сложнее. Отец оставил их с матерью, когда Даша была еще маленькая. И так получилось, что Галахов стал ей и любовником, и отцом, а потом (хоть они так и не расписались) по сути дела мужем. Труднее всего ей было как-то называть его. Наедине, в письмах, конечно, милый, а на людях? Ей казалось, что будут усмехаться над ней, да и самой было неловко звать мужчину много старше ее, известного ученого, просто по имени. И она стала звать его по фамилии — Галахов, сама к этому привыкла, да и все привыкли. Только отец почему-то ворчал: «Она тебя зовет по фамилии, как Наталья Николаевна звала Пушкина». В тот жуткий вечер, когда они возвращались от Лени Гаврилова и их чуть было не убила шпана, он предложил ей руку и сердце, а она в ответ очень по-детски, но твердо: «Галахов, мы с тобой хорошо жить будем». И жили хорошо, пока, пока, пока... Да, пока она его не оставила год назад. И уехала в США. Как нарочно, первая лекция, которую он читал ее курсу, была на тему Америки в русской литературе девятнадцатого века, и он расска-

зывал, что для русских писателей Америка казалась тем светом. И Даша пропала для него. Но теперь он утешал себя, что это все же Америка, а не тот свет. Что иногда она там вспоминает о нем.

Она была немного выше его, иногда важно говорила: «Галахов, у тебя теперь высокая дама». Но тут же наклоняла голову и тревожно заглядывала ему в лицо, не обидела ли. И видя, что он не сердится, начинала светиться всем своим круглым лицом, всеми своими ямочками. Как она смешно ревновала, маленькая, что он такой бывалый. Ревновала к медсестрам, когда он лежал в больнице, к продавщицам, улыбавшимся Галахову, к тому, что молодая врач-невропатолог пригласила его в свой кабинет и продержала там почти час. «Да что же я, не понимаю, что тебя все хотят!». При этом по первому его зову она бросала учебу, мчалась к нему, жадно и страстно принимала его любовь, хотя порой и бормотала: «Я из-за тебя двоечницей стану». Пока они не жили вместе и он много ездил, стеснялся этого, а брать ее с собой на конференции было трудно, почти невозможно, и он бормотал, извиняясь: «Я взять тебя с собой не смогу». «Я понимаю, я почти и не существую, чувствую себя абсолютно виртуальной». «Такая большая и красивая». «Такая большая, а вся помещаюсь в телефонную трубку». А теперь и в самом деле она стала виртуальной.

Отъезд вдаль всегда напоминает похороны, а похороны напоминают отъезд. Наверно, соседка видела, как Даша все же проехала мимо дома (да, все же

проехала!), ожидая, что Павел выйдет, и сколько было цветов и провожающих, потому так и сказала. Среди провожавших он видел атлетическую фигуру Лени Гаврилова. Именно после визита на его день рождения Галахов сделал Даше предложение. Был писатель Борис Кузьмин, чьи повести нравились Даше. Павел не запретил ей уезжать, он никогда никому ничего не запрещал. Но он не вышел и провожать ее, в аэропорт не поехал. Остальные поехали на машинах и в автобусе, было не только много цветов, но была даже музыка.

С этого момента у Галахова пропала отчетливость разума, он мог много раз, как будто в первый, обсуждать сам с собой какую-то проблему, возникали постоянные провороты в мыслях, воспоминания из разных периодов жизни наплывали одно на другое, первой реакцией на всех людей, на все события стала обидчивость и раздражительность. Мысли путались, повторялись. И сейчас, лежа в постели, он чувствовал, как его давит невнятица прожитой им жизни. А еще страх пенсионера, что дети не будут помогать. Нет, думал Павел, нет вечного возвращения, Ницше не прав, есть лишь постоянное возвращение человека в небытие. Это вечный путь, проходимый каждым.

\* \* \*

Его дети — от двух браков — не только выросли, но и устроились на весьма оплачиваемые работы. Сын стал менеджером, а потом и директором какой-то пиар-



компании. Иногда, грустя, Павел вспоминал, как носился по врачам, отмыливая сына от армии, возил презенты, договаривался с кем-то, чтоб помогли, не тронули. А в аспирантский период работал вечерами, чтоб ему на башмаки заработать (сам и в старых доходит), хотел беседовать с ним, чтоб было интересно, как ему самому было интересно с отцом, заранее придумывал темы разговоров. А как однажды неся он домой, бросив работу, узнав, что рухнул мост, где — может быть! — мог проехать трамвай, на котором иногда ездил сын! Глаза вытаращены, весь мокрый от ужаса. Теперь сын знать его не знает, разбогател. И унижительное чувство беспомощности, в которой он оказался, рождало обиду. Дочь, которую он устроил в аспирантуру в Швецию, вышла там замуж, родила и вытребовала туда мать. Катя, его вторая жена, уехала, он не возражал. Жену больше волновали всякие бытоустройства и дочкина судьба, что было и разумно, и естественно. Она была женщиной умной и доброй, поэтому, когда Павел написал ей о Даше, она это приняла, просила только не говорить дочке, чтобы та не ревновала отца. Так с Дашей они и не расписались, квартиру в свое время он оформил на Катю и дочку. А Даша оставалась прописанной у матери в Черноголовке. Дочка иногда телефонировала, тогда бывала ласкова. Сын не только не заходил, но даже не звонил. Когда Павел пытался ему звонить, то слышал протяжное: «Пап, я сейчас занят, я тебе потом позвоню». И не звонил. Другой вариант бывал, когда он звонил ему в воскресенье, часов в двенадцать дня:

«Пап, ну что ты так рано! Я очень поздно лег. Досплю, перезвоню тебе». И ни разу не перезвонил. Павел и сам перестал ему звонить. Его звонки были похожи на вымаливание милости, а он и впрямь порой с ужасом вообразил такую возможность. «Есть ли существо гнуснее человека?» — снова подумал он.

Пенсия была такая, что впору идти побираться. Но не у сына же просить милостыню. Николай Федоров писал, что воскресение отцов — русская идея. Достоевский усомнился и показал, как дети убивают отца, старика Карамазова, каждый по-своему. А теперь дети просто ждут, когда старики свалятся с дерева, чтобы брезгливо их зарыть. И дело здесь не в стыде перед попрошайничеством, а в жизненной установке, точнее, привычке к определенному образу жизни. Еще до его пенсии, Даша еще была с ним, то есть несколько лет назад они в воскресный день съездили в Александров, бывалые люди говорили, что там 101 километр, всегда бандиты жили, бывшие шпана и воры, подъезды на ночь не запирают, можно пристроиться ночевать. Павел смеялся тогда: присмотрю, мол, подъезд на пенсионное будущее. Погуляв по городу, посетив музей Марины Цветаевой, доходившей и здесь от бедности, двинулись в чересчур знаменитую Александрову слободу, откуда пошла опричнина.

Зашли в Троицкий собор. В помещении колокольни — синодик Ивана Грозного, перечисление им убиенных — но только бояр, смердов не считал, зато о смердах — в писцовых книгах, как опричники уби-

ли хозяина крестьянского двора, затем другого, жен насильничали, дворы после грабежа сожгли, короче, разорение крестьянства.

При выходе из Троицкого собора увидели девочку с чересчур осмысленным взрослым лицом, но маленького роста, темные волосы стрижены под ежик, очень синие глаза, взрослая шерстяная кофта, черные брючки и лакированные черные старые туфли (тоже с взрослой ноги). Павел с Дашей прошли было дальше. Подошла монастырская хожалка, странница, попрошайка и побирушка. Протянула привычно руку: «Подайте, сколько можете, на хлебушек». Павел протянул копеек сорок. Рядом возникла девочка: «Они говорят “на хлебушек”, а сами вечером водку покупают. Мы за одной проследили». «А как тебя зовут?». «Катя». «Сколько ж тебе лет?». «Двенадцать».

Была она слишком мала для своего возраста. Павел протянул ей червонец, она деловито взяла и объяснила, что ей теперь и на свечки и на булку с маком хватит. Даша сказала: «Ты бы сняла кофту. Жарко». Та потянула сквозь вырез у шеи лямки нижнего белья: «Не, там у меня ночнушка».

Потом перед службой села между ними на лавку. Свободно болтала обо всем, о себе, конечно: удивительный талант общения. Павел даже поразился этой свободе и открытости, живому языку.

— Мамка в Курган уехала. За мной?.. Мамина подруга присматривает. Иногда мои подружки чего поесть принесут, хлеба, супу (*понятно стало, что,*

*«мамина подруга» не очень-то смотрит, так взглядывает, не померла ли девчонка*). На прошлой неделе на тридцать два рубля мяса мне купили. Я кастрюлю наварила, вкусно было. Варить я умею, мама у меня повар и швея. Папку мама выгнала: уходи, говорит, а то я тебя задушу. Не, я не из Кургана. Я в Москве родилась. Но я папу Сашу не люблю, я больше родного папку люблю, дядю Витю. А Сашка мне ножом за дверью грозился. Я дверь открыла и его как ногой в живот!.. (*Глазки засверкали от собственной выдумки*). Он убежал. Я сюда недавно хожу. Я крестилась. Отец Андрей крестил меня бесплатно. Неделю назад, — она показала дешевый латунный крестик на бумажной веревочке. — Не, не здесь. У нас за оврагом у моста церковь тоже есть. Не, я сама к нему пришла. Мамка еще не знает. Сюда хожу, им помогаю, сёстрам, матушкам, иногда подмету, посуду помою. Они тоже покормят, копеечку иногда дадут. А я себе сайку куплю. Здесь дешевые. Читать умею, но плохо. Во второй класс только в этом году пойду. Почему раньше не училась?.. А мы бедные, портфель не на что было купить. Нас у мамки пять, ещё два брата и две сестры. Скоро ещё один маленький будет, у сестры Ленки. Её муж ногой в живот ударил, она его просила не пить. Они на диване спят. Братья на топчане, а я на раскладке. Мамка с папой Сашей раньше на диване спали, до Ленкиной свадьбы, а теперь на полу..

Пол-России такие. А у него немного наоборот. Он детям не нужен.

\* \* \*

А чего на пенсию вышел? Не знал разве, что тяжело будет? Хотя тогда он еще работал и относился к пенсии как к дополнительному доходу.

Всю прошлую неделю он ходил в пенсионный фонд, пытаясь добиться повышения пенсии на триста рублей, которые полагались ему по принципу введенной накопительной системы. Скользил по тротуарам, а, переходя шоссе перед замершими на светофоре машинами и вступая на оледенелый поребрик, каждый раз думал, что поскользнется, упадет на спину, и рванувшаяся машина его переедет. А к зданию пенсионного фонда переход и вовсе был без светофора. Кто перебежит, глядишь, и получит пенсию. А не сумеет, то нет ни человека, ни пенсионной проблемы.

Первый раз он пришел туда семь лет назад в конце марта, дня за три до своего дня рождения, к девяти утра. Все документы собрал заранее и был уверен, что дело это займет полчаса, ну, час. Двери уже были открыты, но когда он поднялся на второй этаж, то увидел бесконечную, длинную русскую очередь из стариков и старух: все толпились перед кожаной дверью, но порядок соблюдался. Сидела женщина с листочком, на котором были записаны фамилии и их порядковые номера. Павел подошел к ней и попросил его записать. «Вы будете сто сорок восьмым», — сказала женщина в капоре. Рядом стоявшая высокая и широкоплечая тетка в ватном пальто пожала плечами: «Сегодня вы не попадете, дня через два разве по этому

списку. В день они не больше тридцати человек принимают». «Ну что вы, женщина, говорите! — возразила первая в капоре. — Бывает, что люди записались, а вовремя не пришли. Тогда те, кто не отходили, могут пройти. Но с вашим номером, мужчина, шансов, конечно, не много». «Когда же приходится нужно, чтоб в тот же день попасть? — спросил Павел, понимая, что сегодня стоять не будет. «Все, кто в самом начале, к пяти утра приезжают, — пояснили ему. — И ждут до девяти перед дверью».

Но март стоял холодный, и Павел приехал на это стояние только в конце апреля. Протолкался часа три на улице, бегая в дальние кусты по малой нужде, аденома мучила. В восемь утра их запустили на первый этаж, на втором стояли, преграждая путь, охранники. Пенсионный фонд начинал работать в девять. Потом было долгое сидение на лавочке, толкотня вокруг двери, заглядывание внутрь комнаты, чтобы понять, свободен ли *его* инспектор. И непрекращающаяся склока перед этой *важной* дверью: «Мужчина, не лезьте». «Да мне только справку отдать». «Все так говорят. Не пустим. Что, с женщинами драться будете? Я тебе говорю: куда прешь?! Женщины, не пускайте его!» В дверь он вошел где-то около четырех, выкурив перед подъездом несметное количество сигарет, хотя до этого не курил почти полгода. В огромной комнате, уставленной шкафами с бумагами и столами, сидели инспекторы, от которых зависела будущая судьба пенсионера: как скоро будет пенсия оформлена. А ведь были — в от-

личие от Павла — и не работавшие уже люди. Для них всякое промедление было похоже на катастрофу. Тут же выяснилось мелкое чиновничье воровство. Мало того, что не присылали все пенсионные извещения по почте, как в Америке и Европе, не посещал вас вежливый пенсионный чиновник, пенсию начисляли лишь с момента подачи заявления, а не с дня рождения!

«А если бы я, скажем, полгода болел?» «Нас, мужчина, это не касается. Не мы правила устанавливаем», — ответила молодая, но расплывшаяся нездоровой полнотой девица лет двадцати пяти. Но окончательно ошеломила его женщина в другом кабинете, в котором Галахов попытался выяснить, много ли накопил он за те два года, когда была введена накопительная система. «Да в ваши года уже много не накопишь, — сообщила улыбочивая тетка. — Но вам полагается *срок дожития*, вот и старайтесь его прожить». «Какой еще срок дожития?» — Павел почувствовал какой-то мистический ужас. «Срок дожития вам определен в восемнадцать лет». Переспросил, не понимая: «Мне?». «Ну, всем пенсионерам с момента получения пенсии». «А если я вас обману и прихватчу пару годков». «Не обманете, умные люди считали. Обычно гораздо раньше умирают».

У его друга Орешина был лысый приятель, старик уже, как им казалось, по прозвищу «комиссар» (Орешин вообще питал слабость к чудакам) — со старческими пигментными пятнами на лысине и по лицу, он пил с ними, орал песни. Павел даже поначалу спьяну

допытывался, правда ли и сохранился ли у того маузер. Но потом как-то в один из дней Павлу позвонил общий приятель и сообщил, что «комиссар» покончил с собой ни с того, ни с сего. Причем для верности повесился в лестничном пролете: если бы не выдержала веревка, то наверняка разбился бы. На «Смерть комиссара» Петрова-Водкина нисколько это не походило. Ни тебе красного знамени, ни уходящих в бой товарищей. Жестокая смерть отчаяния.

А другие смерти стариков!..

Но он все же год назад ушел из университета на пенсию. Не стало сил говорить с кафедры, вчерашний любимец совсем потерял контакт с аудиторией. Неинтересно стало готовиться. Да и сил не было в переполненном метро ехать к первой паре. И раньше-то выползал из метро еле живой, особенно после пересадки на Проспекте Мира, — мокрый, помятый, потный, минуты три приходил в себя, одергивая измятый пиджак или поправляя перекрутившийся плащ, — смотря по погоде. А тут еще дождь, значит, — раскрывать зонт и минут двадцать по лужам до здания университета, когда в голове еще туман от недосмотренного сна.. А потом стали сбываться слова тетки из пенсионного фонда о «сроке дожития».

После отъезда Даши он стал присматриваться к жизни бомжей. Как собирают жестяные банки, кладут на землю, каблуком уминают, складывают в мешок, куда сдают, сколько стоит. Большая сумка и перчатки, дырявые на пальцах, чтоб рыться в мусорных баках.

Вот старик роется в мусорных баках. Бочком. Баки зеленого цвета, обшарпанные. Стыдно профессору толкаться у мусорных баков. Увидел, как что-то бросили в бак разумное, но подъехала машина, подняла на магнитах бак, перевернула в кузов, не повезло. Бомж отскочил в сторону, матюгнулся. Ну, подумал Галахов, со мной все же неплохо. Все же дома ночью. Павел видел телепередачу про бомжа, который получал пенсию, сдавал бутылки и стал миллионером. Но, как сказал репортер, места были расхватаны и грязные, жутко пахнущие мужики избивают и гонят чужих, если они пробуют рыться в мусорном ящике. В сообществе этом были свои группы — картонщики, бутылочники, жестянщики. Не было Павлу там места.

Профессор вспоминал идею о «хищных гоминидах», о которых писал в середине девяностых некто Диденко. Что, мол, с самого своего зарождения человечество делится на людей и «хищных гоминидов», существ похожих, но биологически другой породы, живущих за счет людей. Тогда Галахов даже мимоходом выступил в какой-то своей статье против этой идеи, как слишком биологизаторской. Нагавкал на Диденко. Нужно искать социальные законы, возразил он. Тогда он был сильный. И не понимал, как по глазам можно узнать хищного гоминида. Теперь он их видел: на улицах, в транспорте, по телевизору, научился различать. Видел по телевизору министра здравоохранения и социального развития России Михаила З., который сообщил, что по планам прави-

тельства деньги на социальное обеспечение рассчитаны таким образом, что мужчина в России должен умирать в возрасте пятидесяти семи — пятидесяти девяти лет, не доживая до пенсионного возраста. Даже щедринский Угрюм-Бурчеев был милосерднее. Он читал указания градоначальника из «Истории одного города»: «Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек».

Галахов думал о жизни, о хищных гоминидах и полуспал-полубредил.

\* \* \*

Да сны еще — стали один другого причудливее. Когда Даши рядом не было, в очередной раз уезжала на заработки, ему снился какой-то бред. Как-то приснилась ему мама с безумными глазами. Кто-то стучал дико в дверь чем-то тяжелым, долбил, взламывал, отворачивая филенку — нахально, не скрываясь, не боясь соседей. Он отворил полуразбитую дверь. На пороге мама, глаза безумные как на картине Брейгеля о слепцах, волосы всклокочены, в руках — лом. И бормочет: «Что-то очень мне беспокоило за вас стало. Решила посмотреть, как вы там». И говорит, и смотрит, как живая. А Павел-то при этом помнит, что уже несколько лет, как она умерла.

Вот и сегодняшний сон. Павел знает, что в соседнюю комнату забралось всё Зло Мира и готовится уничтожить человечество. А у него в нижней, закрывающейся дверкой, книжной полке стоит супероружие, которое только одно на свете способно уничтожить всё Зло Мира. И дочка из Швеции вернулась ради этого: «Папа, доставай оружие. Только мы можем справиться». А он еще перед ее приездом дверь в комнату, куда Враг просочился, не просто прикрыл, а снизу в щель большие Дашины портновские ножницы забил, чтоб она не открылась. «Да, — говорит дочке, — сейчас достанем, потом на балкон выйдем, оттуда как раз можно в ту нашу комнату попасть срядом». И в голову ему не приходит, что и стрелять-то он не умеет, никогда в армии не был. Открывает он дверку шкафчика, а там никакого сверхаппарата нет, а одни книги. «Где же?!» — в отчаянии кричит дочка. А он книгу за книгой выкидывает, гору нагромоздил уже, а за книгами еще книги — и никакого оружия.

Нет, все же встать необходимо, хотя бы цветы полить. К тому же захотелось пить и в туалет. Глаза по-прежнему слезились, будто плакал. Вытерев их углом простыни, Павел снова попытался подняться, но почему-то теперь не мог даже рукой двинуть, тем более сесть и спустить ноги с тахты. Все-таки он здорово вернулся! В конце февраля, несмотря на быструю смену мороза и легкого таяния, несмотря на наледи на тротуарах, скользкие бугорки и неровности от слежавшегося, стоптанного снега, улицы чистить вообще перестали.

Мэр появлялся на экранах только в случае крупных городских катастроф, обещал разобраться, но было понятно, что на следующий срок он не останется, а потому уже не мог заставить чиновников что-либо делать. А без приказа в России ничего не делается. Чиновникам было некогда: они понимали, что не останутся на своих местах после отставки шефа, а потому лихорадочно припрятывали наворованное за годы пребывания у власти, легализовали свои особняки и дорогие машины. До тротуаров ли им было! Вот и падали и разбивались старики и люди что называется среднего возраста.

Надо было еще полежать, притерпеться. В конце концов, чем меньше пьешь жидкости, тем легче не ходить в туалет. Боль утихнет, и он встанет. Хорошо, когда воеет ветер, а ты молод, молод, лежишь, тепло укрыт, читаешь книжку и думаешь, что когда-нибудь будешь вспоминать этот вечер уюта. А когда тебе шестьдесят семь?.. Почему он не передал своей тревожной натуры детям? Никто не зайдет, не навестит. А как квартиру будут делить? Он бы так не смог. К отцу он ездил каждую неделю, а звонил каждый день (мама умерла восемь лет назад), деньгами помогать не мог, как раньше, но старался, приезжая, хотя бы фрукты привезти. У отца жила женщина, ухаживавшая за ним. Раньше они с братом платили ей зарплату наполовину, а теперь едва мог выделить тысячу рублей, жалкие тридцать долларов. Брат Цезариус поначалу требовал, чтобы он платил прежнюю сумму — шесть тысяч рублей. «Это наш общий

отец», — пояснял он свою точку зрения. Но что делать, если получал Павел теперь всего четыре с половиной тысячи, сто шестьдесят долларов, из которых две тысячи платил за квартиру. Цезариус предложил ему продать или поменять свою квартиру, которая ему не по карману, получить некую сумму, чтобы он мог по-прежнему вносить свою половинную долю на оплату отцовской сиделки. Павел отказался. Менять привычную трехкомнатную квартиру, набитую книгами, — трудно было даже вообразить себе. Куда книги деть? Выкинуть? Но так долго жили ими!.. Да и страшновато было. Ему несколько раз звонили, предлагали выгодные обмены, скажем, на двухкомнатную с очень большой доплатой. Но он отказывался, боялся, не верил, бросал трубку. Слишком много писали, как при таких обменах стариков выкидывали вообще на улицу, если не убивали в пригородном каком-нибудь парке. У брата Цезариуса (поздний ребенок — и странное имя ему отец дал) было три квартиры в Москве, не говоря о лондонских апартаментах, да еще и родительская квартира была завещана тоже ему.

У него, правда, что-то лежало на карточке, куда переводили зарплату с последней работы. Но деньги эти он тратил скупно, чтобы оставить себе на похороны. Код карточки (с объяснением, для чего эти деньги) он написал на листке бумаги, положив ее в верхний ящик письменного стола, надеясь, что первыми по случаю его смерти придут сын или брат. Вот только Дашиных долларов там не было. Подумав о долларах, он весь болез-

ненно сжался. Как там Даша в Америке?.. Ему приснилось однажды, что Даша прислала ему эсемеску, словно уехала не в Америку, а в командировку: «Как ты там, счастье мое? Доклад написал? Скучаю и очень хочу к тебе». Давно ее с ним не было. Даша много раз повторяла ему, что они хорошо жить будут. И жили неплохо, долго жили. Но потом все же она ушла. Как в старых романах о власти золота — так и у них произошло. Ну нет, не совсем так, все же вместе десять лет прожили. Она не только любила его, но и уважала, гордилась его известностью, его книгами. Ни известность, ни профессорство денег не приносили. Конечно, Галахов позволял себе шуточные, хотя и правдивые рассказы, как иностранные коллеги приходили в ужас, узнав, что в месяц он получает триста долларов, спрашивали даже, настоящий ли он профессор. Он смеялся: «Ну не показывать же им мои два десятка книг!». Даша довольно долго смеялась вместе с ним. Работать при этом ей приходилось много. Она преподавала в двух областных вузах, переводила с английского за деньги какие-то научно-популярные книги, да еще в НИИ имела полставки. И все равно денег хватало от зарплаты до зарплаты. Павел уже не профессорствовал, бесконечно оппонировал ради копеечных денег, да еще писал книги, на которые надо было доставать гранты. Книги денег не приносили никаких. Он все время удивлялся, как коллеги с гораздо меньшим научным багажом пристроены в жизни много лучше его. Очень часто, когда она долго не возвращалась, он звонил ей на мобильный. Тут было

два варианта. Или она не брала свою трубку, и шли бесконечные длинные звонки («выключила звук, чтоб не мешал на лекции», — объясняла она). Павел сам читал лекции и почти никогда не отключал мобильный: профессор всегда со студентами договорится. Или абонент бывал недоступен. А потом она рассказывала, что ее курс перевели в помещение с тяжелыми потолками, где мобильный не ловит. Однажды после какого-то совещания он все же часов в семь вечера поймал ее. Она резко ответила: «Не могу сейчас говорить. Начальник дает ЦУ. Приду поздно». Павел вначале ревновал. Но что он мог поделать! И перестал тревожить ее в те дни, когда она уезжала из дому на службу. Даша бегала по всем этим работам, хотя ее мучило давление и, что хуже, какие-то женские неполадки. Иногда головы поднять не могла, но вставала и говорила: «Пока человек ходит, он должен работать. Мне же деньги за это платят. Откуда мы их еще возьмем».

А Павлу оставалось беспокоиться за нее, ходить в аптеку, тихо выгуливать ее в выходные дни. Потом она нашла работу с поездками. В Сибири платили больше, особенно в нефтяных местах, она вдруг стала привозить оттуда немалые деньги и дорогие подарки. Это в России было принято, Павел не удивлялся. Но когда ее не стало, он нарисовал себе картину, что какой-то из не очень крупных нефтяных магнатов, все же миллионер, пленился и красотой зрелой женщины, а главное, ее умом, что для него, человека с образованием, было тоже важно. Даше было тридцать семь,

еще самый возраст для женщины! Да и устала она, понять можно. Болела очень, а за границей и лекарства, и врачи — любого в порядок приведут. И она уехала в США — жить со своим новым русским, думал Павел. Ему казалось, что раза два Даша присылала ему в помощь не то двести долларов, не то триста. Но где они? Как он их ни искал, найти не мог. Потом известий от нее не стало, и тогда он сам для себя решил, построил сюжет, что богач, новый русский, прогнал Дашу, что она одна, бедствует в этой богатой Америке, живет в ночлежке для бомжей, но написать об этом, тем более вернуться — не может. Стыдится. На самом-то деле ей бы самой как-то надо помочь, что-нибудь из пенсии откладывать, найти эти дурацкие, неизвестно куда завалившиеся доллары. Но на какой адрес их послать? Записки и доллары она передавала с оказией, приходили какие-то странные люди, приносили послания и исчезали, а ему ни разу и в голову не пришло взять их координаты. Спасибо, что хотя бы зашли.

Да-да, как в романах когда-то им любимого Бальзака. Все понятно, ему как раз исполнилось шестьдесят шесть, когда он остался один. А теперь ему — шестьдесят семь. В этом возрасте умерли оба его деда. Он лежал на спине и чувствовал себя Грегором Замзой, неожиданно превратившимся в насекомое-паразита. *Ungeziefer*, — вспомнил он немецкое слово. Неужели пенсионеры сродни паразитам?

Соседи редко заходили. У всех свои дела. Но отношения *теплые*, то есть *здрасьте* и улыбки при встрече



че, иногда в Новый год зайдут с рюмкой или к себе зовут чокнуться. Случайные встречи в дверях или на площадке...

Раньше слово «пенсионер» чем-то напоминало ему слово «легионер». Пенсионер — это легионер на покое. Он один в трехкомнатной квартире. Все есть, а нищета. На Западе профессора на свою пенсию по миру катаются, а куда я доеду на трамвае? До парка — посидеть на лавочке? Так это тоже не жизнь, а умирание. Теперь понимал он долгие старушечьи разговоры на лавках, над которыми пошучивал раньше. Их попытки вмешаться в чужую жизнь, на что так досадовала молодежь, были простым желанием оказаться кому-то нужным и тем самым наполнить жизнь, продлить ее.

Так был ли он легионером? Студенты ждали от него какого-нибудь решающего слова, но его отпугивали все прошедшие по мировой истории полубесмысленные революции и движения, убивавшие десятки миллионов за те слова, которые через двадцать лет уже всех смешили. А дети хотели действия, активизма. Или хотя бы нового учения. А своего слова, которое требовало бы развития, у него не было. Были точные наблюдения, угадывающий анализ, из этого системы не построишь.

\* \* \*

Какой уж там активизм! С постели слезть не может. А еще и лекарства надо принять: ноотропил, сермион, де-

камевит, сиднофарм — всё, что по бесплатным рецептам получал. Сил только встать нету. Надо же так удариться об эту железяку! Он дотронулся рукой до болезненного места на спине чуть выше поясницы. Было больно, но, похоже, обошлось без перелома. Потому что боль была переносима, как от ссадины. Где-то он слышал, что если перелом, то дотронуться нельзя. А дотронуться можно, хотя синяк, конечно, будет. Так что паниковать нечего! Не из-за синяка же вызывать врача! Да и неловко привлекать внимание к своей особе. К тому же запах!.. Омерзительный запах, такой, что трудно дышать. Хотя и говорят, что собственной вони человек не замечает, но газы отходили, окна были закрыты, и Галахов поневоле оказывался в закрытом пространстве, где травил сам себя собственными отправлениями. Хорошо бы встать, в туалет сходить, но еще и окно приоткрыть. Как-то исхитрившись, они с Дашей, до ее отъезда, сделали пластиковые окна, чтобы уличный шум не очень доставал. Но, закрытые, окна и запах не выпускали на улицу.

Почему он такой нерешительный? Слишком уязвим.

Себя он порой чувствовал мужчиной по имени Золушка. Всегда мучило чувство бесконечной ответственности. Подростком, открыв перочинный нож, ходил к парку встречать с работы маму, боялся за нее. За всех боялся. О себе не думал, думал, что сам всем обязан, а потому по мере сил надо отдавать долги. С первой женой Леной долго не мог разойтись, хотя любовь давно кончилась, домом она не очень-то занималась,

даже посуду после гостей он мыл сам, к его книжным занятиям она относилась вполне иронически. Но он не уходил, хотя роман с Катей привел к рождению дочки, не уходил, потому что обязался быть с ней, исполнять ее прихоти. В детстве младший брат Цезариус был королем во дворе, знали, что старший брат выйдет в любую минуту и расправится с обидчиком. А как он этого брата устраивал в институт, возил к влиятельным знакомым, переписывал статью одного из них и публиковал в журнале, где сам тогда работал: от этого человека зависела оценка сочинения. Прибегал и позже, когда тому грозила опасность. Потом брат завел большое коммерческое дело в масс-медиа, вышел на международный рынок, тогда Павел стал ему мешать. Несветскостью, что ли? Вначале, приглашая к себе, дверь не открывал. А потом, не извиняясь, говорил, что ему было некогда, что у него была важная встреча с западными людьми. Ужасное ощущение — стояние перед запертой дверью, в которую даже записка не всунута, что, мол, приду тогда-то. А потом и вовсе перестал приглашать. Деньгами он ворочал немалыми, но Павла все время упрекал: «Тебе хорошо, ты живешь на зарплату, ежемесячно получаешь деньги через кассу и ни о чем не заботишься. Попробовал бы ты жить, как я! У меня нет гарантированной зарплаты». Теперь Павел получал *гарантированную пенсию*, а брат, став типичным русским миллионером, перебрался в Лондон, где собирались российские олигархи. Хозяин жизни! Вот и к отцу его погнал, как мальчишку, наставитель-

но и требовательно говоря в трубку: «Если я могу из Лондона положить отца в больницу, то, кажется, ты можешь хотя бы раз в день к нему съездить, навестить. Ты же пенсионер, ничем не занят». Разница у них была в пятнадцать лет, молодость Цезариуса пришлось на перестройку, он сумел в новую жизнь вписаться. И не желал думать, что брат уже большой старик.

Все заняты сиюминутным, словно не понимая, что скоро умрут. Его часто посещало странное чувство. Глядя на смеющегося старика, работагу, засовывающего в карман бутылку водки и торопящегося на пьянку, женщин, рассуждающих о каких-то покупках, больных в поликлиниках, человека, радующегося обновке, он все время воображал, что все они живут вроде как для вечности, а на самом деле для дурацких пяти минут. Живут так, словно всегда будут жить, словно им никогда не приходила мысль, что настанет момент, когда их на этом свете не станет... Ну и что же? — спрашивал он себя. — Сразу кончать самоубийством? Уж лучше жить так, что твои пять минут и есть вечность. А что есть вечность? Гениальная идея Андерсена в «Снежной королеве», что вечность нельзя сложить из льда, сотворить ее ледяным холодным сердцем. Она требует сердечного тепла. В той мере, в какой она возможна, она создается временно, любящим сердцем.

Как же она решилась на отъезд? Он с трудом мог это вспомнить. Перед тем, как уехать в Америку, Даша стала худеть, слабеть, но работать продолжала. Потом сказала, что ей предстоит небольшая операция, по женской

линии, и неопасная, добавила она. «А может, и в Америку уеду, — странно улыбалась она. — Уж там точно перестану работать. Устала очень. Надо и отдохнуть».

Он старался не слушать этих ее слов. Неужели она может его оставить? Наконец, она отправилась в больницу, просила ее не провожать, мол, скоро вернется. Беспокоилась, чтоб он без нее вовремя принимал лекарства. Он принимал лекарства, на душе было горько, как будто пил какие-то горькие микстуры. Один раз она позвонила, беспокоилась, как он себя чувствует. А он еще переживал, что перестал быть тем любовником, «фантастическим любовником», как она когда-то ему сказала, что постели у них уже по-настоящему не было, по его вине. Его ласк хватало теперь очень ненадолго. Конечно, она еще молодая, ей нужно что-то другое. Однажды он сказал ей это и услышал в ответ: «У тебя плохое настроение. Но зачем ты обижаешь меня? Мне же больно». Когда она говорила ему, что он нужен ей любой, он по мужской глупости не очень в это верил. И оказался прав, она все-таки оставила его. В тот день, когда это произошло, ему было очень плохо, он думал, что умрет. И радовался этому. Но не умер, просто стал передвигаться с трудом. Что-то в этот день еще было, но он забыл и не хотел вспоминать.

На следующий день после ее отъезда Галахов выполз на улицу, соседи смотрели на него странными глазами и сочувствовали ему. Подальше от сочувствий он пошел в Царицынский парк. Прошелся мимо императорских дворцов, вышел к большому пруду, сел на бревно

среди деревьев, тупо смотрел на воду, которая казалась ему бездонной. Спрашивал себя, мог бы он броситься в воду и утопиться. Но он же не Офелия и не Катерина, он — мужчина. Стоял поздний теплый август, деревья были зеленые, а у него болело сердце, и Павел с тревогой спросил себя, доберется ли он до дому. И тут, вертя тощим хвостом, подошла к нему черная узкомордая и, очевидно, немолодая дворняга и принялась вдруг тыкать носом ему в руку и просительно заглядывать в глаза. Он машинально погладил ее по загривку, она затихла и притулилась к нему. Потом они сидели, Галахов чесал ей машинально то за одним, то за другим ухом. А когда он отправился домой, собака за ним последовала. Прогнать ее не было сил, она была такая умильная. Он назвал ее Августой — по месяцу находки. Спала у него в ногах, он кормил ее тем, что оставалось от его еды, чаще всего заливал овсянку мясным бульоном, сваренным на костях. Она смотрела на него и все понимала. Благодаря ей Павел стал гулять утром и вечером.

Но ему было грустно. Глядя на тощий хребет Августы, он невольно вспоминал (начитанность не уходила) старика Смита из «Униженных и оскорбленных» Достоевского и его исхудалую собаку Азорку. Смерть Азорки оказалась предвестием смерти старика.

\* \* \*

Спина болела, когда он пытался повернуться. Может, все-таки врача вызвать? Но из «академической» пере-

стали выезжать, а из районной придет толстая тетка и, глядя в другую сторону, начнет ворчать, мять спину и прописывать антибиотики: она считала их средством от всех болезней. Хотелось прежней молодой независимости, не хотелось стариковской униженности, уязвленности. Ведь он еще не старик! Его еще нельзя загонять на дерево! Но уже что-то подобное чувствовалось ему в равнодушии и пренебрежительности врачей.

И он уже сам замечал, что тон его становится, нет, еще не заискивающим, но зависимым. Принять, проглотить чужую грубость. А не возмутиться как раньше. Потому что деваться некуда. Вот и месяца три назад он сидел перед кабинетом зубного врача. Правая челюсть отяжелела, как свинцом налита, рот с трудом открывается. Кабинет закрыт, врача все нет и нет. Пошел стукнуться в ординаторскую, благо, на том же этаже, узнать, пришла ли Валентина Петровна вообще на работу. Открыл дверь. В маленькой комнатке со шкафами толкотня белых халатов. Увидел своего доктора, автоматически поздоровался, мол, «здрасьте, Валентина Петровна». Высокая тетка в плаще, стоявшая в центре группы других теток в белых халатах, вдруг властным и грубым тоном оборвала его: «Куда претесь?! Вы все скоро в туалет за нами ходить будете. Не видите что ли, что это наша комната?!» И вдруг Павел с ужасом услышал свой голос, услышал, что он, как и положено старику, испуганно пробормотал, стараясь при этом казаться вежливым: «Простите, я не хотел никого обидеть».

Нет, надо лечиться народными средствами. Но какими? Он вдруг вспомнил давний разговор с приятельницей, эмигрировавшей несколько лет назад в Германию. То есть она уехала с мужем, который получил там двухгодичный контракт. Но когда он собрался вернуться и сказал ей об этом, она ему бросила (потом этот ответ долго по эмигрантским кругам ходил): «Ты меня Родиной не пугай!». Развелась с ним, нашла немчика и осталась. Так вот, как-то подхватив не то грипп, не то простуду, Павел пил разные лекарства, как вдруг позвонила Майя. Дальше произошел разговор, прямо для современной пьесы: «Болеешь?» «Болею». «Что с тобой?». «Простуда, кажется». «Чем лечишься?» «Народными средствами». «Помогает?». «Не очень-то». «Может, народ не тот?»

Нужен хотя бы глоток чаю. Чашка стояла у постели на краю комода. Он потянулся, не достал, надо было немного приподняться, подтянув тело, чтобы спина опиралась о подушку. Тело слушалось плохо: вот что значит никогда не занимался спортом, да и толщину нажил, тяжёл слишком. Он попытался сделать упор на локти, действуя силой плеч. Это удалось. Правда, сползло одеяло. Но это пустяки. Он поднял чашку, сделал глоток, но тут же вспомнил, что придется идти в туалет. А сможет ли? Невелико пространство, но сегодня для него немалое. От этих мыслей чашка в руке дрогнула, желтоватая чайная жидкость выплеснулась на наволочку подушки. Совсем противно стало. Чем-то старческим потянуло от это-

го желтоватого пятна. Надо бы не просто до туалета дойти, но и наволочку сменить, еще и отцу позвонить. Что за глупость! Вчера же еще, уже после падения, он ходил, даже за квартиру в сбербанке платил. Болела спина, но боль пересилить было возможно. Эх, если бы какая красивая девушка на него глянула (а лучше — Даша!), он бы непременно встал и все сделал.

\* \* \*

А какое у него еще дело? Недописанная книга, где он проводил странное сравнение между переселением народов в четвертом-пятом веках нашей эры, когда варвары потянулись в цивилизованные римлянами части тогдашней Ойкумены. Теперь русские сотнями тысяч едут в Европу и Америку, ругая почем зря эту цивилизацию. Вроде его брата Цезариуса, который в России бывает лишь наездами из Лондона, но поскольку сохранил российское гражданство, эмигрантом себя не считает. Все на Запад прут — и богатые, и бедные, надеясь разбогатеть. А в Россию — люди с Кавказа и из Средней Азии. У них во дворе уже пару лет вместо русского пьяницы-дворника работали мальчишки-туркмены, тщательно метя и чистя двор.

Ладно, не о книге надо думать, а как до сортира добраться.

Зачем мои книги о толерантности, о наднациональной идее России, когда в Москве и Питере убивают таджикских девочек, убийц оправдывают, в

крайнем случае дают срок как за мелкое хулиганство, а молодые скинхеды кричат об уничтожении всех нерусских. Вот и до русского фашизма дожили. И ведь не фашизм, а обыкновенный русский бунт, когда режут всех.. На этой идее даже Третий Райх не построишь. Смерть не строитель. Хорошо, что дочка моя в Швеции, внучка там и жена Катя, а Дашу ее новый русский вывез в Америку. Ругают новых русских, а они шкурой чувствуют...

Но его-то сейчас это не касается. У него простая задача — вылезти из постели и дойти до туалета. Не мочиться же в постель. Тогда он здесь вообще лежать не сможет. А кто к нему придет? Никто. Сослуживцы бывшие в лучшем случае на похороны скинутся, да на кладбище придут. Друзья? Их так мало осталось. Столько уже приятелей, едва к пятидесяти подходило, умирало. Двух он даже считал близкими друзьями. Только один человек звонил ему постоянно — друг детства и ровесник Лёня Гаврилов. Он рассказывал анекдоты, вычитанные в «Комсомольской правде», в основном эротического содержания, повторяя: «Старичок, мы должны держаться. Жизнь ведь продолжается. Послушай, что пишут: “Если мужчина четыре раза сходит налево, то по законам геометрии он вернется домой”. А? Ха-ха! Нас еще рано в утильсырье. Слышал про Давида Дубровского, из ваших, из гуманитариев? Ему семьдесят четыре, а жене двадцать четыре, они уже ребенка сделали. И мы, старичок, должны держаться. Главное — не раскисать! Ну,

хочешь, я тебе альбом сделаю с Дашиными фотографиями? Может, тебе легче будет?». Да, ему не нужна была никакая другая женщина, кроме Даши. Спасибо Лёне, что звонит. Отец последние годы никогда ему не звонил, всегда ждал его звонков, часто ему пенял: «Ну, ты еще молодой. Мне осталось уже немного. Поэтому мне можно жаловаться, а тебе еще нельзя». Что ж, получил свое. Когда они с Дашей только начали жить вместе, он ворчал. «Я ведь умру раньше тебя», — говорил он. «Это никому неизвестно, кто когда», — очень серьезно отвечала она.

А потом она уехала, и этот разговор потерял смысл. Только одно осталось: чувство потери, да и говорить теперь было не с кем. Уже давно, чтоб создать себе эффект общения, он звонил бывшим сослуживцам вроде по делу, но как бы между прочим заговаривал и о бытовых вещах. Те охотно отвечали, советовали, но сами не перезванивали никогда. Утешала Августа своей и в самом деле собачьей преданностью. А куда ей было от него деваться! Здесь все же кров и пища. Была она даже трогательна в своей забитой привязанности. Собака была запугана в своей несчастной бездомной жизни, вздрагивала от каждого шороха в квартире. Когда однажды Павел уронил на пол торшер, Августа так перепугалась, что не знала куда забиться, даже под комод пыталась, пока не заползла в узкую щель под тахту. Оттуда Павел ее потом едва извлек. Зато слыша шум шагов на лестничной площадке, Августа принималась отчаянно лаять, защищая себя, свою слегка

наладившуюся жизнь и человека, пригревшего ее, отпугивая воображаемых врагов.

Нет, все не о том он думает. Надо сползать, не вверх на локтях, а наоборот боком из-под одеяла — и на пол. Пусть даже на четвереньки встанет. Все равно никто не видит. Прежде чем начать сползать, он оглядел комнату, нет ли чего полезного для сползания. Горел над головой ночник, за окном уже было темно, светились окна двенадцатиэтажного общежития напротив: с отъезда Даши он шторами пользоваться перестал. У окна на столе мерцал экран выключенного компьютера. Может, послать сразу по нескольким адресам письмо: «Помогите, мне плохо!» А что плохо — спина болит? Но это надо преодолеть, в конце концов, он все мог преодолеть. Около стола валялась груда книг, которыми до больницы пользовалась Даша, переводя очередную книгу, так он эту груду и не разобрал, год прошел, а он все никак не опомнится. Единственно, что он запретил тогда очень жестко: он запретил себе спиртное. Он помнил, как запил его друг после смерти жены, и через год был конченый человек, а там и умер. Хорошо, что Даша не умерла, а нашла себе богатого мужа, который вывез ее отсюда. Нет, Галахов не смерти боялся, боялся пьяной пошлой смерти, когда с улицы приходят бомжисобутельники и шарят у мертвого по карманам и в столе, не осталось ли на выпивку.

Да, комната без Даши совсем захламлена. Больше всего у него заставлен комод. Кроме чашки чая, бу-

дильника, валявшихся блокнотов, шариковых ручек, поводка для Августы, там стоял еще и телефон в стиле ретро начала XX века, подаренный ему сослуживцами, когда он уходил на пенсию. Зачем он это сделал? Ведь знал, что на пенсионные копейки прожить нельзя. С тех пор они существовали на Дашины заработки и тратили пенсию на квартплату да на помощь отцу. До того момента, как Даша покинула его. А три дня назад его покинула и Августа. Побежала куда-то в кусты, да так и не вернулась. Звал он ее понапрасну. Ходил по соседям, спрашивал, не видел ли кто. Однако нет, никто ему помочь не смог. А молодая толстотелая соседка с большими грудями, жившая этажом ниже, сказала: «Да успокойтесь, дедушка. Может, ее бомжи покончили, на шапку. Да вам теперь легче будет, не придется утром и вечером с ней по улицам таскаться!»

\* \* \*

Слезая с постели, он все-таки упал. Встав на четвереньки, Павел попытался подняться на ноги. Проклятый шофер! Неужели задавить, или, точнее сказать, убить хотел? Или просто попугать? Тот, кто в машине, по сути дела, — «человек с ружьем» против безоружных. Хорошо хоть успел из-под колес выскочить. Прав был Васёк, его сосед по парте в первом классе. Он уже тогда понял, что шоферню следует обуздывать. Старик все же поднялся. Держался за притолоку двери, потом за стенки коридора. В туалете стоял, упершись головой

в стенку перед собой. Его мутило, ноги подгибались. «Кажется, моя ветка трещит», — мелькнуло мимоходом и, слабея, он завалился на кафельный пол. От холода кафеля через время очнулся. Лежал и готовился помирать. «Это мне наказание, — сказал он себе, — за то, что другого старика стряхнул с его ветки».

Вчера выгнал он с лестничной площадки между этажами бомжа Александра Сергеевича. Между их этажом и следующим ниже угнездился бомж. Запах от него стоял понятно какой. Из дверей квартиры стало трудно выходить. Он с позапрошлой зимы там прижился. Даша тогда его добром просила, в милицию звонила, спрашивала, где в нашем районе специальные приюты для бездомных. «Нету таких», — ответили ей менты. «А по телевизору рассказывали...». Те рассмеялись: «А вы что, всему, что в телевизоре рассказывают, верите?»

Но стояли морозы, гнать его было невозможно, Даша стала, как приبلудному псу, выносить ему еду. В разговоре он сообщил, что его зовут Александр Сергеевич (поначалу они решили, что врет, что во всем Пушкин виноват, но он паспорт показал — верно), что он бывший учитель математики, что ему шестьдесят шесть, уже три года не работает, а их подъезд выбрал, поскольку прописан на втором этаже, но бывшая жена и дочка его в квартиру не пускают, а он, однако, здесь по праву прописки. Во время разговора Даша заметила, что три пальца на руке у него черные, спросила, что это, он ответил, что, наверно, отморозил. Тогда Даша вызвала «скорую», его забрали, но следующим вечером он

снова был на своем месте, объяснив, что его в больнице помыли, дали переночевать, утром покормили — и выгнали. Вот он снова здесь и обретается. А на пальцы они даже смотреть не захотели. Даша снова вызвала «скорую». В этот раз приехала милая широколицая женщина, но с твердым выражением на лице, — такая, любимая Павлом разночинно-интеллигентская уверенность в себе, привычка настаивать на достойном. По просьбе Даши она посмотрела пальцы Александра Сергеевича, не снимая резиновые перчатки, как и было положено врачам «скорой». «Да, — сказала, — температура, воспаление, может дальше пойти, на начало гангрены похоже. Пойдет дальше — придется руку резать».

Даша умоляюще посмотрела на нее. «Понимаю, — пожала та плечами, — но нам запрещено бомжей госпитализировать. Всех больных перезаражать могут. Кто знает, что они на себе носят. Ладно, беру на себя. Уговорю нашего хирурга». И Александра Сергеевича увезли, не появлялся он долго, уже Даша уехала, а его все не было. И вот явился. Вернувшись на площадку, рассказал, что месяц пролежал в больнице, руку ему вылечили, потом где-то скитался почти год, а идти все равно некуда. Пока бомжа-пришельца не было, соседи выяснили его историю. Оказалось, что и впрямь он в квартире на втором этаже прописан, пришел добродушный участковый, проверил паспорт: прописка правильная. Но вселять отказался, поскольку насильно к жене поселить его не может, тем более и ситуация сложная — там коммуналка, соседи тоже протестуют. Конечно, понача-

лу жену ругали — стерва! Двери она никому не открывала, смотрела в глазок, кто звонит. А потом пошли по соседям и узнали. Александр Сергеевич лет пятнадцать назад бросил ее с малолетней дочерью и ушел к овдовевшей генеральше, ушел и забыл, ни разу не появился, денег ни копейки не посылал, дочку сама растила, а работала всего-навсего на почте. Жила весьма бедно. Что там с генеральшей произошло, но год назад А.С. снова явился. Бросив жену, из квартиры он не выписался, формальное право имел вселиться. Однако квартира была двухкомнатная, коммунальная. В одной комнате брошенная жена с дочкой, в другой — соседи. Пускать его было некуда: только к себе в комнату, чего она не хотела и боялась. Ситуация безвыходная.

И вот вчера он сам стряхнул старика с дерева. Хотя А.С. был и помоложе его, но тоже пенсионер. Пришла соседка из квартиры напротив, позвонила вчера вечером Павлу в дверь. «Вы все же мужчина, Павел Вениаминович», — она улыбнулась немного иронически, — а у меня просто сил не хватит, да он меня и не слышит, потому что слово женщины для него не существует, он ведь женщин за людей не считает. А вы, хоть уже и в возрасте, но вид внушительный. Может, он вас хоть испугается. А то прихожу домой, квартиру отпираю, запах, сами понимаете, но мы вроде притерпелись, но ведь он прямо по лестнице вниз от моей квартиры, весь мне виден. Вчера пьяный напился, валяется, ширинка расстегнута, хозяйство наружу. Видно, перед тем, как отрубиться, онанизмом занимался. Таньке моей пят-



надцать лет, ей такое ни к чему видеть. Я вчера его пинками подняла и на улицу выгнала. А сегодня прихожу, он снова с бутылкой в обнимку и мне кулаком грозит, да еще какую-то блохастую собаку с собой привел».

При слове «собака» Павел даже вздрогнул. Но соседка поняла и отрицательно, с сочувствием покачала головой: «Нет, не ваша. Не Августа. Так поможете?» Никогда Павел не умел людям грозить, тем более выгонять их, да и драться, если честно сказать, тоже не умел. Он и представить не мог, что должен сказать А.С., чтобы тот ушел. Он вышел на площадку в теплой домашней куртке, которая уширяла и без того его широкие плечи, к тому же в ней он чувствовал себя мужественнее (бывает такая одежда), посмотрел на А.С. сверху вниз как можно мрачнее и произнес неопределенно: «Шел бы ты, мужик, отсюда, чтобы хуже не было». Кому хуже? Но бомж вдруг засуетился, сунул бутылку в отвислый карман драпового вонючего пальто, встал, подобрал подстилку и суетливо побрел вниз. Ветка надломилась, и старик упал с дерева.

А другой старик вернулся в свое жилище, думая, что сам он несколько не лучше. Прошло два дня. Одиночество давило его. Исчезнувшая три дня назад собака Августа стала казаться каким-то страшным зовом судьбы. Он ее искал целый день, звал, но она не вернулась. Без нее квартира стала совсем неуютной. А после вчерашнего падения он чувствовал себя словно выбитым и из того физического состояния, которое поддерживало в нем жизнь.

С трудом он начал подниматься с кафельного пола, но руки-ноги подгибались. Хотя бы доползти до комнаты, до телефона, приказывал он себе. Но сил не было. Павел лежал, из глаз катились слезы. Похоже, что на этот раз он в самом деле плакал. Плакал о совершенно непонятно зачем прожитой жизни. Все же он приподнял голову. Зачем? Чтобы встать? И вдруг усилием воли встал. Голова кружилась, он с трудом сохранял равновесие. Потом ощутил, что ему стало трудно дышать, грудь сжималась при каждой попытке вздохнуть, от жуткой слабости подгибались ноги, спина покрылась потом. Ему стало страшно, он ослаб, снова сел на пол. Но даже ползком он уже не мог добраться до телефона.

\* \* \*

Его душа еще блуждала по Земле, сорок дней ей было предназначено скитаться здесь до ухода на небо. Он умер, но ни брат, ни сын не интересовались по-прежнему ни его жизнью, ни смертью. Спихватился отец, которому он перестал звонить. Дозвонился до внука, то есть сына Павла, брат, как всегда, был в Лондоне. Сын ответил, что занят, что ему некогда, но все же приехал, взломал с милицией и людьми из ЖЭКа замок, вошел в квартиру. Оттуда позвонил дяде в Лондон (они все же иногда общались), тот сказал, что похоронить надо по-человечески, что он пришлет три тысячи баксов, но особо оповещать и собирать народ

не надо. А то слишком много хлопот. И без того кто-нибудь да придет. Народу и впрямь было немного.

И Павел видел свои скудные похороны, видел, что ни брат, ни отец, ни сын на похороны его не пришли. Впрочем, брат и денег обещанных не прислал. Был друг детства Лёня Гаврилов с женой, он привел нескольких общих знакомых, писатель Борис Кузьмин высокопарно говорил о трудности оставаться человеком в этой жизни, которая, добавил он вдруг афоризм, «вовсе не школа гуманизма». Старый бабник Томский пустил слезу, сказав: «Павлушка, ты был хороший. Мы скоро за тобой последуем. Но тебе-то наверно небо определено, а куда нас отправят?»

И снова заплакал. Пришло также несколько бывших сотрудников Галахова. Даши не было. И Павел заглядывал в лицо всем пришедшим в безумной надежде, что вдруг обозначился, вдруг она просто в другой одежде. Но не увидел. Душа как птица присела на одинокое дерево у могилы. Душа плакала и думала, что, наверно, Дашу ее новый муж не отпустил даже на похороны. Душа его долго блуждала около этой пустынной могилы. Через месяц прилетела из Швеции дочь, а жена Катя, видимо, осталась там караулить внучку. Дочка долго плакала, сидя на лавочке у могилы. Потом улетела назад. А Даша так и не показалась здесь. И только спустя сорок дней он понял, почему она не пришла, осознал то, о чем не хотел думать весь последний год. Даша давно ждала его на небесах, где они и встретились, наконец.

*Сентябрь 2007*

## **Отзывы в письмах на рассказ «Смерть пенсионера»**

September 26, 2008 3:37 PM

Плакать ты меня не заставишь, наверное, а впечатлить ... Впрочем, как всегда. Да еще и во время такое попал — дедушку похоронила, все еще под впечатлением — пришлось даже одевать и всякое такое, и мысли, знаешь, о метафизическом, как говорили в былые времена, одиночестве человека. О тебе будут писать, что ты выразил мироощущение человека рубежа веков... Ты — большой молодец, хотела написать разные слова по этому поводу, но напоминает рецензию. Это очень сильно и больно.

*(Елена Андрущенко, доктор филологических наук,  
Харьков)*

29 сентября 2008 г. 13:03

Добрый вечер!

Рассказ прочитал не отрываясь. Хорошо!

Но в моей повести (поскольку я нехристь и неверующий) последних абзацев не будет. :-)

Рассказ действительно хорош.

Дима

*(Дмитрий Носов зам. декана философского ф-та  
ГУ-ВШЭ)*

29 сентября 2008 г. 13:03

Володя, спасибо за «Смерть пенсионера». Дамы и читатели совершенно правы, что пишут, плачут и звонят, — очень хороший рассказ. Я и сам размяк. «Октябрь», чем дальше, тем все больше в своем странном репертуаре, — эволюции и мутации не просто продолжают, а значительно ускоряются. Как я понял, это завершение темы Галахова, — предполагается, конечно, отдельная книжка связанных с ним рассказов, — но все же надеюсь, что лофт оставлен для продолжений внутри этой серии.

Галя, со своей стороны, думаю, тоже напишет тебе. Хотелось бы, конечно, чтобы Максимов расплакался да еще бы и не останавливался, как можно дольше, поскольку слезы очищают человека.

В общем, молодчина. Хорошего тебе здоровья и творческого настроения в эти стужающиеся времена, и внимательной работы мысли, проясняющей сопутствующие безумия.

Обнимаю. Твой Игорь

*(Игорь Шевелев, критик, прозаик)*

29 сентября 2008 г. 20:59

Дорогой Владимир Карлович! Очень рад Вашему письму, рад, что статья выйдет, и очень благодарен за внимание.

Что же касается Вашего рассказа, то Вам «помучить» им меня не удастся, так как и я, и моя жена уже его прочитали. Более того, я как раз думал написать Вам о своем впечатлении.

На меня (на нас) он произвел сильное впечатление. Ваш «дедушка» и все его обстоятельства не дают забыть себя... Отчасти, возможно, потому, что я сам вдрут

оказался на седьмом десятке и обнаружил, что и все, связанное со старением, теперь касается меня непосредственно.

Но главное, конечно, потому, что Вам удалось найти такие художественные средства, которые не только поднимают важнейшие для любого человека жизненные вопросы, но и требуют от него личного ответа. Мне кажется, здесь можно увидеть прямой путь от «Ивана Ильича».

По-моему, рассказ этот — Ваша несомненная удача. Рад за Вас и поздравляю Вас с ней.

Ваш Г.Киселев *(профессор из США)*

September 30, 2008 8:15 PM

Добрый вечер, Владимир Карлович!

От рассказа мне стало страшно и грустно. Почти бесприсветно. Сложно сохранять «мужество быть», имея такую перспективу. И относительная молодость совсем не служит защитой. Зато после чтения некоторые мои проблемы с собственным старшим поколением существенно поменяли свой масштаб, стали казаться карликовыми и незначительными. По крайней мере, на время. За это спасибо.

*(Андрей Прокофьев, доктор философских наук, профессор, МГУ, ИФ РАН)*

30 сентября 2008 г. 11:2

Дорогой Володя!

Наконец, я чуть выбрался из-под своих завалов.

И прочитал твой рассказ. Прочитал с интересом. Поздравляю! Как всегда с интересом и потому, что это твой рассказ и, значит, о тебе. А уж на этот раз настолько от-

кровенно твой! Я знаю, что ты, кажется, не мистик, но так явно соединить прозрачную исповедальность со столь трагически-страдательным сюжетом — это надо решиться! Твой художественный ход с Дашей, уехавшей в Америку, а провожали ее с цветами и музыкой, — очень удачный. Думаю, в таком, почти экзистенциальном, рассказе лучше было бы меньше подробностей. Обнимаю,

Рубен (Рубен Апресян, *старый друг, доктор философских наук, профессор, Институт философии РАН*)

1 октября 2008 г. 14:42

Владимир Карлович, дорогой, спасибо за рассказ. По моему, удавшийся Вам бесхитростными и правдивыми ситуациями. Оптимизма он не прибавит, но приятно, что автор в хорошей творческой форме. Чего я Вам и желаю на «весь прожиточный минимум», отведенный добрыми социальными работниками. Кланяйтесь домашним, я в хворях и многочисленных рабочих заботах, пока не до звонков и разговоров. Будьте здоровы. Ваш Ю. Данилин.

(критик Юрий Данилин)

3 октября 2008 г. 1:23

Рассказ действительно и даже более, чем невеселый, и тема большая, но слава Богу, не чернуха — это было бы трудно перенести, а всё благодаря истории с Дашей! Вот что значит любовь. В общем, мне понравилось. Завтра маме потащу.

Надеюсь, вы все живы-здоровы, целую  
Лена

(программист, эмигрантка из СССР, Нью-Йорк)

6 октября 2008 г. 15:29

Дорогой Володя, я прочитал. Ну что сказать — спасибо, и что я уже подошел к тому состоянию. Читал накануне сна. И, увы, приснилось-таки: что я приговорен к смертной казни со всеми вытекающими последствиями.

Ваш Гарик Суперфин  
(великий архивист и публикатор из Бремена, бывший советский зек)

6 октября 2008 г. 11:26

Дорогой Владимир Карлович!

Огромное спасибо Вам за рассказ. Он понравился мне несказанно. Прочитала взхлеб. Очень — очень грустно...

Я думаю, Вы — необыкновенно талантливый человек!

Всего Вам доброго,  
Лена.

Pribytkova Elena, *славистка из Германии*

7 октября 2008 г. 8:10

Володя, мне очень понравился Ваш рассказ! Он замечательно написан, в традициях русской литературы. Я также в нем узнаю то, что слышу от близких мне людей, когда бываю в СПб (каждый июль — на принстонской летней работе). Спасибо, что Вы прислали. Действительно, очень хороший рассказ. И светлый, в конечном итоге.

Жаль, что нам с Вами почему-то не удалось пообщаться с Вами в Будапеште. Может быть, еще где-нибудь увидимся?

Всего доброго,

Ваша Ксана

*(Ксана Бланк, профессор Принстонского университета)*

Sent: Tuesday, October 07, 2008 12:15 AM

Дааа... Нагнал тоски...

Спасибо за литературу — я себя поймал на мысли, что из всех современных писателей регулярно читаю только Кантора.

Professor A. Kamenskii  
Russian State Humanities University

Sent: Tuesday, October 07, 2008 4:17 PM

Дорогой Владимир! Рассказ этот мне очень понравился и только укрепил мою симпатию к Вам. Разговоры о нем, без учета традиционных: «тут — минус, а вот тут — плюс», вполне заслуженны. Рассказ продолжает линию Достоевского. Строго очерчен внешне, без излишеств и блестящих висюлек, глубок и горек по содержанию. Одним словом, очень он мне понравился.

Искренне Ваш

Афанасий  
*(Афанасий Мамедов, писатель)*

October 08, 2008 9:52 PM

Спасибо, Володя! Я уже прочитал, по совету Марины Загидуллиной. Да, дух русской классики в нем живет! Поздравляю. Это та вещь, которую Вы ожидали первоначально в «Октябре» в начале года?

Ваш Саша Люсый *(критик, культуролог, кандидат культурологии)*

October 09, 2008 11:56 PM

Дорогой Володя, я думала — мое предыдущее письмо до Вас дошло, а потом оказалось, что в запарке перед

Франкфуртом я его даже и не послала. Я прочитала Ваш рассказ ночью в гостинице в Нью-Йорке, он меня очень растрогал, трудно представить себе, как Вы, молодой, творческий и полный сил, умудряетесь примерять на себя эту трагедию конца, того финала, который мы все не желаем воображать не только в деталях, но даже и в самых общих и типических чертах. Мы ведь о финале и не думаем никогда, господи упаси.

Но при этом, вот гляжу, а сила-то искусства какова. Все как один Ваши читатели, отзывы которых Вы прислали, почему-то все кивают, соглашаются, вот-де это обо мне, о нас, о себе самом...

Мне не очень близок такой способ восприятия какого бы то ни было искусства. Разве о самом потаенном можно вычитать в прозе — даже классической, даже гениальной?! — нельзя, у каждого свое я, у каждого свои арзамасские ужасы, и когда придется проходить на посадку, каждый из нас пойдет туда другой походкой.

Поэтому я отказываюсь обращаться с этой прозой как с провидением или пророчеством, а вместо этого скажу Вам: по-моему, хорошо сделано, и детали, и язык, и действительно — эта история с переездом в Америку под погребальный оркестр.

Хорошо, что Вы сочинили такой мрачный рассказ, и хорошо, что Вы сам не имеете к этой мрачной реальности прямого отношения, а имеете отношение писательское, душевное, духовное. Кстати, психолог стал бы копаться в недавней Вашей беде и травме, смерти отца, взаимоотношениях с Максимом.

Думаю, что это неуместно. Талантливый человек написал интересную вещь — стало больше одной интересной повестью на свете.

Я покажу ее во Франкфурте издателям самых разных наций. Не могу предвидеть, как ониотреагируют. Может быть, отринут в ужасе.

Иисуса Христа тоже не печатали...

А может, примут с восторгом.

Вот поеду посмотреть.

Нежно Вас обнимаю

Ляля

*(Елена Костюкович, переводчик, директор  
литературного агентства ELKOST)*

October 09, 2008 10:03 PM

Здравствуй, Кантор!

Получил твой рассказ, прочитал с интересом, с удовольствием, хорошо написан. Только жутко все, стыдно. Кое-где слышатся автобиографические элементы. Один классик сказал бы: как скучно на свете, господа!

В рассказе есть одна отпечатка : на стр. 5 «постоянные провороты в мыслях» (или это опять слово, мне незнакомое ?). В конце рассказа мне мешает, что персонаж получает инициалы (А.С.). Нельзя. Все остальное великолепно.

Пиши, маэстро !

Эммануэль

*(Эммануэль Вагеманс, бельгийский профессор,  
славист, Лувен)*

October 13, 2008 7:05 PM

A mozhnet eto prosto rasskaz o chelovecheskom odinochestve, ktoroe osobenno silnoe dla staryh ludej v sovremennom mire. I eto javljaetsa chelovecheskoj tragediej, potomu-shto segodnja massovaja kultura probujut v nas

vnushit mysl, shto blagodarja tehnike i biotehnologii chelovek mozhnet podchinit svoju zhizn svoej voli. No eto samoobman. Vremja uhodit i chelovek stanovitsa vse bolee odinokim

*(Filip Metches, варшавский журналист)*

October 15, 2008 12:01 PM

Здравствуйте, Владимир Карлович!!! Очень быстро, на одном дыхании прочитала ваш рассказ. Хороший, понравился))). Когда читала — возникали разные образы, размышления — о быте в России, в университетской среде, о разрыве между ожиданиями и действительностью если ты — профессор, об отношениях... Но возникло и одно более глобальное впечатление от образа жизни и мышления Галахова — его мысли, если смотреть со стороны, со стороны как бы застряли где-то посередине на длинном неровном мосту — на одном конце пустота и бессмысленность, на другом — привязанность к жизни, к тому, что окружает, к живым людям, которые так же, как он, несут свою историю, и живут, вероятно, его жизнью, тоже. Галахов смотрит на все, что его окружает и ищет себе место. То находит, то — теряет. Кое-что бессмысленно, но процесс не останавливается, места сменяют места, люди людей, воспоминания одни сменяют другие. Мне даже хочется сказать: Галахов — умничка в своих стараниях. Галахов не вызывает жалости и это приятно. Он трезв к общей необустроенности. Но так же выглядит и его собственной мир. И в этой общей полубессмысленности ждешь, что будет в конце. Какая сила заберет Галахова, будет ли он этого ждать, будет ли бояться, будет ли понимать — да, его время пришло. Как он ушел — ответ на последней странице рассказа — и это — то, на мой

взгляд, над чем каждому самому думать, а рассуждать и спорить тяжело. Ибо в сказке всегда понятно, из-за чего умирает Кащей бессмертный, а в рассказе проникаешь в мысли и жизнь героя и понимаешь, что тут все неоднозначно. Что и хорошо)). Спасибо, что прислали рассказ. Если Вы включили меня в рассылку по случайности, не говорите мне этого, ибо пускай Даша просто уехала в Америку со своим новым русским)).

*(Ксения Рябова, студентка-философ,  
пишет рассказы, магистратура)*

October 17, 2008 4:50 PM

Володя, я прочитала твой рассказ «Смерть пенсионера». О нем я узнала от Евдокимова. Ты принесешь Евдокимову журнал, или мне сделать ему распечатку? Я тоже хотела бы, чтоб он прочитал. У него есть рассказ о бомжах «Счастливое кладбище» (ты читал его? Я тебе его высылаю на всякий случай). Сильный рассказ, щемящий, пронзительный, мало умственных выкладок, много природы живой, нечеловеческой, безвинной. У него там и старичок-боровичок, и собачьи превращения.

У тебя другой, прости, что сравниваю. Но ведь это не обидно. Тоже сильный, мучительный. Много природы человеческой, мертвой. И много мыслительных ответвлений. Мне — глубоко понятны. И твоя «Смерть» тоже. Только вот знаешь, непонятны мелочи, когда ты сидишь у пруда и думаешь, не утопиться ли и при этом рассуждаешь, что это не по-мужски — именно топиться. Или на кафеле после падения все же пытаешься дотянуться до телефона. Жизнь сильнее смерти, вот ужас-то. Бессмысленная жизнь (в любом случае, в корне — тот

же ужас) сильнее смерти. И ты прав насчет оценки человека. И все глупо — и кончать с жизнью сразу после осознания встречи с ней и кончать с жизнью после смерти любимого человека и близких тебе людей. И глупо, когда вообще начинаешь рассуждать об этом. И не рассуждать не можешь по причине рассудочной сущности. И одиночество оказывается единственным, чем мы владеем наверняка и что всегда с нами и никогда нас не предаст. Спасибо тебе. Ты знаешь, я тоже очень много думаю об этом.

*(Елена Самойлова, редактор, поэт)*

October 18, 2008 10:19 PM

Что касается «Пенсионера», то в моем возрасте это не может быть слишком радостным чтением, но и не может не произвести впечатления, хотя, признаюсь, этот мотив русской прозы («вы чё, старичьё?») мне кажется не лишенным мелодраматизма. Но, повторяю, в нем есть сила и убедительность, по крайней мере, в Вашем исполнении.

*(Игорь Шайтанов, доктор филологических наук,  
РГГУ, литературовед)*

October 17, 2008 7:39 AM

Рассказ весь очень твой (твои любимые мысли, твоя стилистика, твое движение сюжета, твои отношения к жизни и смерти). Он тоскливый ожиданием развязки, которая особо не нужна — потому что она есть в названии. Под тоскливостью я разумею эмпатию, которая неизменно возникает во мне (за себя лично говорю), когда

я читаю тебя. Это вживание и подкожность (как бы это объяснить?) После рассказа как-то неудобно все становится — даже жить как-то не комфортно и не радостно.

*(Марина Загидуллина, доктор филологических наук,  
профессор, Челябинск)*

October 17, 2008 1:42 AM

Володя,

добрый день. Что тут говорить. «Ехать надо» при такой неспособности к иллюзиям. Но такое впечатление на меня производят все Ваши вещи. «Душа — Даша» — очень хорошо, и финал напоминает «Ласточку» Державина (о к-й я сегодня как раз лекцию читал). «Но ехать надо».

Ваши сердечные приветы. Рената кланяется.

Ваш МБ

*(Михаил Безродный, филолог-славист из Хайдельберга)*

October 18, 2008 11:33 PM

Все очень грустно, Владимир Карлович. Тем более, что они вряд ли встретились на небесах — так не бывает. Иллюзии нас заставляют жить, а страхи забирают саму возможность существовать хоть как-то. Очень грустно и предельно честно. Спасибо. С уважением, Елена

*(Елена Меньшикова, кандидат культурологии)*

October 19, 2008 8:39 PM

Прочитала пенсионера на одном дыхании. Почему-то мне трудно высказать одобрение, уровень Вашего

творчества настолько высок, что комплименты кажутся излишними. Точнее, уровень абсолютен. Я, разумеется, прочитаю все, что Вы написали. Соня

*(Софья Владимировна Данько, кандидат  
философских наук, логик)*

October 19, 2008 9:41 PM

Уважаемый Владимир Карлович,

Текст рассказа я отправил нескольким людям из нашего института, как старшим сотрудникам, так и младшим, а также своим знакомым, которые, знаю, читали хотя бы одно ваше произведение. Только с Кристиной получилась неувязка — на ее почте файл не обнаруживается, а поскольку она сейчас болеет — сильно простудилась — то и встретиться не получилось. Я с ней договорился, что распечатаю текст и принесу ей на ближайшей неделе. Пока отклик я получил один и то устный. Моя коллега со студенческих лет позвонила мне и сказала, что рассказ ей очень понравился, и что в нем она нашла якобы ответ на мучащие ее жизненные вопросы. Я просил написать ее пару слов, но она отказалась, ссылаясь на стеснение общаться с автором...

Я прочитал текст буквально два дня назад, в субботу и сегодня у меня были лекции и вот сейчас под вечер смог Вам написать.

Поскольку в последнее время я в принципе делаю исключительно три вещи — читаю современную русскую литературу и политологические пособия по-разному толкующих мир и Россию в частности, читаю дипломные работы студентов и рецензирую их, а также изредка пишу то фрагменты диссертации, то рецен-



зии, то конспекты новых лекций — к Вашему рассказу я отнесся сначала как к сиюминутному развлечению. Но во время чтения перед глазами у меня начал вставать целый ряд литературных ассоциаций, что для Ваших текстов привычно. Я обнаруживаю здесь не только отголоски «Смерти чиновника» или «Смерти Ивана Ильича» — это ясно, что такой канонический набор возникает всегда. Но у Вас постоянен вопрос о судьбе интеллигента, а тем самым в какой-то степени возникает более широкий литературный контекст — Трифионов, Маканин. Конечно, все в этом рассказе «ваше» — и герой, и сюжет, и многие литературные приемы, узнаваемые и по «Крокодилу», и по «Запискам из полумертвого дома». А у меня, начитавшегося всевозможных национал-патриотов возникает еще одно сравнение, хотя и оппозиционное Вашему образу интеллигента — роман Владимира Личутина «Беглец из рая». Похожие проблемы, и терзания, вот только толкование действительности и причин происходящего другое. В общем, вечные русские «проклятые темы» — и как в одном из откликов сказано метко, удручающий образ... Меня одно только смущает — этот отчаянный крик души вряд ли кто-нибудь услышит, особенно русская интеллигенция, которая, извините за резкость суждения, давно уже выродилась... Вот такое в голове проклюнулось...

С уважением, Саша Вавжиньчак  
(Филолог-русист Ягеллонского университета, Краков)

October 20, 2008 4:25 PM

Володя! Дочитываю твой рассказ — очень трогательный и, хоть и тяжелый действительно, но правдивый.

Что ж делать, коли у нас жись такая... Конечно, это «новая натуральная школа».

(Алла Большакова, доктор филологических наук, критик)

October 22, 2008 12:07 AM

Wolodja dorogoj! Ja prochitala rasskaz, nie otrywajas! Bozhe moj — kak bolno, bolno i strashno! W niom zhiwaja, zhestokaja prawda wo wsieh jejo ploskostjah — bytowaja, psihicheskaja, duhowaja, filofsokaja — uniwersalnaja! Twoja prawda, moja i wsieh ljudiej w naszej jewropiejskoj ciwilizacji (jakoby gumanitarnej), takzhe tieh, kto jesho jejo nie znajet i nie ponimajet! Gdie on, w etom mirie kupli-prodazhi, smysl zhizni, gdie on — smysl smierti? Izwini, chto ja niemnozhko patietichna, no ja potrasjena! Ja uzhe dawno nie pieriezhiwala tak hudozhestviennogo slowa! Rasskaz wielikolepien — odna iz luchshih Twoih wieshchey i, dumaju, celoj russkoj litieratury.

(Kristina Pietrzycka-Bohosiewicz, dr. hab. prof Jagiellonskiego Uniwersitetu.)

October 22, 2008 3:06 PM

Владимир Карлович, день добрый! Прочла «пенсионера» — «подцепило». Я читала не в качестве стороннего наблюдателя, который с интересом пытается понять «как так», а скорее соглашаясь и представляя живо все картинки. (Благо жизнь, память способствует). Спасибо огромное за столь близкий, хороший рассказ.

Ваша верная читательница:

(Анна Игнатова, студентка ГУ-ВШЭ)

October 22, 2008 7:51 PM

Dear Vladimir,

Sorry for the delay in response. I started this e-mail last week after finishing your story, but I was interrupted by a deadline.

Very gripping. The mimetic details were very convincing, albeit sad. The narrator's vagueness regarding Dasha and her illness prepared for the post-mortem fairy tale ending. Because of Ivan Ilych, I suspected that his fall was going to be fatal. I thought the brutality of the accident, demonstrating how heartlessly new Russians view and treat older people and the intelligentsia, was wrenching. I wish it were not so, but I suspect that indifference to our elders is becoming more endemic throughout the world. His loneliness was palpable throughout, particularly poignant was the dog's disappearance. I am looking forward to reading your story a second time.

How do you do it?

Deborah  
Dr. Deborah A. Martinsen  
Associate Dean of Alumni Education  
Adj. Associate Professor of Slavic  
202 Hamilton MC 2811  
Columbia University

*Перевод (Ольги Дмитриевой):*

*Дорогой Владимир, извините, что тянула с ответом. Начала писать это письмо на прошлой неделе, закончив ваш рассказ, но нужно было срочно сделать работу, поэтому прервалась.*

*Очень захватывающе. Изобразительные (миметические) детали очень убедительны, хотя и грустны. Нео-*

*пределенность мыслей рассказчика относительно Даши и ее болезни готовит к сказочной концовке post-mortem. Помня Ивана Ильича, я полагала, что его падение будет фатальным. Думала, что жесткость инцидента, показывающая, как бессердечны новые русские и как они относятся к старикам и интеллигенции, окажется драматической. Жаль, что все так. Но мне кажется, что безразличие к нашим старикам распространяется как эпидемия по всему миру. Его одиночество буквально ощущаю во всем тексте, особенно остро — с исчезновением собаки. С нетерпением жду возможности перечитать ваш рассказ.*

*Как вы это делаете?*

*Дебора*

НГ EX LIBRIS

Срок дожития, или Начало новой эпохи

**Толстые журналы октября: Россия и Запад, «необыкновенный» фашизм, пенсионеры, каморра и танталливые казанцы**

*2008-10-09 / Екатерина Тарасова*

**Звезда**

Владимир Кантор. Смерть пенсионера. Рассказ. Пенсионерам нынешним и будущим, жертвам экспериментов государства и равнодушия детей посвящается. «Всю прошлую неделю он ходил в пенсионный фонд <...> окончательно ошеломила его женщина в другом кабинете, в котором Галахов попытался выяснить, много ли накопил он за те два года, когда была введена накопительная система. «Да в ваши года уже много не накопишь, — сообщила улыбочивая тетка. — Но вам полагается срок дожития, вот и старайтесь его про-

жить». — «Какой еще срок дожития?» — Павел почувствовал какой-то мистический ужас. «Срок дожития вам определен в восемнадцать лет». Переспросил, не понимая: «Мне?» — «Ну, всем пенсионерам с момента получения пенсии». — «А если я вас обману и прихвачу пару годков?» — «Не обманете, умные люди считали. Обычно гораздо раньше умирают».

У некоторых африканских народов существовал обычай: стариков заставляли влезать на высокое дерево. Затем здоровые и молодые соплеменники дерево отчаянно трясли. Кто падал и разбивался, тех съедали, а удержавшимся позволяли пожить... В Африке этот обычай давно искоренили. Вероятно, даже дикарям он показался слишком негуманным. Зато в нашей, казалось бы цивилизованной, стране он — в измененном виде, но такой же по сути — прижился. Об этом размышляет в рассказе Павел Галахов — бывший университетский профессор, а ныне одинокий пенсионер, существующий, а вернее, умирающий на нищенскую пенсию.

October 24, 2008 12:10 AM

Дорогой Володя, спасибо большое за письмо-поддержку. Если бы не Корнелия и Вы, то от меня бы ускользнул и тот маленький обмылок оптимизма, который мне дает возможность еще надувать радужные пузыри иллюзии. Рассказ ваш (жесткий или жестокий?.. не знаю, как и определить... прочитала недавно и сразу дала переводить одной толковой девочке, бывшей моей студентке.) Все собираюсь как-то оформить свое мнение о рассказе, но, увы, нет времени. Но думаю, что все-таки переживу бессмысленность движений по кругу и напишу небольшой текст о вашем рассказе, который не слу-

чайно задел многих, поскольку не мог не задеть. И вы сами это понимаете.

*(Ирина Антанасиевич, филолог-славист, профессор  
Белградского университета, Сербия)*

October 24, 2008 5:22 PM

Dear Vladimir,

The pain in your story is palpable. It is almost unbearable to contemplate our mortality. My parents have a close friend who has been a widow for over two years now, and, while she keeps busy helping her family and friends, she still feels and talks about her loss, a poignant reminder of how we sculpt our lives together. You manage to convey the pain of loss while portraying someone whose fear is so great that he cannot understand those closest to him.

All best wishes and hugs,

Deborah

(Dr. Deborah A. Martinsen Associate Dean of Alumni  
Education Adj. Associate Professor of Slavic 202 Hamilton  
MC 2811 Columbia University New York, NY 10027 tel:  
212-854-1259 fax: 212-854-3236 dm387@columbia.edu )

*Перевод (Ольги Дмитриевой):*

*Боль в Вашем рассказе очевидна. Это почти невыносимо разглядывать наше умирание. У моих родителей есть близкая подруга, которая осталась вдовой уже более двух лет назад, и, пока она занята помощью семье и друзьям, она чувствует себя спокойно и говорит о своей потере, берущее за душу напоминание о том, как мы лепим нашу совместную жизнь. Вы умудрились передать боль потери, изображая человека, страх которого так велик, что он не может понять: это вплотную приблизилось к нему.*

October 25, 2008 3:05 AM

Кантор — писатель очень настоящий. Рассказ леденит какой-то пронзительной реалистичностью (не только сюжета, но и тех самых ощущений) и ... узнаваемостью. Так что, да. «Не грусти!»

*(Татьяна Владимировна Бернюкович, канд.филол. наук, доцент университета в Чите)*

November 03, 2008 12:08 PM

Уважаемый Владимир Карлович, хочу поблагодарить Вас за «Смерть пенсионера» — Аня Игнатова любезно предоставила мне возможность прочесть ксерокс Вашего рассказа, и я остался в полном восторге! В связи с работой мне приходится читать разного рода литературу, и рассказ в журнале «Звезда» стал настоящей отдушиной, эффект от которого можно также сравнить с поеданием мятных конфет. Рассказ пошел гулять по рукам в общежитии. Спасибо!

С уважением,

*Дмитрий Крылов, студент-социолог ГУ-ВШЭ*

November 06, 2008 9:47 PM

Дорогой Володя!

Только что прочитал Ваш рассказ «Смерть пенсионера». Рассказ оставил благое впечатление, о чем и сообщая Вам с удовольствием. Многое верно увидено Вами и потому узнаваемо, очень хорош короткий разговор девочки в Александровской слободе, тут не к чему придраться: и услышано, и увидено так, что нет Вашей руки, а есть то, что ею нарисовано.

Кроме того, изображенное Вами наводит на мысль, что таков жребий человека в этих исторических и географических широтах, увы!

Сиротство Вашего пенсионера в этой связи приобретает не столько физический, сколько метафизический характер, как и полагается, если имеем дело с извечными положениями. Полагаю, что главное достоинство вашего рассказа состоит именно в этом извечном.

Не могу настаивать, но мне больше понравилось бы, назови вы рассказ «Пенсионер», потому что Ваш вариант сразу наводит на мысль о «Смерти Ивана Ильича». Мне это мешает, а «Пенсионер» оставляет мое воображение свободным, и я сам могу ассоциировать, как хочу. В таком свободном хотении и состоит главный эффект художественного. К тому же, сказав «смерть», Вы дали разгадку, и я невольно жду, когда же это произойдет, и когда происходит, я это уже знаю, предупрежден Вами в заглавии. В «моем» же варианте это произошло бы неожиданно, и, мне кажется, усилило бы эстетический эффект. Впрочем, как Вам угодно.

*Валерий Мильдон, доктор филологических наук, профессор*

November 07, 2008 10:49 AM

Володя! Я прочел твой/наш вариант «Смерти Ивана Ильича». Спасибо. Рассказ, в конечном счете, победил мое безразличие к худлиту, особенно современному.

Думаю, это оч. хороший пейзаж души советского безрелигиозного человека, богооставленного — прежде всего потому, что про Бога и не спрашивает, не вспоминает, вышколенный жизнью в советском варианте европейско-американской катастрофы. Ему «эта гипотеза не нужна»...

Хорошо устроена внутренняя речь, где не различимо авторское слово от слова героя (правда, там и сям случаются огрехи, которые нельзя списать на речь Галахова, говорю, именно об авторских — редких, на мой глаз, недосмотрах).

Типы хороши, цепкий реализм.

Но — как же Павел с Дашей в рай попали?! Тут ты на себя берешь — причем вдруг! неимоверную богословскую ответственность (оно же — нравственную безответственность. Божия любовь безмерна и всечистительна, но сказать, что все там, в Раю будем — это ведь хотя бы объяснить должно.

Твой Н. Котрелев

оч. точны стариковские немощи в твоём изображении...

Еще раз спасибо.

*(Николай Всеволодович Котрелев, публикатор, историк культуры)*

9 Nov 2008 23:02

Vot otziv nashej podруги filologa iz Kanadi

Милочка, я знаю, я это прочитала уже в журнале месяц назад и действительно не могу забыть. Гениальный рассказ. Передай ему мою, как читателя, благодарность. Он единственный прозаик, которого можно читать — искренность, талант, внутренний человек...

*(Эмилия Маньяни, профессор славистики)*

08.10.2008 09:28:37

Володя, рассказ отличный, с новыми для тебя нотками и новым уровнем чистоты письма — ей-ей, я как полпред Джойса абы какую прозу хвалить не буду!

Всех благ, дорогой,

Сережа Хоружий

*(С.С. Хоружий, доктор физико-математических наук, переводчик «Улисса» Джойса, современный русский философ)*

7.10.2008.

На редкость сильно и до жути современно.

АМ

*(Александр Мелихов, писатель, главный редактор журнала «Нева»)*

8.10.2008

Володечка, поздравляю! Рассказ ты слепил здорово. Он и с «Одним днем Ивана Денисовича» может потягаться... Но тогда, на заре солженицынской славы, читателей было больше и политическая востребованность помогала.

Возможно, что в немецком переводе оценят даже раньше...

Обнимаю,

Твой Н.Г.

*(Николай К. Гаврюшин, доктор богословия)*

November 24, 2008 9:27 AM

Володь, вот, написано как-то странно — видно, у души такой настрой сейчас/

Марина Загидуллина

### **Самая страшная смерть**

(о рассказе Владимира Кантора «Смерть пенсионера». «Звезда», 2008, № 10).

Ролан Барт для демонстрации самого эффекта «прогулки по тексту» избрал бальзаковскую новеллу «Сарразин». Кратко охарактеризовав основные уровни смыслопоиска, он занялся перебиранием строк новеллы — шаг за шагом, не пропуская ни одного сло-

ва, объясняя основные референции и коды, которые сам и обозначил. В «Библиотекаре» М. Елизарова эта читательская стратегия обозначена как соблюдение двух условий — Непрерывности и Тщания. Только тот, кто способен прочитать текст без перерывов и не пропуская даже самого неважного с виду и скучного по смыслу описания, даже сносок, даже вклеенного в конце книги листка с перечнем опечаток, прорвется к трехмерному смыслу — из отдельных элементов сложится Новое.

Так можно и нужно читать все. Чтение есть труд, профессиональный, тяжелый. Барт не хотел это признать. Его задачей было вернуть читателю наслаждение текстом. Но настоящее наслаждение приносит только труд. И, показав картину настоящей читательской ка-торги, Барт назвал это «текстом-наслаждением».

Если сегодняшний читатель наконец осознает, что, читая, он совершает главный труд своей жизни — движение к себе самому, надежно спрятанному и «упакованному» повседневностью, то у него есть шанс ускорить этот прорыв.

### **Один, и сам виноват**

Человек прожил большую жизнь, добился профессионального признания, вышло два десятка его книг, он читает лекции студентам, у него есть дети и внуки, есть любимая женщина, ставшая его настоящей половинкой. В Москве у него своя трехкомнатная квартира, набитая книгами и бумагами. У него жив отец, хоть и лежит в больнице, где-то в Лондоне живет брат, где-то в Швеции — бывшая жена с дочерью и внучкой. Но ничто из этих «составляющих» счастья для него неважно — кроме

Даши, любовницы, друга и жены, разница в возрасте с которой тридцать лет. Это дает психологическую гарантию устроенности собственной жизни: «Я умру раньше тебя» (значит, счастливый, на твоих руках). Какова будет судьба сорока- (пятидесяти-?) летней Даши после этого — неизвестно (и неважно). Профессор вышел на пенсию — зачем? Все предупреждали, что на пенсию не прожить. Но он просто почувствовал, что ресурс исчерпан. Трудно выдержать путь до университета. Трудно держать внимание аудитории. А главное — все это стало неинтересно. Деньги стала зарабатывать Даша.

«Даша бегала по всем этим работам, хотя ее мучило давление и, что хуже, какие-то женские неполадки. Иногда головы поднять не могла, но вставала и говорила: «Пока человек ходит, он должен работать. Мне же деньги за это платят. Откуда мы их еще возьмем». А Павлу оставалось беспокоиться за нее, ходить в аптеку, тихо выгуливать ее в выходные дни».

В общем, она — несмотря на выработанный ресурс — вставала и шла. А он молча и виновато ждал ее возвращения. И когда Даша, загнанная этими непосильными подработками, умерла, предпочел не поверить в это. В его упрямом воображении она уехала в Америку, с каким-то плененным ею новым русским. Ну что ж, Павел Вениаминович остался один. Он был абсолютно не готов к этому.

### **Два пути**

Можно посмотреть на жизнь профессора Галахова после Даши как на «покачивание в точке выбора», по

словам И. Пригожина. Путей два — бесцельное существование и добровольная смерть.

На первом пути нужно будет подчиниться одной задаче — физическому выживанию.

«После отъезда Даши он стал присматриваться к жизни бомжей. Как собирают жестяные банки, кладут на землю, каблуком уминают, складывают в мешок, куда сдают, сколько стоит. Большая сумка и перчатки, дырявые на пальцах, чтоб рыться в мусорных баках».

Почему-то страшно идти этим путем. «Пушкин» (бомж по имени Александр Сергеевич, «А.С.», как он иногда обозначен в рассказе), расположившийся в подъезде Галахова, — это теперь «наше все»: «прихожу домой, квартиру отпирю, запах, сами понимаете, но мы вроде притерпелись, но ведь он прямо по лестнице вниз от моей квартиры, весь мне виден. Вчера пьяный напился, валяется, ширинка растягнута, хозяйство наружу. Видно, перед тем, как отрубиться, онанизмом занимался. Таньке моей пятнадцать лет, ей такое ни к чему видеть...»

И все же это тоже «пенсионер», и так же, как главный герой, приводит с собой какую-то приبلудную собаку... Когда Павел Вениаминович, поддавшись на просьбы соседки, изгоняет Александра Сергеевича из подъезда, повторяется ситуация «маленького человека» из больничного эпизода: так же сурово-мрачно «поставила на место» изнывающего от боли пациента врач в ординаторской — и так же покорно-поспешно Павел «сдал позиции». Физическое выживание строго регламентировано на самом высоком уровне: никто не хочет лечить бомжа, у которого начинается гангрена, но и никому нет дела до вполне благополучного пенсионера, которому четко «определен срок

дожития». Это не вымысел автора: Росстат скрупулезно готовит таблицы «ориентировочного расчета протяженности жизни», где можно узнать срок «дожития» не только старшего поколения, но и сегодняшних подростков, наших детей и внуков — если мальчик родился в 1995-м году, то «рассчитано» на него «все» до его 56-летия... не больше!

«Но окончательно ошеломила его женщина в другом кабинете, в котором Галахов попытался выяснить, много ли накопил он за те два года, когда была введена накопительная система. «Да в ваши года уже много не накопишь, — сообщила улыбчивая тетка. — Но вам полагается срок дожития, вот и старайтесь его прожить». — «Какой еще срок дожития?» — Павел почувствовал какой-то мистический ужас. «Срок дожития вам определен в восемнадцать лет». Переспросил, не понимая: «Мне?» — «Ну, всем пенсионерам с момента получения пенсии». — «А если я вас обману и прихвачу пару годков?» — «Не обманете, умные люди считали. Обычно гораздо раньше умирают»».

Само слово «дожитие» фантастично по своему смыслу. «Эх, нам бы дожить бы до свадьбы-женитьбы...» — тут хоть понятно, жаль умереть молодым от вражеской пули. А пенсионеру до чего «дожить бы»? До срока «дожития»? Получается, самая «правильная» жизнь у того, кто полностью «уложился» в расчеты — «свое» дожил, но не «пережил».

Самоубийство — второй путь, вполне возможный. Вот старик по прозвищу Комиссар вешается в лестничном пролете, чтобы в случае если веревка оборвется, на-

верняка разбиться. От самоубийства, как думает герой, удерживает только душевное тепло, которое создается вокруг неодиноких людей. Имитация вечности. Но что делать, если близкий человек ушел раньше тебя?

Так открывается поиск смысла. Смерть не строитель. Но что строить? А получается, что много и не надо. Даша и Павел «выгуливали» друг друга, исхитрились вставить пластиковые окна, Даша следила, чтоб Павел вовремя принимал лекарства. Это жизнь старосветских помещиков. И так же, как пропажа кошки грозно предвестила Пульхерии Ивановне смерть, бегство собаки Августы стало предзнаменованием смерти Павла. Он вспомнил «Униженных и оскорбленных», старика Смита с его Азоркой. И тем не менее что такое счастье? За какие «пять минут вечности» стоит держаться и сражаться? Вопрос остается неясным. Но, похоже, тогда, когда Даша была рядом с Павлом, все то страшное и плохое, что потом «загнало» его в угол, казалось несущественным. Они хохотали над смешным рассказом Павла об иностранцах, не поверивших, что профессор в России получает 300 долларов, Даша трогательно переживала с Павлом его «болячки», и даже встреча со шпаной оборачивалась предложением руки и сердца. Весь несовершенный мир был преображен Дашиним сиянием. И ничего не надо было переделывать в этом мире. Просто жить и любить друг друга. Но все меняется, когда наступает одиночество.

### Три петли

Ненависть к прямым социальным аналогиям живет в литературоведении со времен «вульгарного социоло-

гизма». И тем не менее такова особенность современной литературы — это всегда раздумье о сегодняшнем дне, и если ты хочешь уйти от «идей» — то только искусственно. Некрасов, рассуждая о судьбе русских женщин, горестно заметил — три петли у бабы на выбор, черная, красная и белая: «Любую выбирай, в любую полезай». Поэт не разъяснил, что это за участи. Но есть соблазн взглянуть на смыслы рассказа с «легкой руки» Некрасова.

Судьба первая (петля черного шелку). «Страна» эмигрирует: «Теперь русские сотнями тысяч едут в Европу и Америку, ругая почему зря эту цивилизацию. Вроде его брата Цезариуса, который в России бывает лишь наездами из Лондона, но, поскольку сохранил российское гражданство, эмигрантом себя не считает. Все на Запад прут — и богатые и бедные, надеясь разбогатеть. А в Россию — люди с Кавказа и из Средней Азии. У них во дворе уже пару лет вместо русского пьяницы-дворника работали мальчишки-туркмены, тщательно метя и чистя двор».

Именно такую судьбу дочери видел Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» («...с голью кабацкой метет улицу...»). И такова судьба Даши в истерзанном воображении Галахова: «Потом известий от нее не стало, и тогда он сам для себя решил, построил сюжет, что богач, новый русский, прогнал Дашу, что она одна, бедствует в этой богатой Америке, живет в ночлежке для бомжей, но написать об этом, тем более вернуться — не может. Стыдится».

Русские становятся дворниками и посудомойщиками больших американских городов, а Россия (которую они ругают почему зря) им не нужна — как, впрочем, не



нужен своему сыну Павел. Ну, все же дочь Павла смогла приехать через месяц после смерти отца, чтобы поплакать на его могиле — как в том же «Станционном смотрителе» плакала Дуня («прекрасная барыня») на бедном кладбище за деревней. И все же обе уехали во свояси. Обида Павла на сына — которому отдано было столько сил, столько нервов — притупилась и даже исчезла, все воспринимается теперь как должное. Но за этой сыновней черствостью маячит первая петля — Черной Неблагодарности и Безразличия: «Николай Федоров писал, что воскресение отцов — русская идея. Достоевский усомнился и показал, как дети убивают отца, старика Карамазова, каждый по-своему. А теперь дети просто ждут, когда старики свалятся с дерева, чтобы брезгливо их зарыть».

Есть и другой тупик: «Зачем мои книги о толерантности, о наднациональной идее России, когда в Москве и Питере убивают таджикских девочек, убийц оправдывают, в крайнем случае дают срок как за мелкое хулиганство, а молодые скинхеды кричат об уничтожении всех нерусских. Вот и до русского фашизма дожили. И ведь не фашизм, а обыкновенный русский бунт, когда режут всех. На этой идее даже Третий рейх не построил. Смерть не строитель».

Красная петля Беспредела, насилия и убийства — неважно, под какими именно красными знаменами это будет разворачиваться — это именно тупик, линия смерти. «Национальная» идея равнозначна не столько диктатуре, сколько именно гражданской войне, а еще лучше сказать — гражданской бойне. Вскользь мелькнувшая история о предложении, которое Галахов сделал Даше: «В тот жуткий вечер, когда они возвращались от Лёни Гав-

рилова и их чуть было не убила шпана, он предложил ей руку и сердце, а она в ответ очень по-детски, но твердо: «Галахов, мы с тобой хорошо жить будем». Шпана — это только фон, но фон густой, основательный, «пол-России такие». Рассказ маленькой девочки в Александрове ничем особенно не отличается от изображения трущобных описаний самых страшных романов Золя. Прошел век — но «социальный низ» никуда не исчез, напротив, Россия «догнала» по «низости» былых «лидеров». Красный сценарий зависти и насилия, жестокости и безнаказанности ждет своего исполнителя.

Но есть и третий, изощренный способ «метафорического самоубийства» страны — белая «государственная» петля. С виду все налажено в этом мире, передают новости по телевизору, студенты заполняют лекционный зал, пациенты получают помощь в больнице, люди открывают свое коммерческое дело, профессора пишут книги... И в то же время это медленное стирание со страниц Жизни человека вообще. «Страх пенсионера, что дети помогать не будут» продиктован социальной беззащитностью. «Неохота было на эту пенсию смотреть. Из четырех с половиной тысяч у него две уходило на квартиру, тысячу он по-прежнему отдавал восьмидесятидевятилетнему отцу, а на остальные полторы тысячи живи как хочешь. На американские деньги это получалось около пятидесяти долларов. Если при этом учесть, что Москва считалась одним из самых дорогих городов в мире, то лучше было ничего не жрать». Министр здравоохранения «Михаил З.» цинично замечает, «что, по планам правительства, деньги на социальное обеспечение рассчитаны таким образом, что мужчина в России должен умирать в возрасте пятидесяти семи — пятидесяти

девяти лет, не доживая до пенсионного возраста». Павел думает, что «даже щедринский Угрюм-Бурчеев был милосерднее: “Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек”».

Получается, что степень цивилизованности общества определяется «отношением к старикам». «Пенсионер» рифмуется в сознании Павла с «легионером», борцом за свободу, подлинным гражданином. «Так был ли он легионером? Студенты ждали от него какого-нибудь решающего слова, но его отпугивали все прошедшие по мировой истории полубессмысленные революции и движения, убивавшие десятки миллионов за те слова, которые через двадцать лет уже всех смешили. А дети хотели действия, активизма. Или хотя бы нового учения. А своего слова, которое требовало бы развития, у него не было. Были точные наблюдения, угадывающий анализ, из этого системы не построишь». И именно поэтому «стирание» человека может продолжаться. В Пенсионном фонде герою грубо говорят: «Нас, мужчина, это не касается. Не мы правила устанавливаем». Коротко и ясно. Не мы — и дела нам нет до того, кто «автор правил». Белая петля Пассивности и Бумагоцентризма, белая петля Рабства.

Итак, рассказ о смерти пенсионера оборачивается рассказом о смерти страны. Бегство, резня, равнодушные — неважно, собственно, какого цвета будет петля. Важно, что в самой обычной ситуации (нестерпимо болит спина, например) ты не можешь получить помощь.

Не придет «скорая», и остатками здоровья надо заплатить за то, чтобы пробиться к «участковому». Что лихой шофер может сбить тебя — даже мирно стоящего на тротуаре — и ему ничего не будет. Что государство будет начислять тебе пенсию, на которую неохота смотреть — одни слезы. Что жизнь устроена так, что ты не можешь помочь отцу, а сын не хочет помочь тебе. Что весь твой замечательный профессорский ум ценится в два раза меньше, чем труд почтальона.

#### **Четвертый сон Павла Вениаминовича**

Он полуспал-полубредил. Ему мерещился отъезд Даши в аэропорт, ее жизнь в Америке, мама с всколоченными волосами и безумными глазами, как на картинах Брейгеля. И приснился «раскольниковский» сон, почти как у Достоевского: «Павел знает, что в соседнюю комнату забралось все Зло Мира и готовится уничтожить человечество. А у него на нижней, закрывающейся дверкой книжной полке стоит супероружие, которое только одно на свете способно уничтожить все Зло Мира. И дочка из Швеции вернулась ради этого: «Папа, доставай оружие. Только мы можем справиться». А он еще перед ее приездом дверь в комнату, куда Враг просочился, не просто прикрыл, а снизу в щель большие Дашины портновские ножницы забил, чтоб она не открылась. «Да, — говорит дочке, — сейчас достанем, потом на балкон выйдем, оттуда как раз можно в ту нашу комнату попасть снарядам». И в голову ему не приходит, что и стрелять-то он не умеет, никогда в армии не был. Открывает он дверку шкафчика, а там никакого сверхаппарата нет, а одни книги. «Где же?!» — в отчаянии кричит дочка. А он книгу за книгой выки-

дывает, гору нагромоздил уже, а за книгами еще книги — и никакого оружия».

«Красный цветок» Гаршина и какие-то дешевые комиксы смешались в этом видении. Но главное — книги. Это сон о книгах, которые и есть «супероружие», но надо, чтобы это было всем ясно. Для дочери Павла книги — ненужный мусор, да и сам он в этом не сомневается в своих отчаянных попытках найти оружие.

Гора книг, квартира, набитая книгами, груды книг у стола... Книги, которые писал Павел, пытаясь объяснить сегодня и предотвратить страшное завтра. И книги, прочно укрепленные в сознании, книги, «которыми так долго жили». Маленький рассказ переполнен аллюзиями — явными и скрытыми упоминаниями текстов: Бальзака, Шекспира, Островского, Пушкина, Кафки, Достоевского, Гофмана, Толстого, Андерсена... Супероружие. Никому не нужное. Собственные книги Галахова не нужны абсолютно — их можно издать только «на грант», и от их появления мир не становится «толерантнее», как мечталось герою. «Начитанность не уходила», — замечено в рассказе. Начитанность как воспитанность. Как цивилизованность. Как временное пристанище совести.

Лишние и маленькие: крестовый поход стариков.

Отношение к старшему поколению в литературе стало настоящей полноценной темой. Младшее поколение писателей рисует армию престарелых воинов (и у того же Елизарова, и у Ключаревой в романе «Россия — общий вагон»), ищущих элементарной справедливости. Старость, брошенная на произвол судьбы (а то и заботливо подгалкиваемая разными способами к смерти), — это показатель тяжелого распада всего общественного механизма. Впрочем, нельзя сказать, чтобы

советское прошлое в этой связи выглядело идеально... Вспомним Солженицына, Трифонова, Тендрякова — пусть было иначе, но тоже страшно. И дело поэтому не столько в «государственности» (или в том, кто именно будет министром здравоохранения), сколько в преемственности этой бесконечной войны. Старики — люди маленькие, но они же еще и лишние в совершенно жестоком прямом смысле слова. «Вы свое отжили», — свисока кидал матери юный Николай Петрович в «Отцах и детях». И, поживаясь, получал это рикошетом от собственного сына — двадцать лет спустя. И во все времена они стремились хоть как-то доказать свое право на жизнь. Человек живет не согласно «срокам дожития», а столько, сколько дала ему природа. И даже за секунду до смерти он живет. Если обществом жизнь (а не существование) ему обеспечена просто потому, что он человек (и еще потому, что всякий, кто придумывает закон, когда-то состарится и тоже будет нуждаться в организации, обеспечении своей старости). Но метафизический ужас старости именно в том, что, растратив силы и здоровье на младшее поколение, человек оказывается не нужен в первую очередь именно им, молодым. «Быть обузой», «просить у детей милостыню» — вот самый страшный приговор, который висит над каждым человеком «пенсионного (звучит как «похоронного») возраста». И если все устроено так, что каторжный труд в течение жизни не обеспечивает поддержки в старости, то этот страшный механизм будет крутиться и дальше. Характерный жест главного героя — карточка с кодом и «завещанием» («на похороны»). Это стремление скопить «похоронные» деньги, отказывая себе в самом необходимом, не является чертой только нашей эпохи. Но за самим же-

стом стоит страшное предчувствие, что похоронят «не по-человечески» (что не захотят «тратиться»). И старики хоронят сами себя — недоедая берегут эти деньги. Рассказ позволяет почувствовать ужас одинокой смерти. И безнадежность собственного содержания. Здесь «прокручены» разные варианты тепла (и дочка «ласкова бывала», и бывшая жена добра, и любимая женщина себя не жалеет в любви к герою). Но вот сложились обстоятельства — иных уж нет, а те далече — и одинокий старик (вообще-то всего 67 лет, разве возраст? не 87 все же), задавленный болезнями, беспомощностью, чувством собственной ненужности, умирает в своей квартире — сын, брат, отец, дед... Так в «Хижине дяди Тома» Бичер-Стоу рисовала сентиментально-трагичную картину: конечно, твой хозяин может оказаться очень хорошим человеком, но вот он погибает случайно — и неумолимые жернова мелют твои кости на плантации. Пока сама Система работает как Молох, нет смысла «кивать» на внешние обстоятельства. Рассказ В. Кантора подобен кафкианским безнадежностям. Он ни к чему не призывает. Он просто повествует о всеобщем нравственном уродстве. Какие компрачикусы кромсали эту страну, кто создавал этот уродливый организм? Есть в «смерти пенсионера» такое печальное предположение.

*Марина Загидуллина*

Доктор филологических наук (Челябинск)

Sunday, November 30, 2008 5:29 PM

Дорогой Володя, наконец решил отправить тебе мои впечатления.

Мне трудно писать о твоём рассказе. Он слишком наполнен личностью автора и у меня, наверное, в силу вы-

работанной чтением классической русской литературы гиперделикатности, возникает неловкое чувство, будто я подглядываю в замочную скважину. По силе эмоционального воздействия на читателя твой рассказ не знает себе равных. Во всяком случае, долгие годы я ничего подобного не встречал.

Ужасающий пессимизм рассказа, — мне хочется на время стать теоретиком литературы и сказать, что это скорее повесть; кажется, существует в литературоведении термин «маленькая повесть»? нет ли чего-то подобного у Тургенева? — так вот, твой пессимизм подавляет и, извини меня, вызывает чувство не только неподдельного, почти болезненного сострадания к герою, но и чувство импульсивного протеста. Неужели все так страшно?! Мне, как заурядному читателю, хочется прикрыть глаза и замкнуть слух, чтобы не видеть того ужаса реальности, который изображен тобою с невиданным мастерством. Ведь прав ребенок, когда, засунув голову под подушку, кричит: «Меня не видно!»

Мне, как твоему давнему другу и искреннему почитателю, больно читать твои строки. Да, это блистательная проза. Да, твоё мастерство стилиста тебе не изменяет. Да, композиционное построение текста великолепно, а образы как главного героя, так и второстепенных персонажей, вроде монастырской хожалки или женщины в капоре, четки, объемны, живописны и философски ясны. Даша, тень, проходящая через весь рассказ и через всю жизнь героя, Даша, его Душа, потерянная им и найденная только через сорок дней... Володя, этот образ, созданный тобой, меня, читателя, потряс и, прости, напугал.

Твой рассказ прекрасен и страшен. Я, от всей души любящий тебя, от всей души желаю тебе, замечательно-

му писателю и философу, не просто творческих удач, но удач более легких, поскольку я вижу, сколь тяжок был труд автора, создавшего «Смерть пенсионера».

Твой Николай  
(*Николай Иванович Цимбаев, доктор исторических наук, профессор МГУ*)

Saturday, December 13, 2008 12:35 AM

Владимир, добрый день! Рассказ прочитала в тот же день, как получила. Пожалуй, можно сказать, что не могла оторваться. Просто не было возможности раньше ответить. Действительно, хороший рассказ. Читать было страшно, очень натуралистично. И беспощадно. Лучше бы я этого не читала, — слишком близко уже ходит смерть. К старости вкус изменяется, все меньше хочется реализма и все больше красивой сказки.

Что делать, простите, пишу как есть. Вероятно, рассказ чем-то задел, не могу посмотреть на него просто как на литературное произведение. А вы к этому и стремились? Пожалуй, еще раз надо прочитать.

Всего хорошего, рада была вас услышать.

Мария Орлова  
(*дочь Льва Копелева и Раисы Орловой, издает тексты Л. Копелева*)

Wednesday, December 03, 2008 8:21 PM

Я буду с Вами абсолютно откровенна. Я прочитала Ваше письмо через день после того, как Вы мне его отправили, и не смогла ответить. Тогда не смогла, думала, что лучше высказать свои мысли о «Смерти пенсионера» лично. Но за неделю изменилась я, как бы это странно ни звучало. И как следствие изменилось мое представ-

ление о рассказе. Теперь я поняла его намного глубже, нежели когда только прочитала (кстати, в тот же день, как Вы мне его дали).

Изначально меня передернуло от того, как описана жизнь: она там правдоподобна и тем самым еще более омерзительна.

Для меня все время оставался нерешенным вопрос о цели данного человека в жизни, зачем он просыпался, куда-то ходил, что-то делал, и я имею в виду тот период его жизни, когда еще Даша была жива. Он работал, получал знания, жил с любимой женщиной. Что поддерживало и не давало ему умирать? Даша и была тем самым основанием жизни, которое позволяло дышать. Тогда возникает вопрос о том, что было до Даши? Чем он жил? Другой женщиной, которая, работая на нескольких работах, поддерживает его изо всех сил? Нет, его бывшая жена — это вовсе не хранительница очага. Просто Жил? Но просто жить можно лишь в том случае, если эта «просто жизнь» приносит удовлетворение, эмоции и комфорт. Как только наступает старость эта «просто жизнь» исчезает как блески после карнавала. И не остается ничего, кроме воспоминаний... Этот человек обречен на смерть, нет той основы, которая его бы поддерживала. Под основой я подразумеваю идею, цель, дело, жизненную концепцию. Должен быть фундамент, на котором строит человек эту жизнь, основания, от которых он отталкивается. На этих основаниях строятся остальные человеческие суждения, и вся эта конструкция и представляет собой мировоззрение человека. Сама конструкция определяет вектор развития, указывает человеку путь, в процессе которого может деформироваться даже основание. Только деформация эта будет нести

в себе преобразование, а не превращение монолита в обветшалые развалины. Вектор и фундамент дают энергию для развития, постоянного и непрекращающегося.

В противном случае смерть Человека приходит раньше, чем смерть его тела. Даша только замедлила этот процесс, она встала на место этого основания, она стала и смыслом, и вектором, и воздухом, который заставлял идти дальше. Поэтому с её смертью и наступает крах мира пенсионера. Социальные неудобства, отношение родственников, детей только оттеняют эти развалины. Поэтому до самого конца Он не хочет верить в то, что Даша умерла.

Значит, проблема не в одиночестве, окружении, потере, а в отсутствии оснований собственного мира, которые заставляли бы двигаться вперед. Без этого нет жизни Человека.

Человек, выстраивающий такую систему внутри себя, обречен пройти тяжелый, трудоемкий путь. И на таком пути в какой-то момент появляется сомнение в правильности оснований, пути. И именно в этот момент и нужен человек, который смог бы поддержать, верить в тебя, и самое главное — понять на каком фундаменте ты выстроил свою жизнь. И одновременно с этим появляется стремление отдавать... Тепло. Заботу. Понимание. И такая любовь действительно возвысит. Только она бывает лишь в том случае, если и у мужчины, и у женщины есть своя цель, свои основания.

В противном случае один человек в отношениях становится смыслом другого человека, а это не возвышает, но помогает жить.

Это мои рассуждения, касаемые вашего рассказа. Возможно, что-то в них противоречит идеи самого про-

изведения, но эти мысли, отчасти сформированные до прочтения рассказа, отчасти порожденные им, я не могу выкинуть из головы и достаточно долго (я удивляюсь относительности времени; неделя иногда очень долгий срок) не могла придать им должной формы.

Мария Румянцева

*(студентка 2-го курса философского факультета  
ГУ-ВШЭ 18 лет)*

Tuesday, December 16, 2008 12:48 PM

Дорогой Володя,

с большим волнением прочитал твой рассказ. Прости, что не сразу — искал работу, так до конца и не нашел, но обнаружилось время на чтение. Что я могу сказать: хорошая классическая проза. Кажется, написано на одном дыхании. Критиковать не буду, нельзя критиковать такие вещи, будет безнравственно. Могу только надеяться, что у рассказа будет свой читатель, точнее — что есть еще люди, которые готовы все это правильно понять. Интонация гаршинская, мне показалось. На самом деле, внутреннее пространство — хватит на большой роман. Я бы хотел, чтобы был роман о современной жизни, их мало. Такого рода, какие писали в 1920-ые гг. С точки зрения людей, задвинутых в общественные подвалы. Тебе удастся это увидеть, удалось в этом рассказе. Конец скомкан — видно, что ты устал сам от видения мира глазами Галахова. Предметный мир условно прорисован, доминирует лирическое откровение, мне не хватает диалогов и видения Галахова со стороны других (нарративных отражений). Недостатки есть, если судить строго, но говорить о них не хочется. В целом — хорошо. Есть художественная правда, которая основывается

на правде жизненной. Это главное. Остается только поздравить тебя с творческой удачей!

Твой — Костя

*(Константин Абрекович Баршт, доктор филологических наук, СПб, Пушкинский Дом)*

Sunday, December 21, 2008 8:44 PM

**Он же:**

Поверь, что когда я читаю текст, я забываю о биографическом авторе и погружаюсь в способ видения, который мне открывает абстрактный (имплицитный, концепированный и пр.) автор. Что касается Станционного зрителя, он мне не вспомнился, зато вспомнился Гаршин, а также Леонид Андреев. Ты в этом рассказе похож на них умением вызвать пронзительную боль за человека, поставленного судьбой и другими людьми на маленький пятачок бытия. Мне рассказ очень понравился, точнее, произвел сильное впечатление. Я искренно и от всей души желаю тебе продолжать в том же духе. Наш «постмодернизм», от него тошнит всех уже, кажется, изжил себя, и честного и искреннего слова защиты поруганного Гомо Сапиенс не хватает, дефицит у нас с этим.

Костя Баршт.

*(Константин Абрекович Баршт, доктор филологических наук, СПб, Пушкинский Дом)*

Wednesday, December 24, 2008 3:43 AM

Я должна признаться, что не из-за работы так долго не писала вам. А это случилось, потому что я читала рассказ Кантора «Смерть пенсионера» и он произвел на меня такое сильное впечатление, что мне показалось что никакие слова не могут выразить те чувства, которые

рассказ порождает. Только потом я смогла сообразить (тоже не то слово, но другого не могу найти), что рассказ так трогательный не только потому, что он прекрасно написан и конструирован, но и потому, что он дает образное представление глубокой человеческой истины, то есть, что любимый человек не умирает для нас, а уходит от нас (наши языки сходны, поскольку касается метафорического выражения смерти). Он прекрасно изображает это, как и чувство космического одиночества «покинутого» человека и уверенность будущей новой встречи. Пожалуйста, поблагодарите от моего имени вашего мужа за то, что он подарил нам это сочинение.

Что писать еще? Вам наверное показывали по телевизору, что у нас недавно были страшные наводнения: Венеция все тонет, но никогда не утонет (надеемся).

Жду вести от вас. Сердечный привет, Эмилия

*(Эмилия Маньяни, профессор, филолог-славист, Университет в Венеции)*

Sunday, December 28, 2008 3:41 PM

Дорогой Володя!

Спасибо за рассказ. Прочитал единым духом как стакан спиртуоза. Кафка отдыхает... Да, настоящая сила русского критического реализма неизбывна.

Самое интересное и высокохудожественное, что рассказ не только о том, о чем в нем написано (по деталям, приметам и пр.), а и о том, чего в нем явно не написано, а существует, т.е. экзистенция, увы, всеобщая...

Дааааа... печально все это.

*(Сергей Бирюков, поэт, теоретик авангарда, доктор наук, профессор в Halle, Германия)*

Sent: Sunday, February 01, 2009 8:53 AM

Subject: Рассказ

Уважаемый Владимир Карлович, доброе утро!

Я все «грозился» написать небольшой отзыв на ваш рассказ «Смерть пенсионера» и наконец-то у меня это получилось. Рассказ очень сильно «задел» за живое — не то слово. Поэтому примите несколько мыслей по этому поводу:

Намеренно сниженный сероватый фон обволакивающего быта, с тошнотворными подробностями переживаний главного героя по поводу собственных детей, по поводу собственной болезни и по поводу собственной мирской неустроенности и неприспособленности. Своеобразный хайдеггеровский ужас без всякого намека на трагедию — основной лейтмотив произведения. Если рассматривать про-из-ведение как про-водящее и из-водящее действия, явленные в их одномоментной неслиянной нераздельности (или нераздельной неслиянности), то можно констатировать, что перед нами впечатляющий образец темы «отцов и детей», впечатляющий до некоторых моральных судорог поднимавшегося из глубины души вопроса — а у меня-то как все это будет выглядеть? Эффект холода по краю сознания очень отдаленно передает это ощущение и впечатление. Вопрос во все времена непростой, а в современных условиях приобретающий остроту глобальной катастрофы — на что надеются дети, таким образом демонстрирующие свою «любовь» к родителям, на что они надеются в отношении собственных детей (родители, любите своих внуков, они отомстят вашим детям за все ваши беды). Но это пол-беды, оказывается, что есть и другое измерение темы «отцов и детей», в которое

вовлечены уже все — и отцы и дети. А измерение это четко и жестко характеризуется словами Достоевского «Если Бога нет, то все дозволено».

Идея, явленная ницшеанской формулой «Бог умер», продолжает собирать свой скорбный урожай на пажити современной жизни. Дети, воспитанные вне реалий десяти заповедей и их (заповедей) дальнейшей драматической судьбы, оказываются подпадающими под другую формулу: «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся» (Рим. 2, 12).

Религиозное измерение рассказа явлено в самом конце, в своеобразном «эпilogе на небесах». Главное мучение героя рассказа — во внаходимости умершей любимой женщины (интуитивно очень точно отосланной героем в Новый Свет, т.е. не только в США, но и на небеса).

*(Алексей Алексеевич Григорьев, кандидат философских наук, Российский институт культурологии)*

Sent: Saturday, January 10, 2009 1:15 AM

Дорогой Володя,

рассказ твой сначала прочитала в Звезде, затем мне его переслали, и я его даже дала хорошему переводчику, чтобы перевел..:) И я тебе даже отправила письмо с некоторыми своими раздумьями, родившимися сразу после прочтения. Но, видимо, ты не получил..:(((

А может и я виновата — запуталась в твоих ящиках, как в трех соснах, а, видимо, один из твоих адресов неработающий.

А рассказ — хороший. Настоящий такой. И такие эпитеты как чудесный, великолепный или восхититель-



ный ему не подходят. Это как серьезного друга — пса обидеть болоньим сюсюканьем. Сейчас сложно повторить, перенести на бумаги то, что я ощущала после чтения, но дня три он мне просто не давал вздохнуть. Все думалось, сжималось под ребрами...

Рада, что ты меня не забываешь. Ира

*(Ирина Антанасиевич, доктор филологических наук,  
Белград, Сербия)*

Sent: Saturday, June 20, 2009 8:40 PM

«Смерть пенсионера» уже по первым абзацам — очень выразительно. Но быстро читать не буду. Со статьей о рассказе познакомилась, читаю отклики. Раньше была «Смерть пионерки» (помните, «Валя, Валентина, что с тобой теперь...»). Ныне «Смерть пенсионера». Все страшно. Есть ли у этого экзистенциального ужаса катарсис? Человек призван Господом к совершенству. По святому отцу Григорию Нисскому, брату Василия Великого, любовь — совершенный способ спасения. Интуитивно Вы стремитесь туда. Рай — первое догреховное состояние Человека и его Жены. Степень совершенства Небесного Царства выше, т.к. в нем пребывают те, кто обрел полноту бытия в обоженном по благодати состоянии. Пусть Ваши герои будут в Раю (читай, в Небесном царстве), хоть кто-то и поругал Вас за то, что вместо Господа Вы их оправдали. Оля

*(Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, культуролог)*

### **На «Смерть пенсионера»**

23.06.2009

Это не эпитафия. Живой отклик на живое литературное событие, которое в первую очередь имеет экзистенциальный смысл для самого Автора произведения (в жанре рассказа).

За окном льет дождь — летний, затяжной, уходящий в ночь несбывшимися желаниями прогулки. Тем более обидно, что пейзаж не московский, не городской... «Вяичи» (почему не «Кривичи», «Поляне», «Древляне»?). Таково название санаторно-курортного комплекса, где расквартировался неполный, но, видимо, главный состав Ученого Совета. Вот придумка-то какая! Соединить отчетное событие с экскурсионной программой и вставить в нее атрибутику корпоратива. Ну да Бог с этим. Природа роскошная в своей свежести и необъяснимой прелести русского пейзажа. Места почти глухие — так и ожидаешь какого-нибудь лесного гостя увидеть. Но, кажется, все ушастые и парнокопытные оттеснены цивилизацией, испуганы активностью человека, оттого и остались в воображаемом прошлом княжеских владений.

На этом фоне исторического пейзажа, уходящего в вечность, память возвращает почти в натуральную величину кинокадра образы небольшого рассказа «Смерть пенсионера»... Литературная традиция подсказывает ассоциативный ряд — «Смерть Ивана Ильича» (снятая Кайдановским в качестве дипломной работы «Простая смерть»). Почему-то назойливо напоминают о себе строчки из «Смерти пионерки» — «Валя, Валентина, что с тобой теперь...». Что это за начало и конец, альфа и омега, перекидывающие жизненный мост от детства к старости?

И там, и там — один знаменатель — расставание с миром здесь-и-теперь, расставание с жизнью.

Грустно и то, и другое. Горек-горек конец бедного Павла, нестарого еще человека, отправленного отбывать «срок дожития». Непонятно кем установленная величина для «зажившихся» на этом свете пугает своей обезличенной банальной откровенностью. Поэтому тема Павла Галахова — это и тема Ивана Петрова, и Марии Ивановой и Петра Сидорова. За героем, у которого в рассказе есть имя, стоят миллионы, чьи имена вбиты в базу данных социального, согласно конституции, государства. Это наш человек! Был советским интеллигентом — стал российским новым бедным, пополнив ряды социальных низов, из которых, как из горьковского дна, исхода нет.

Имя, главное это Имя. От энергетического центра имени расходятся лучи философских идей рассказа. Имя делает трагедию героя персональной, в имени скрывается голос и боль самого автора, смело бросающего в литературную топку свой собственный реальный и идеальный опыт. Если бы век был XVII-м, не XXI-м, то прототипом авторизованной прозы стало бы «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим». Нарушение во всем — в жанре, в соотношении Автора и Героя, в этикетности речи, в выборе изображаемого, с которого сдернут покров эстетических норм, в натуральности и медицинской обнаженности деталей. Это линия болезненного расхождения-разрыва жизни души и жизни тела. Целокупное единство духа-души-тела в христианской антропологии разъедает коррозия нелюбви, неблагополучия, одиночества, отчаяния, социальной атомизации, как показывает нам Автор, разрушает жизнь Павла Галахова.

Павел беден. Но его бедность еще более страшная, чем сентиментальная трагедия «бедной Лизы». Если все семьи счастливы одинаково, а несчастливы по-разному, то все бедные горьки и безутешны на свой лад! У Павла Галахова отняли Дашу, в ней же концентрировалась вся его способность жить. Жизнь духа, жизнь души и жизнь тела постепенно отчуждалась, пока какой-то представитель новой социально-антропологической ветви «гоминид» не поставил в этом процессе жесткую точку. Погнал машину на пенсионера.

Если Человек (Адам) не может защитить жизнь (Еву) — это настоящая катастрофа. Катастрофа социальная, антропологическая, аксиологическая, онтологическая. Конец времен. Строчка из Федотова: «Женщины и дети теряют привилегию на жизнь». Жизнь надрывается в борьбе за жизнь и за человека, которого она любит. Есть ли в этой истории катарсис? Души героев находят себя в Раю. Рай же после грехопадения — Небесное Царство, которое, по апостольскому слову, усилиями берется.

Жизнь оправдывается любовью и спасается ею. «Любовь — совершенный способ спасения», — заключает Григорий Нисский. У Даши один опыт любви, у Павла — другой. Подлинность отношений пробивается как ростки из зерен Небесного Царства через плевелы немилостивой к героям обыденности. Невозможность жизни выгнанных из Рая — невозможность без любви. Встреча и расставание здесь — соединение и обретение бытия там. Разорванные вертикальные и горизонтальные связи между Богом и человеком, между людьми. Семейный человек без семьи, человек культуры, профессор без друзей и учеников. Ни одна видимая ниточка здесь не

держит. А невидимая на то и невидимая, что свободна от законов брэнного мира. Дух дышит там, где хочет — это о дарах Духа Св. Освобожденная душа приобретает крылья — может вспорхнуть и улететь, как птица. Образы и метафоры христианской культуры, вобравшей и переосмыслившей в Логосе архетип языческой.

Свет — категория онтологической эстетики Дионисия Ареопагита. Даша любит и светится, излучает свет. Она источник тепла и энергии, в ней, как в Церкви, живет Дух Божий. Он не «проговаривает» Себя, а действует через заботу, через труд, через привязанность и, конечно, жертвенность. Человек жертву принимает, но ей не равен. Неравенство дара — неравенство жертв. Автор очень правдив.

Рассказ о герое, а тема опять страдательная, русская, женская. У Акакия Акакиевича (тоже ведь «маленький человек») украли шинель, а у Павла Галахова Дашу. Дашу, значит, Душу, с ее достоинством, с ее правом на жизнь, свободу, творчество, любовь и совершенствование.

Ту Дашу, которая в русской литературе и в русском житии-бытии все «стоит и стынет в своем заколдованном сне», ту Дашу, которая ходит по мукам. Дашу — душу, которая по природе христианка. Христианка-крестьянка, работница, батрачка — мученица. Что же Павел, откуда он родом? Павел — Савл, лучший ученик раввинской школы, апостол язычников, обращенный в Истину Самой Истиной. Гражданин Рима. Лучший профессор на имперской кафедре с проповедью универсальной культуры. Галахов — Галаха, свод законодательных актов Мишны периода рассеяния. Цезариус — Максимум. Самим Автором коннотируемые смыслы. Еще один

бесприютный ребенок — девочка — «новая русская» Катюша Маслова в литературе «периода распыления» русской культуры. Нет, Павел не идет по стопам Нехлюдова. Он не кается, т.к. не умеет, но чувство вины его преследует постоянно — и по отношению к женам, и по отношению к Даше, даже к премерзкому бомжу. Родовая травма русской интеллигенции. Она такого «рода», что дядюшка Фрейд вместе со всеми последователями объяснить ее не сможет.

Русский способ литературного писания прочитывается и в тексте, и в контексте. Прямые отсылки на сюжеты и образы русской литературы, которые в судьбе самого Галахова начинают играть роль Провидения. Что может быть острее и больнее сравнения жизни человека с бездомным существованием собаки? Экзистенциальный ужас охватывает Павла, у которого пропадает подобранная на улице Августа. Пророческий смысл русской литературы, неизбежная логика развития ее сюжетов. Фоновый роман — «Униженные и оскорбленные». Не случайно Автора видят продолжателем традиций русской философии с ее родовым «дискурсом» литературы.

Один из последних вершинных рассказов этой традиции — «Чистый понедельник». Кажется, что нить ответственности обрывается, и большое время культуры не удерживает исторических пространств. Обломки царств и империй в XX-м веке погребли под собой и метафизику с ее концептом вечности, и социальность как форму бытия культуры. Но в этом хаосе и тьме Автору вложили в руку оборванный конец нити. Слово прорвалось сквозь немые толщи обезличенного и «обнуленного» в своей человеческой сути мира. Автор прорвался к Читателю достоверностью своего опыта мыслящего писателя

и болезнующего совестью человека. Душа вспорхнула и полетела на встречу с другой душой. Открытый текст — открытая культура — открытые врата вечности, принимающие тех, кто совершает усилие жить, думать, сострадать и любить.

24.06.2009

С уважением, Ольга Жукова  
(культуролог, доктор философских наук, профессор)

Sent: Saturday, September 26, 2009 12:24 AM

Дорогой Володя,  
наконец-то я попал домой к родному компьютеру и прочитал «Смерть пенсионера».

Очень мощно. Это скорей не о смерти, а о жизни, которая гораздо страшней смерти.

Спасибо.

Ваш Саша.

P.S. Я Валере и этот рассказ тоже перешлю, хотя к нашему «Гамлету» он отношения не имеет. На будущее...

(Александр Бакиш, композитор)

## Библиография (статьи и рецензии)

На «Два дома» (М.: Советский писатель, 1985).

1. Евгений Ермолин (Ярославль) — (Владимир Кантор ДВА ДОМА Повести) // Детская литература. 1986. №8.
2. Г. Петрова. — (ВЛАДИМИР КАНТОР. Два дома. Повести. М. «Советский писатель». 1985. 200 стр.) // Новый мир. 1986. № 9.
3. В. Масловский — (Владимир КАНТОР Два дома. Повести. М., «Советский писатель», 1985. Наливное яблоко. Рассказ. «Юность», 1986, N 7) // Литературное обозрение. 1987. № 6.
4. Владимир Еременко. — НА ПЕРЕПУТЬЕ (Владимир Кантор. Два дома. Повести. М. Изд-во «Советский писатель». 1985) // Дружба народов. 1987. № 12.
5. Татьяна ИВАНОВА — Семь лет из жизни Писателя, или **Тернистый путь в формальное объединение** (Запрещенный прием) // КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 18. 29 апреля 1988 г.
6. *Резонанс.* (Татьяна Иванова?) — Семь лет из жизни Писателя, или **Тернистый путь в формальное объединение** // Книжное обозрение, 20 мая 1988 г. № 21. С. 6.

На роман «Крокодил» (Нева. 1990, № 4)

7. Роман Арбитман. — Те же и крокодил (Лабиринты Владимира Кантора) // Роман Арбитман. Участь Кассандры. Статьи о фантастике, и не только о ней. Саратов: Изд-во МП «Литера II», 1993. С. 53-58.
8. Лев Аннинский. — Самоизображение интеллектуала // Литературное обозрение. 1991. № 12. С. 23-25.

**На отдельное издание романа «Крокодил»  
(М.: Московский философский фонд. 2002. — 239 с.),**

9. *Ольга Рычкова* — Большая крокодила // Алфавит. Газета для любопытных. № 42. Октябрь 2002. С.28.
10. *Александр Люсый* — Нелишняя закуска. Истоки и смысл русского крокодиллизма // Новое время. № 50. 15 декабря 2002. С. 41.
11. *Мария Ремизова*. — Астенический синдром // Октябрь, 2003. №3. С. 171-177.
12. *Марина Загидуллина* — Гамлет vs Мойдодыр // Знамя. 2003. № 6. С. 219-221.
13. *Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz* — «Istnosc bezimienna, jestestwo bezprzedmiotowe...» Obihaterze powiesci Wladimira Kantora *Krokodyl* // Slavia Orientalis (Polska Akademia Nauk, Wydział nauk społecznych, Komitet slowianoznawstwa), Rocznik LII. Nr 3. Krakow 2003. P. 351-361.
14. *Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz* — “Czlowiek zbędny” czy “czlowiek niepotrzebny”. Bohater powiescy W. Kantora *Krokodyl* // Slavia Orientalis (Polska Akademia Nauk, Wydział nauk społecznych, Komitet slowianoznawstwa), Rocznik LIII. Nr 1. Krakow 2004. P. 69-80.
15. *Waszkielewicz, Halina*. Degradacja bohatera („Krokodyl” Wladimira Kantora) // „Roczniki Humanistyczne”, tom LIV—LV, zeszyt 7: 2006—2007, s. 55—70.
16. Ürgen Roosta. Paarad ja kirjandusseparatietid VIII Krokodill ja lunastus. Sirp. Eeesti Kulturileht. Nummer 10. 13 Märts 2009. Lk 8-9

**На рассказ «Смерть пенсионера»  
(«Звезда», 2008, № 10)**

17. Екатерина Тарасова — Срок дожития, или Начало новой эпохи. **Толстые журналы октября: Россия и Запад, «необыкновенный» фашизм, пенсионеры, каморра и талантливые казанцы.** Звезда. Владимир Кантор. Смерть пенсионера. Рассказ // НГ EX LIBRIS. 2008 -10 09.
18. Марина Загидуллина. — Самая страшная смерть // НГ EX LIBRIS/ 2008. № 44. Четверг 4 декабря 2008 года. С. 7.
19. Константин Баршт. — Тонкая ветка, а на ней сидит птица. Размышления о теме смерти в русской литературе // Toronto Slavic Quarterly. № 28.

## Сведения об авторе

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, профессор философского факультета Государственного Университета — Высшей Школы Экономики (ГУ-ВШЭ), член редколлегии журнала «Вопросы философии», член Союза российских писателей, прозаик, лауреат премии Генриха Бёлля (Германия, 1992), нескольких отечественных премий, трижды номинировавшийся на премию Букера, историк русской культуры, автор более пятисот опубликованных работ. Область научных интересов — философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005) парижским журналом “Le nouvel observateur (hors serie)”, вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности, как «законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С Соловьева». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, французский, испанский, польский, сербский, эстонский языки.

### Основные опубликованные сочинения ВЛАДИМИРА КАНТОРА

#### Проза

- Два дома.** Повести. — М.: Советский писатель, 1985.  
**Крокодил.** Роман // Нева. 1990, № 4.  
**Историческая справка.** Повести и рассказы. — М.: Советский писатель, 1990.  
**Победитель крыс.** Роман-сказка. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.  
**Поезд «Кёльн-Москва».** Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.

- Мутное время.** Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.  
**Крепость.** Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996, №№ 6, 7.  
**Чур.** Роман-сказка. — М.: Московский Философский Фонд, 1998.  
**Соседи.** Повесть // Октябрь. 1998, № 10.  
**Два дома и окрестности.** Повесть и рассказы. — М.: Московский философский Фонд, 2000.  
**Рождественская история, Или записки из полумертвого дома.** Повесть // Октябрь. 2002. № 9.  
**Крокодил.** Роман. — М.: Московский философский Фонд, 2002.  
**Записки из полумертвого дома.** Повести, рассказы, радиопьеса. — М.: Прогресс-Традиция. 2003.  
**Крепость.** Роман. — М.: РОССПЭН, 2004. (Серия «Письмена времени».)  
**Krokodyl.** Roman. *Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcńska.* — Warszawa: Dialog. 2007.  
**Гид.** Немного сказочная повесть // Звезда. 2007. № 6.  
**Соседи.** Арабески. — М.: Время, 2008.  
**Смерть пенсионера** // Звезда. 2008. № 10.  
**Krokodill.** Romaan. Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3 -5.  
**Смерть пенсионера** (текст рассказа и комментарии читателей к рассказу) // Слово\Word. Нью-Йорк, 2009. № 61.  
**Няня.** Рассказ // Знамя. 2009. № 12.

### Монографии

**Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба.** — М.: Искусство, 1978.

«**Братья Карамазовы**» **Ф. Достоевского.** — М.: Художественная литература, 1983.

«**Средь бурь гражданских и тревоги...**» Борьба идей в русской литературе 40-70-х годов XIX века. — М.: Художественная литература, 1988.

**В поисках личности: Опыт русской классики.** — М.: Московский Философский Фонд, 1994 (Серия «Россия и Запад»).

«...**Есть европейская держава**». **Россия: трудный путь к цивилизации.** *Историософские очерки.* — М.: РОССПЭН, 1997.

**Rusija je evropska zemija. Mukotrpan put ka civilizaciji.** *Prevela s ruskog Mirjana Grbic.* (Biblioteka XX vek). Beograd. 2001.

**Феномен русского европейца.** *Культурфилософские очерки.* — М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

**Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ).** — М.: РОССПЭН, 2001.

**Русская классика, или бытие России.** М.: РОССПЭН, 2005. (Серия «Российские пропилеи»).

**Willkür oder Freiheit?** *Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie.* Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. — **ibidem-Verlag.** Stuttgart 2006.

**Между произволом и свободой.** К вопросу о русской ментальности. М.: РОССПЭН, 2007. (Серия «Россия. В поисках себя...»)

**Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса.** М.: РОССПЭН, 2008. (Серия «Российские пропилеи»).

«**Судить Божью тварь**». **Пророческий пафос Достоевского.** Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. (Серия «Российские пропилеи»).

**Das Westlertum und der Weg Russlands.** *ibidem-Verlag* (в печати).

### Сборники

**Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века.** Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. — М.: Искусство, 1982. — (Серия «История эстетики в памятниках и документах»).

**А.И. Герцен. Эстетика. Критика. Проблемы культуры.** Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. — М.: Искусство, 1987. — (Серия «История эстетики в памятниках и документах»).

**К.Д. Кавелин. Наш умственный строй.** Статьи по философии русской истории и культуры. Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). — М.: Правда, 1989.

- Метаморфозы артистизма.** Составление, первая статья. — М.: РИК, 1997.
- Ф.А. Степун. Сочинения.** Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). — М.: РОССПЭН, 2000.
- Юрий Михайлович Лотман.** Сборник. Составление, вступительная статья В.К. Кантора (Серия «Философия России второй половины XX века»). — М.: РОССПЭН, 2009.
- Федор Августович Степун.** Жизнь и творчество. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (Серия «Социальная мысль России»). — М.: Астрель, 2009.
- Федор Августович Степун.** Большевизм и христианская экзистенция. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (в печати).
- Александр Иванович Герцен.** Избранные труды. Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора. М.: РОССПЭН (в печати).

## Содержание

Московский текст: традиция русской философской прозы. <i>Интервью Аллы Большаковой с Владимиром Кантором: вместо предисловия</i> .....	5
Два дома. <i>Повесть</i> .....	19
Крокодил. <i>Роман</i> .....	171
Смерть пенсионера. <i>Рассказ</i> .....	405
Отзывы в письмах на рассказ «Смерть пенсионера».....	451
Библиография (статьи и рецензии).....	503
Сведения об авторе.....	506



**Кантор Владимир Карлович**

Смерть пенсионера

*Повесть. Роман. Рассказ*



Художник: П. Ефремов

Корректор: И. Ремезова

Компьютерная верстка: Ю. Балабанов

Издательство «Летний сад»: 121069, Москва, ОПС 69, а/я 46.

Сайт: <http://letsad.info>

E-mail: [letsad@letsad.info](mailto:letsad@letsad.info)

**Книжный магазин «Летний сад»:**

**Москва, ул. Воздвиженка, 3/5**

**(в здании Российской Государственной Библиотеки,  
1-й подъезд).**

**Телефон: 622-83-58.**

Подписано в печать 10.12.2009. Печ. л. 16. Печать офсетная.  
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Petersburg, формат 70x100/32.

Тираж 1000 экз. Заказ №